ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Journal of metadisciplinary research
The POLITICAL CONCEPTOLOGY

2014 г. № 3

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТОЛОГИЯ:

журнал метадисциплинарных исследований

Ростов-на-Дону

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Центр политической концептологии

Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем ЮФУ

Институт философии и социально-политических наук ЮФУ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТОЛОГИЯ:

журнал метадисциплинарных исследований

2014. № 3

(июль-сентябрь)

Научный журнал
Издается с 2009 года

Политическая концептология:
журнал метадисциплинарных исследований

Научно-аналитическое издание

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл № ФС77-32422 от 09 июня 2008 г.

ISSN 2218-5518

Учредитель: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»

Редакционная коллегия:

Главный редактор: *В.П. Макаренко*, доктор политических и философских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, академик Академии педагогических наук Украины

Заместитель главного редактора: *С.П. Поцелуев*, доктор политических наук, доцент

Ответственный секретарь: *М.С. Константинов*, кандидат политических наук

Корректор: *Д.Н. Протасеня*

Редакционный совет:

Председатель – доктор философских наук, кандидат исторических наук, профессор *А.В. Лубский* (Ростов-на-Дону)

Доктор политических наук, доцент *А.И. Бардаков* (Волгоград)

Доктор экономических наук, профессор *В.В. Вольчик* (Ростов-на-Дону)

Доктор политических наук, профессор *И.И. Глебова* (Москва)

Профессор ординарный, доктор габилитованы *Анджей Захариаш* (Жешов, Польша)

Доктор политических наук, профессор *В.С. Малахов* (Москва)

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ *О.Ю. Мамедов* (Ростов-на-Дону)

Доктор юридических наук, профессор *А.В. Оболонский* (Москва)

Доктор экономических наук, профессор *А.Н. Олейник* (Москва, Ньюфаундленд, Канада)

Доктор политических наук, профессор, действительный член РАН *Ю.С. Пивоваров* (Москва)

Доктор философских наук, профессор *Н.С. Розов* (Новосибирск)

Доктор философских наук, профессор *В.В. Савчук* (Санкт-Петербург)

Доктор исторических наук, профессор *В.Н. Ткаченко* (Киев, Украина)

Доктор философских наук, профессор *С.Г. Чукин* (Санкт-Петербург)

Доктор философских наук, кандидат психологических наук *В.А. Шкуратов* (Ростов-на-Дону)

Доктор исторических наук, профессор *В.А. Шнирельман* (Москва)

Электронная версия журнала: **http://politconcept.sfedu.ru**

Номер подготовлен с участием младших научных сотрудников Центра политической концептологии СКНИИЭиСП ЮФУ Дарьи Протасеня и Анны Рюмшиной.

Адрес учредителя:
344006, г. Ростов-на-Дону
ул. Б. Садовая, 105
тел.: (863) 263 3158 263 8498
факс: (863) 264 5255
e-mail: rectorat@sfedu.ru

Адрес редакции:
344006, г. Ростов-на-Дону
ул. Пушкинская, 160, к. 112
тел. (863) 264-02-64
факс: (863) 264-52-55
e-mail: politconcept@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Макаренко В.П.
Внутренний шпионаж как элемент бюрократического управления государством..... 6

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПТОЛОГИИ

Лубский А.В.
Неоклассическая модель политических исследований..... 18

Межуев В.М.
История как философская проблема..... 31

Щербинин А.И.
Политический праздник: концепт и коммуникация..... 45

Берлявский Л.Г.
Политико-правовая концепция Луиса Брандайза..... 60

Поцелуев С.П., Константинов М.С.
Современный правый радикализм: проблема идентификации признаков..... 70

ПОЛИЦЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

Филиппов А.Ф.
Советская социология как полицейская наука..... 91

Макаренко В.П., Протасеня Д.Н.
Военный цинизм: российские реалии и концепт Петера Слотердайка..... 106

КОМПАРАТИВИСТИКА ИЕРАРХИЙ

Гаман-Голутвина О.В.
Страны БРИК: элитообразование и внутриэлитные расколы относительно характера, направлений и скорости модернизации..... 117

Иноземцев В.Л.
Колонии и зависимые территории: приглашение к дискуссии..... 154

Кузнецов А.М.
«Мирное развитие Китая» и некоторые проблемы современной теории международных отношений..... 166

РОССИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Никольский С.А.
Просвещение – Гражданственность – Патриотизм..... 178

Порус В.Н.
Бытие и тоска: А.П. Чехов и А.П. Платонов..... 191

РЕФОРМА РАН: ДЕЯНИЯ И МНЕНИЯ

Батурин Ю.М.
Символика первых актов..... 206

Хайтун С.Д.
Жертва культа карго..... 208
Рац М.В., Котельников С.И.
Случай с Академией — что нужно реформировать?..... 212
Наши авторы..... 218
Summaries and keywords..... 220
Contents..... 225
К сведению авторов..... 227

Слово редактора

ВНУТРЕННИЙ ШПИОНАЖ КАК ЭЛЕМЕНТ БЮРОКРАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ

В.П. Макаренко
Южный федеральный университет

Аннотация: *В статье анализируется внутренний шпионаж как один из основных способов бюрократического управления полицейским государством. Исследуя исторические формы внутреннего шпионажа, автор выявляет зависимость между степенью полицеизации общества, развитостью структур полицеизирующих групп, уровнем институционализированности сексотства, и предрасположенностью населения к сотрудничеству с полицией.*

Ключевые слова: *бюрократическое управление, полицейско-бюрократическое государство, полицеизация общества, полицейский аппарат, шпионаж.*

Переплетение опыта и разброс мнений

Как показывают опросы Левада-Центра, на протяжении нулевых годов возрастал уровень доверия населения России к армии и органам госбезопасности (в 2001 г. 33% и 22%, в 2013 г. 43% и 36% соответственно [Доверие институтам власти…]). Это свидетельствует о том, что значительная часть населения страны была и остаётся имперским людьём, испытывающим любовь к армии и чекистам [Никольский 2014a; Никольский 2014b]. Такая оценка хорошо выражена в названии одной из книг Е.М. Стригина [Стригин 2004]. Эту тенденцию общественного мнения и политики можно назвать полицейско-охранительной.

Существует также Общество по изучению истории отечественных спецслужб. В первом выпуске трудов Общества А.А. Зданович и И.И. Васильев пишут, что надо осмыслить причины роста роли спецслужб в XX веке. При этом они приводят следующие аргументы: ещё никогда в истории человечество не решало столь масштабных задач, в центре которых стояли бы спецслужбы; создание спецслужб было объективной исторической необходимостью; их функция в обществе и государстве равнозначна функции пахарей, строителей и воинов; в каждом обществе цель и функция самосохранения является главной; эта цель достигается в борьбе по принципу: сильный берет верх над слабым; у безопасности всех времён и народов есть единая составляющая — тайна, благодаря которой функция спецслужб является вечной; главная задача спецслужб — беречь и сохранять «свою» тайну и владеть тайной окружающих его социумов — прямых и потенциальных врагов; тайна — это слабости данного социума; масштабная тайна сосредоточена в недрах верховной власти и именуется государственной; на данном витке европейской цивилизации спецслужбы в любом международном конфликте

выступают важнейшими ресурсосберегающими факторами; разрушительное воздействие внешних сил на центральную политическую власть является «инфекционным заболеванием» для государства; без получения информации о ближних и дальних соседях ни один нормальный правитель не мог успешно вести свои дела; эта функция являлась величиной постоянной для любого социума на всех стадиях его развития.

В заключение авторы ставят задачу вычленить внутреннюю логику развития спецслужб, особо отмечая роль социологии и политологии как интеллектуальной оснастки спецслужб. По их мнению, аналитическая мощь спецслужб возрастала многократно по мере того, как на вооружение брались объективные научные критерии указанных гуманитарных дисциплин. А образцы системного подхода в организации и деятельности спецслужб в начале XX века показали немцы, явившие миру в XIX в. непревзойдённые образцы философско-социологического мышления (Г. Гегель, К. Маркс, М. Вебер и др.) [Зданович, Васильев 2006: 25–50].

Я не немец и не собираюсь им быть. Всем остальным требованиям поставленной исследовательской задачи соответствую. В армии служил старшим специалистом спецсвязи, имел первую форму допуска к секретам. В армии начал читать Гегеля, после армии долгое время изучал Карла Маркса и Макса Вебера. О каждом из них написал книги. Но вначале скажу об одном секрете.

Я обслуживал спецсвязью руководство Ясненской ракетной дивизии. Недавно нашёл о ней сайт в Интернете[1]. Вспомнил своих командиров и хороших ребят, с которыми пришлось служить. Но если о них пишут в Интернете, неужели мой секрет устарел?

В начале каждого года в части поступал строгий приказ начальника Генштаба Вооружённых сил СССР: не загружать спецсвязь несекретными сведениями. Мне приходилось передавать шифровки о том, что в части нет приличного сортира, а солдатские фекалии уходят неизвестно куда. Что солдаты вынуждены ходить мыться в поселковую баню и подхватывать лобковых вшей[2]. Что из-за обилия выпавшего снега надо прислать шнекороторные снегоочистители. Эти сведения вполне можно было передать по обычному телеграфу. Но ни один из приказов не выполнялся, поскольку на следующий год поступал точно такой же. На основании собственного опыта могу утверждать: шифросвязь забита всякой ерундой, не составляющей никаких государственных секретов. Большинство начальников используют шифросвязь по причине особого тщеславия, которое окружает сам факт допуска к ней. Право подписи шифровок имеет строго ограниченное число лиц. Они считают «западло» пользоваться обычной связью. Не буду рассказывать о множестве фактов такого тщеславия и приказов, которые лично наблюдал и вынужден был выполнять. Видимо, существует разновидность властной похоти, которую порождает сам факт причастности к секретам. Эта причастность даёт возможность «чесать властную похоть» (если модернизировать терминологию героев В. Шукшина).

Для такого вывода не обязательно служить в армии. То же заключение можно вывести из чтения множества секретных документов по истории СССР, которые опубликованы в 1990-е годы и продолжают публиковаться. После их прочтения и на основании личного опыта я в большинстве случаев озадачивался: что же здесь секретного? К сожалению, в статье нет места проиллюстрировать это на конкретных примерах.

Короче говоря, мой армейский и научный опыт давно переплелись. Поэтому могу без труда оспорить все тезисы, высказанные А.А. Здановичем и И.И. Васильевым. Сделаю это, едва придёт вдохновение. Для их опровержения буду опираться на цикл своих исследований

[1] См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/13-я_ракетная_дивизия.

[2] Если кто-то думает, что в нынешней российской армии уровень санитарии выше — рекомендую прочесть записки И. Анпилогова [Анпилогов 2002].

по проблеме бюрократии. Уже в первой книге я показал, что внутренний шпионаж (т. е. надзор над гражданами) не является какой-то «объективной необходимостью», а является обычным элементом бюрократического управления государством. Провести различие между бюрократической тайной и государственными секретами весьма сложно. Недавно я описал действие этого закона в современной постсоветской бюрократии [Макаренко 2013]. Такова печка, от которой я предлагаю плясать при обсуждении вопроса о силовых структурах.

Сейчас с удовольствием сошлюсь на коллег. А.Н. Олейник показал, что на протяжении последних десятилетий существования СССР надзор над гражданами возрос, институт «смотрящих» (т. е. надзирателей) преобразовался из тюремного феномена в универсальную характеристику российского общества [Олейник 2001]. Была ли в этом «объективная необходимость» или же эта тенденция объясняется просто интересами сословия самих смотрящих? — этот вопрос надо рассматривать в контексте общей проблемы генезиса и функционирования полицейского общества, элементом которого является бюрократическое управление [Макаренко 2014].

При анализе надо учитывать распространённость отрицательной оценки армии и спецслужб. Приведу примеры.

Писатель-фронтовик В. Быков пишет, что армия подобна звезде-пульсару, которая то сжимается, то расширяется, и в этом вся её функция. «В спокойном состоянии она существовать не может, покой для неё — гибель. Вот она и пульсирует. Чтобы не погибнуть. Но при этом жаждет уничтожить как можно больше врагов, которые у каждой армии всегда найдутся. Зависимость существования армии от наличия врагов абсолютная. Как только создаётся армия, тут же обнаруживаются и враги. Проблема лишь в том, какой момент пульсации наиболее продуктивен в данный момент: сжатие (сокращение применительно к армии) или расширение? Выясняют это путём проб и ошибок. То увеличивают армию, то сокращают. То мобилизуют, ломая людям жизнь, то увольняют, опять-таки без малейшего внимания к человеческим судьбам» [Быков 2005: 172]. В советско-германской войне врагом был не только немецкий фашист, но и свой внутренний враг — преступник-особист и недотёпа-политрук. При Андропове чекисты уже были образованны и умели сочинять. Они сами придумывали преступления, в отличие от прежних узколобых чекистов, которые заставляли подследственных, чтобы те сами придумывали себе преступления. Гонорары за публикацию книг советских авторов на Западе (через «Союзкнигу») шли на финансирование загранотделений советской разведки, которая в то время (1970–1980-е гг.) уже испытывала денежные затруднения [Быков 2005: 188–189, 261, 378]. Отрицательная оценка политруков и особистов содержится также во множестве книг другого писателя-фронтовика В. Астафьева.

Ещё один писатель Б. Хазанов даёт характеристику КГБ в контексте общей оценки СССР: «Её деятельность принято называть противозаконной. Спрашивается, что такое закон. Как большой океанский корабль оснащён собственной электростанцией, так органы располагали собственной юриспруденцией. Они следовали инструкциям и законам, которые сами же изобретали. В этом специфическом значении закон есть не что иное, как совокупность правил, по которым надлежит творить беззаконие. Тайная полиция переросла сама себя. Это была поистине универсальная организация, выполнявшая сыскные, следственные, псевдосудебные и карательные функции, служившая одновременно инструментом тотального контроля и устрашения и рычагом экономики… В конечном счёте вся государственная машина в большей или меньшей степени оказывалась в ведении тайной полиции. Такова была логика породившего её строя. Но та же логика учреждения, которое стало выше себя самого, приводило периодически к самопоеданию… время от времени она отгрызала у себя хвосты, конечности и даже голову. Это было необходимо для регенерации… Некоторые считали этот режим насильственным внешним (чужеродным) порождением. На самом деле это был народ-

ный режим. Режим, где весь народ вовлечён в практику насилия. Начальство угнетает подчинённых, подчинённые друг друга… История России в XX веке — пример удручающей бесполезности жертв и усилий» [Хазанов 2004: 162–163].

Историк М. Геллер пишет, что Россией в XX веке управляли дегенераты. Эти люди желают улучшить систему, не меняя её основ. Одной из таких основ является политическая полиция, которая продолжает лгать во всех направлениях. Романтическая фаза реформы КГБ состояла в попытке вылечить огромную раковую опухоль путём превращения её во множество маленьких опухолей. Но ФСБ — прямой наследник КГБ. Она хочет контролировать, а не бороться с преступным миром. В мире нет такого демократического государства, в котором центральным органом власти является политическая полиция [Геллер 1996: 109, 48, 339, 439].

Можно привести ряд аналогичных суждений. Завершу их высказыванием историка А.В. Островского, который считает КГБ главной причиной распада СССР: «Кто же осуществлял программу перестройки? Кто направлял огонь по штабам? Кто разрабатывал планы самоистребительной идеологической внутренней войны? Кто провоцировал национальные конфликты? Кто выводил диссидентское движение из подполья? Кто готовил и осуществлял „бархатные“ революции? КГБ. Учреждение, которое должно было стоять на страже интересов советской империи, вольно или невольно стало одним из её могильщиков. И ведь никто не застрелился. Как академик Легасов. Как Зубатов» [Островский 2004: 570].

Итак, значительная часть населения России доверяет армии и спецслужбам; представители спецслужб считают своей главной задачей сохранение государства; часть писателей и профессиональных историков полагают армию и спецслужбы элементами тоталитарного строя и могильщиками государства.

Факт разброса мнений свидетельствует о существовании проблемы. Я предлагаю рассматривать полицию с точки зрения полицеизирующих и полицеизированных социальных групп. Их рост можно считать общей бюрократической характеристикой модернизирующихся обществ. Для конкретного представления об этой характеристике надо учитывать особенности генезиса и функционирования полиций конкретных стран, в том числе России/СССР.

Ветхий полицейский завет

А.Г. Чукарев детально изучил генезис тайной полиции России. На протяжении первой половины XIX в. в России развивались капиталистические отношения, начался промышленный переворот, усложнялась социальная структура общества, возникали первые элементы гражданственности. Для обеспечения этих процессов требовалась обратная связь между властью и обществом. В западных странах ее обеспечивали парламент, печать, суд присяжных, адвокатура. Россия отвергала эти институты. Николай I полагал, что обратную связь может выполнить секретная служба и сформулировал ее главную задачу — защита «сирых и угнетённых». Отсюда вытекали широкие социальные функции и парадокс российской политической полиции. Царь считал, что несмотря на отсутствие гласности, недостатки суда и общей полиции, тайная служба сможет устранить коррупцию, произвол, взятки центральной и местной администрации. Он хотел создать элитное учреждение, члены которого будут руководствоваться идейными мотивами и вберут в себя цвет аристократии.

Но дворяне презирали полицию и не пошли служить в жандармерию. Поэтому в новое ведомство пришлось набирать армейских и флотских офицеров, которые руководствовались материальными (а не идейными) соображениями. При Николае I сложилось несколько правил функционирования тайной полиции: анализ настроений разных групп и слоёв (составление так называемых нравственно-политических обзоров) для выявления опасных для власти

настроений; информация верховной власти о всех негативных фактах на данной территории для сведения и принятия мер в борьбе с носителями зла; преследование всех (а не только революционных) направлений общественно-политической мысли и действия.

В целом создание III отделения и корпуса жандармов сыграло негативную роль в истории России. Тайная полиция загоняла вглубь общества все назревавшие болезни. А главная социальная задача деятельности — «защита сирых и угнетённых» оказалась не под силу тайной полиции [Чукарев 2005: 578–587][3]. В чем же причины ее бессилия? Пусть ответят на этот вопрос сами полицмейстеры. Для этого сжато воспроизведу основные идеи мемуаров А.П. Мартынова «Моя служба в Отдельном корпусе жандармов» и П.П. Заварзина «Работа тайной полиции». Первый был начальником Саратовского и Московского охранных отделений в 1906–1917 гг., второй — Донского и Варшавского охранных отделений в 1905–1910-е гг. (работал также в Кишиневе и Одессе). Написанные в эмиграции мемуары частично позволяют выявить специфику полицейского поведения и мышления. А.П. Мартынов надеялся «…помочь тем, кто будет в новой, возрождённой и опрокинувшей большевиков России организовывать дело внутреннего осведомления для будущего национального русского правительства» [Охранка… 2004: 170]. Теперь как раз это «новое время» наступило. Не зря герои М. Булгакова предсказывали общество, в котором рядом с каждым человеком поставят городового[4]. Но пока скажем о русском «старом добром времени».

До революции политическая полиция контролировала все направления политической деятельности — от революционной до либеральной и кооперативной. Внутри политической полиции возникло три профессии: секретные сотрудники (сексоты), провокаторы и эксперты. В итоге Департамент полиции имел 100% сведения о всех революционерах. Все сексоты больше всего любили деньги. В МВД существовал «рептильный фонд» для органов «правой печати» [Охранка… 2004: 408]. Это порождало проблемы отбора сексотов и руководства сексотами.

Для анализа этих проблем следует учитывать три критерия:

1. Национальный критерий состоял в том, что в начале XX века на вершине корпуса жандармов преобладали немцы, греки, евреи, латыши, которых постепенно начали заменять казаки [Охранка… 2004: 302–305, 243]. Среди сексотов преобладали евреи и великороссы.

2. По профессиональному критерию первое место занимали люди интеллектуальных профессий — врачи, инженеры, общественные деятели, литераторы, журналисты, студенты и

[3] Причём, уже в конце XIX в. в России была высказана идея об универсальности полицейского надзора. Генеалогию этой идеи можно изучать на основе опубликованных документов. Вот один из них. П.И. Рачковский заведовал заграничной агентурой российской политической полиции в 1885–1902 гг. В докладной записке директору Департамента полиции П.Н. Дурново он высказал идею о создании в России революционного движения под прикрытием политической полиции: «Сколько бы ни возникало на пространстве России отдельных и замкнутых революционных кружков, политическая полиция данной местности всегда имеет возможность объединить их для безошибочного контроля и своевременно пресекать преступные замыслы. Сосредоточивая, путём внутреннего воздействия, самые разнородные революционные элементы в центральные группы, органы названной полиции должны сделаться распорядителями положения, а не быть рабами революционных предприятий. При известной настойчивости и такте они могут довести дело до того, что подпольные и, вообще, профессиональные революционеры должны будут сойтись под их прямым наблюдением с той или другой легальной средой, им сочувствующей. Каждый революционер, действующий, например, в Петербурге, на собственный страх, непременно примкнёт к искусственному центру, находящемуся в ведении местного руководителя розыскной деятельностью, и наиболее опасные конспираторы всегда будут на виду для соответственных против них мероприятий» [Агентурная работа… 2006: 18].

[4] В «Аргументах и фактах» приводится цифра 5 миллионов — столько наших соотечественников служит в силовых структурах [http://brikbotit.livejournal.com/1182.html]. А индивидуальных предпринимателей 3,5 миллиона [http://www.km.ru/economics/2014/02/12/pravitelstvo-rossii/732168-chislo-predprinimatelei-v-rossii-sokratilos-na-500-t]. Пусть читатель поразмыслит, сколько городовых сегодня на него приходится…

даже «теоретики марксизма». Они пополняли ряды экспертов, которые хорошо знали политику, искусство, литературу, театр, прессу, включая внутренние отношения всех этих структур.

3. По политическому критерию в состав сексотов входили члены всех оппозиционных и революционных организаций, рабочие, офицеры и нижние чины армии.

Указанные три критерия определяют в первом приближении структуру полицеизирующих групп в России.

В отношениях между охранкой и сексотами Мартынов рекомендует вырабатывать «флюиды душевной расположенности и дружественной приязни, необходимые в столь тонких делах». Не исключено, что этот совет объясняется влиянием гендерного критерия. Руководители охранки привязывали к себе женщин-сексотов деньгами и романтическими чувствами — ради ликвидации опасной «бандитско-максималистской» деятельности «революционного отребья» [Охранка… 2004: 306–307, 313, 420, 100, 158].

Иначе говоря, деятельность политической полиции невозможна без специфического симбиоза своекорыстия, любви и задушевности в отношениях между её сотрудниками. Русская душа — это особая предрасположенность к сотрудничеству с тайной полицией. Для описания этого симбиоза можно применять анализ корпоративного сознания, поскольку в нем реализуется единство социальной и бюрократической организации государства[5]. Косвенным свидетельством необходимости такого анализа является квалификация обычных посиделок и пьянок как «корпоративок» после того, как бывший соглядатай стал президентом России.

Но вернусь к старому доброму времени. Отбор сексотов порождал трудности. Самыми конспиративными были национальные партии (еврейский «Бунд», армянский «Дашнакцютун», Польская социалистическая партия), которые крайне опасались провокаций. После каждой неудачи своих замыслов они подвергали друг друга тщательной проверке, усиливали конспирацию. При обнаружении сексота он предавался смерти, иногда невероятно жестокой. В этой среде трудно было найти сексотов. На этом основании руководители охранки полагали: религия, народность, быт, национальная психология и воспитание сплачивают людей сильнее доктрин классовой борьбы.

Действительно, национальные партии возникали на основе симбиоза религии и политики. Например, армянские организации на территории России и Персии имели базы для нападения на турок. Эти действия осложняли международные отношения. Русское правительство начало преследовать не только «Дашнакцутюн», но и армянскую церковь: «…Выяснилось, что духовенство снабжает партию оружием и деньгами, укрывает разыскиваемых и всячески содействует эксцессам. Репрессии против духовенства вызвали такое неудовольствие, что партия в ответ на эти мероприятия перешла к террору, убив массу должностных лиц русской кавказской администрации, от высших до низших чинов» [Охранка… 2004: 69].

Не менее трудно было найти сотрудников среди идейных анархистов-коммунаров. Они культивировали «безмотивный террор» ради воздействия на «сытых буржуа», чтобы заставить их отдавать свои излишки голодным и неимущим людям и работать на пользу пролетариев. По этим соображениям бросали бомбы в Испании, России, Польше и др. Объектами

[5] Разделение труда порождает корпоративные интересы, выражающиеся в корпоративном сознании. В нём фиксируются отличия интересов данной сферы разделения труда от другой и связанные с этими отличиями монополии и привилегии каждой профессиональной группы. Корпоративное сознание — духовно-практическая предпосылка бюрократии. Любые социальные и организационные формы не существуют изолированно от материальных интересов занятых в них людей. Эти интересы — главная социальная причина стабилизации организационно-управленческих форм. Ведущим мотивом корпоративного сознания выступает своекорыстие. Чем более развито своекорыстие, тем больше господство бюрократии и полиции над государством и обществом [См. об этом подробнее: Макаренко 1989: 14–28].

нападения становились театры, рестораны, кондитерские, когда там находилось много разодетых и беспечных эксплуататоров [Охранка… 2004: 102].

Короче говоря, если политическая организация базируется на связи религии и политики, то это порождает террор против лиц другой нации и членов аппарата управления. Тогда как идейные соображения ведут к массовому террору. Такова исходная проблема деятельности политической полиции, противодействующая вербовке сексотов.

Не менее значимы проблемы взаимоотношения армии и жандармерии. Военные противодействовали вербовке сексотов в армии. Генерал Деникин считал шпионаж нижних чинов за офицерами главным элементом разврата армии. Даже в разгар первой мировой войны он полагал, что в армии не должно быть никакой политики, «…а если на нее указывают шпионы и жандармы, то они врут или сами вносят разврат в солдатскую среду» [Охранка… 2004: 467]. При В.Ф. Джунковском (товарище министра внутренних дел) военное командование добилось упразднения сексотов в армии.

С другой стороны, руководители охранки выступали против всякого фразёрства ради точных определений и фактов в деловой переписке. Требовали наиболее близкого к истине изложения агентурных данных, без прикрас, выкрутасов и добавлений от себя. Тогда как лица, пришедшие в охранку из армии, поступали совсем иначе: в деловой переписке все стремились приукрасить и выпятить личное участие в решении любого вопроса. Люди «искусственной военной аффектации и военной дисциплины» требовали вставать при проходе офицера, отдавать честь, оказывать другие знаки уважения. Руководители охранки выступали против внешней дисциплины в розыскном деле в пользу разумного порядка в «абсолютно невоенном деле» [Охранка… 2004: 325].

Надёжность сексотов зависит от непрерывности руководства ими со стороны конкретного начальника, гарантии политической полиции от провалов и заботы об агенте. Но пример с Азефом показал: политическая полиция не могла обеспечить этих гарантий[6]. При таких условиях руководство сексотами становилось специфическим. Большинство стремилось повысить свой денежный оклад. Для достижения этой цели самые напористые и бессовестные выдумывали факты и сведения. Связь своекорыстия со стремлением к сенсации порождало следующие явления: сексоты сами создавали группы для экспроприации контор и банков, подпольные типографии, писали революционные прокламации, сочиняли ложные агентурные записки, заставляли врать осведомителей для втирания очков начальству. Все это делалось ради прибавки к жалованию и опасений увольнения при отсутствии у них интересных сведений. Такие сотрудники быстро продвигались по службе [Охранка… 2004: 173, 264–267, 341, 389].

При таких обстоятельствах охранка была вынуждена не столько искать злоумышленников, сколько осаждать зарвавшихся сексотов. «Задача эта отнюдь не была лёгкая, ибо, с одной стороны, желательно было удержать с секретным сотрудником по возможности более доверительные и тёплые отношения и не ссориться с ним, а с другой — надо было, пользуясь более

[6] «Русская политическая полиция „провалила“ Азефа чуть ли не в первые же месяцы его сотрудничества из-за небрежности, неумения и слабости техники розыскного дела. Произошло это так. Азеф из Ростова-на-Дону удрал за границу в 1892 году, так как в Ростове выяснилась его связь с местной подпольной революционной группой. За границей он сходится с русскими политическими эмигрантами и через „ростовских“ продвигается в кружки активных эмигрантов. Он решает использовать свои связи и знания об эмигрантах и завязывает сношения с Департаментом полиции; последний принимает его предложения, но тянет дело, и Азеф анонимно присылает предложения и начальнику губернского жандармского управления в Ростове-на-Дону. Последний по почерку узнает Азефа, и по его данным производит ликвидацию; при неосторожных опросах арестованных вскрывается, что сведения у жандармской полиции идут из-за границы; в эмигрантских кругах сразу же настораживаются против „ростовских“ товарищей, и один из них открыто указывает на Азефа. Первые подозрения возникли… Правда, они скоро отметаются» [Охранка… 2004: 83–84].

осведомленной агентурой, уличить и доказать сотруднику, что он если и не сфальшивил, то всё же преувеличил факты. Однако, уличая сотрудника, заведующий политическим розыском как бы невольно приоткрывал пред ним то обстоятельство, что местный политический розыск имеет в своем распоряжении другого, более осведомленного и ближе к подпольному центру стоящего осведомителя. Этого обстоятельства надо было всемерно избегать, и заведующий розыском обычно делал вид, что он, по крайней мере в данный момент, не имеет более „сильного“ сотрудника, чем тот, с которым он в то время беседует» [Охранка… 2004: 236–237]. Так возникали предпосылки цепи всеобщей лжи.

Эта ложь усиливалась конфликтом жандармов и охранки. Правительство требовало объединить усилия розыскных сил для искоренения революционной активности подполья. На деле получалось обратное. Начальник жандармского управления мог заниматься розыском только на территории губернии, но не в городе, где существовало охранное отделение. Губернский жандарм вынужден был выдавать охранке ордера на производство арестов и обысков, не зная сути дела. Но на следующей фазе задержанные лица, вещественные улики и результаты следственных действий попадали в жандармерию. Тут выходило наружу недоброжелательство жандармов и охранки. Жандармы стремились отыскать ошибки охранки. Не доверяли ее данным относительно общей картины революционной активности. Опровергали даже бесспорные доказательства. И «не находили оснований» принимать меры к задержанным мелким и крупным революционерам [Охранка… 2004: 156–157].

Зато жандармы проявляли специфическую активность. Они сообщали о возможном террористическом акте не для его предотвращения, а чтобы создать себе репутацию осведомленного. Начальство запрашивало о причинах несерьёзной тревоги. На это жандармы реагировали так: «Лучше на всякий случай предупредить начальство, пусть примут меры!» С такими ловкачами было бороться трудно: «Я, — пишет Мартынов, — отвечал кратко: „Передайте вашему сотруднику, сообщившему вам сведения о Поволжском областном комитете партии и другие данные, что всё является плодом его вымысла для придания себе значения в ваших глазах и получения большего вознаграждения; в случае повторения таких попыток вводить нас в заблуждение ему будет отказано в продолжении сотрудничества, а имя его будет внесено в специальный циркуляр о шантажистах!“» [Охранка… 2004: 262]. Но при реальной опасности жандармы спихивали с себя дело даже путём уничтожения агентурных данных [Охранка… 2004: 264].

Ради карьеры одни жандармы губили сексотов. Другие делали карьеру путём участия в нужных проводах, встречах, поддержании знакомств, стремились иметь покровителей в верхах, потрафлять царствующим особам. Для этого требовался специфический ум — пронырливость, неразборчивость в средствах при достижении цели, небрезгливость к людям, наклонность пользоваться услугами людей, годных на все руки. Этому способствовало множество подчинений. Кроме прямых начальников были косвенные (люди свиты). Служебное положение зависело от их мнения. Обилие реальных и предполагаемых начальников требовало приспособляемости, уменья проникать в характеры, отнимало время от дела. Зато при многовластии трудно было найти виновного [Охранка… 2004: 306, 322].

В любом случае между охранкой и жандармами существовало недоброжелательство. Например, Мартынов сообщает: Спиридович научился фотографии не ради умения, а чтобы снимать членов Императорской семьи «чуть ли не на полуофициальном положении „своего“ фотографа»; жена Заварзина негласно руководила делами мужа; В.Ф. Джунковский (товарищ министра, заведующий полицией и командир Отдельного корпуса жандармов) «…был круглый и полированный дурень, но дурень чванливый, падкий на лесть и абсолютно бездарный человек» [Охранка… 2004: 277, 280–281, 292–294, 316]. Таково отношение к коллегам в этой профессиональной группе.

Зато руководители охранки зафиксировали параллель между отношением сексотов к идеологии до взятия власти и отношением властно-управленческого аппарата к идеологии после взятия власти. В истории русского революционного движения были две разновидности людей: «мученики» за марксистскую и эсеровскую веру; сексоты, которые не хотели быть «мучениками». Ради «революционного фасона» бандитские группы прикрывались максималистскими политическими требованиями. Все партии имели поверхностное представление о революционных теориях. Они интересовались теориями только как мотивами «эксов» или возможности сыграть политическую роль. При таких обстоятельствах сами руководители охранки учили сексотов марксизму ради поднятия партийного престижа.

Например, марксизм стал завоёвывать сторонников в кругах русской интеллигенции, поскольку давал ей надежду на возможность сыграть политическую роль. Красин — типичная фигура марксистского интеллигента. В 1905 г. он руководил самыми опасными «предприятиями»: боевыми дружинами, приобретением оружия, заготовлением взрывчатки. «Он то принимал марксизм как средство для выдвижения на политической арене, то становился в ряды активных сторонников революционного отрицания капитализма; закончил же свою жизненную карьеру послушным выполнителем указаний Ленина, в то же время сомневаясь в октябрьской авантюре» [Охранка… 2004: 202, 200, 203, 153–155].

Надо учитывать также поведение политической полиции в период политических изменений. После Манифеста 17 октября 1905 года наступил хаос. Растерянность, разноречивые толкования, непонимание направления правительственной политики привели к прекращению деятельности жандармского управления; находившиеся в производстве дознания оказались за амнистией ненужными; новых не возникало; некоторые офицеры просто уничтожили свои дознания: «Мы собирались, обсуждали слухи и … ничего не делали!» [Охранка… 2004: 105].

Отсюда вытекает полицейская оценка роли подполья в подготовке революции. Подполье не было непосредственным фактором подготовки революции. Во время первой мировой войны противоправительственная деятельность перенеслась в иную плоскость. В неё включились оппозиционные (в том числе высокопоставленные) лица, а не революционеры. Местная власть на них воздействовать не могла. А верхушка МВД (включая политическую полицию) была скована «взаимодействием различных факторов, имевших решающее значение, из которых перенесение распорядительных функций из рук центрального правительства в военные руки Ставки сыграло главную, всё тормозящую роль!» [Охранка… 2004: 391]. Иначе говоря, по мнению главного сыщика в революции виноваты парламент и военные.

С этим связана полицейско-диалектическая оценка революции: она безнравственная потому, что целиком построена на морализме; она безбожна и бесчеловечна оттого, что выросла из идеи человекобожества; она исказила и уничтожила материальные ценности потому, что материалистична; революция и революционеры омерзительно несправедливы потому, что одержимы идеей справедливости. В конечном счёте революция — это реакция [Охранка… 2004: 234]. Эта оценка высказана в эмиграции.

Какие же материальные ценности следует причислить к «неискаженным»? Мартынов постоянно жалуется, что его обошли денежными наградами, детально описывает своё жалованье по всем статьям [Охранка… 2004: 169, 290–291]. Но наконец ему повезло проявить монархическое чувство: «При отъезде Государя с семьёй из Москвы я специально просил разрешения градоначальника встретить и посмотреть вблизи Государя и его семью. Разрешение было дано мне, и я имел счастье видеть в двух шагах от себя всю царскую семью. Я стоял отдельно у входа на вокзале. Государь, проходя в двух шагах от меня и видя отдельно от всех стоявшего жандармского штаб-офицера, приветливо улыбнулся мне и прошёл мимо в сопровождении семьи. Помню хорошенькие лица Великих княжон. Помню так, как будто вижу их сейчас перед собой». Царь приехал в Москву на трехсотлетие и привез с собой кучу высо-

чайших подарков. После проводов царя «…градоначальник говорит мне: „Выберите себе часы, там есть для вас, в коробке“. Подхожу и нахожу коробку, в которой осталась бумажная лента с моей фамилией, но часов в коробке нет. Говорю об этом генералу Адрианову и получаю ответ: „Должно быть, кто-нибудь взял себе, выберите другие“. — „Да как же я возьму чужие часы?“ — „Ну, хорошо, я выберу вам“, — говорит недовольно Адрианов, подходит к подаркам, выбирает наудачу чьи-то золотые часы с цепочкой, рублей на 150, самое большее, и даёт их мне. Я решил не возражать и не ссориться из-за часов, но прелесть царского подарка, первого моего подарка от Государя, была испорчена. „Мои“ часы, вероятно, были вынуты из „моей“ коробки и отданы кому-либо другому в градоначальстве. Я тогда был ещё не в фаворе у Адрианова» [Охранка… 2004: 322–323]. Стало быть, истинные материальные ценности — это те, которые стоят больше 150 рублей, даются царём, но разворовываются коллегами…[7]

Оценка политического розыска была подчинена конфликту между жандармами и охранкой. «Жандармские офицеры в политическом розыске, — пишет Мартынов, — применяли грязные и преступные приёмы, сами, при посредстве своих агентов, ставили подпольные типографии, затем арестовывали „вовлечённых в ловушку“ наивных молодых обывателей и затем получали награды, деньги и чины» [Охранка… 2004: 399]. Однако чистая работа охранки превращается в вечный вопрос: «Ликвидация подпольного революционного сообщества или „предприятия“, им осуществляемого, является для лица, ведущего розыск, всегда задачей „со многими неизвестными“ и потому со многими решениями. Можно решить в одном направлении, но потерять при этом кое-что; можно решить задачу и в другом направлении, но и тут потерять кое-что другое: то потеряешь сотрудника (а это — Боже сохрани!); то ликвидацией устранишь от активности не очень активную организацию, на место которой станет другая, куда более активная; то случайно при ликвидации будет отсутствовать руководящее лицо, из-за которого, собственно, и производишь такую ликвидацию. Решениям нет конца!» [Охранка… 2004: 180].

Зато вкусы, кредо, мировоззрение и политический идеал всех звеньев полиции совпадают. Перечислим главные из них: любовь к изящным искусствам; тяготение к государственности, порядку и отвращение к интеллигенции; в политическом розыске невозможно соблюдать конституцию и работать в перчатках; патриотизму надо учиться у немцев (они сильно и возвышенно любят свою родину; эта любовь делает их работниками без устали; они спят и отдыхают не больше двух часов в сутки; только подъёмом моральных сил можно объяснить немецкую неутомимость и трудоспособность); основанием решения социальных проблем является русский полицейский социализм по образцу Зубатова, который легализовал в рабочей организации социалистическую политическую и экономическую доктрину на основах Самодержавия, Православия и Русской национальности. Однако для спасения России не нашлось ни одного человека, который совмещал бы в себе идею крайнего национализма и дерзание ярого революционера [Охранка… 2004: 244, 302, 88, 443, 100]. Значит, эта перспектива остаётся пока открытой.

[7] Характерно, что та же традиция воспроизводилась и в СССР: «Эта традиция вручать сувениры пришла на нашу грешную землю из международной практики и нашла здесь такие благодатные условия, что расцвела махровым цветом. Благо привычки щедринских и гоголевских чиновников не исчезли… Л.И. Брежнев и его команда, собираясь в командировку, запасались многочисленными дарами от часов до золотых и серебряных наборов, портсигаров и сервизов… Для последней поездки Брежнева в Узбекистан были выписаны подарки на всех руководителей республики, их замов, замов замов, стенографисток, машинисток и даже водителей машин, на которых ездили эти стенографистки. На это направлялись десятки, сотни тысяч партийных рублей» [Болдин 1995: 38]. Но никакой новизны здесь не было. Обычай вручать подарки в честь заключённых экономических договоров распространён во всем мире. Правда, принятие таких подарков руководителями внешнеэкономического ведомства СССР могло быть истолковано как работа в пользу иностранцев — и тогда человек попадал за решётку [Сушков 1995].

Выводы

Для изучения степени полицеизации общества надо учитывать следующие феномены и проблемы: отбора и руководства сексотами; структуру полицеизирующих групп в соответствии с национальными, профессиональными, политическими и гендерными критериями состава сексотов и системы полицейского управления; душевную предрасположенность к сотрудничеству с полицией; специфику корпоративного сознания и поведения; отношение армии и полиции к сексотам; связь в деятельности полиции своекорыстия со стремлением к сенсации; цепь всеобщей лжи в военно-полицейских структурах; степень конфликта между обычной и политической полицией; параллель между отношением сексотов к идеологии до взятия власти и отношением к идеологии властно-управленческого аппарата после взятия власти; поведение политической полиции в период политических изменений; полицейскую оценку роли подполья в подготовке революции и полицейскую оценку революции вообще; степень выраженности монархического чувства в военно-полицейских структурах; оценку политического розыска; вкусы, мировоззрение и политический идеал всех звеньев полиции. Каждая из этих тем может быть предметом особого исследования — вместо разговоров об «объективной необходимости» особых групп лиц.

Агентурная работа… 2006. *Агентурная работа политической полиции Российской империи. Сборник документов 1880–1917*. — Сост. Е.И.Щербакова. — М-СПб: Дмитрий Буланин.

Анпилогов И. 2002. Уроки армии и войны, или Хроника чеченских будней. — *Континент*. — № 114.

Болдин В.И. 1995. *Крушение пьедестала*. — М.

Быков В. 2005. *Долгая дорога домой*. — Москва, Минск: АСТ-ХАРВЕСТ.

Геллер М. 1996. *История России. 1917–1995. В 4 тт*. Т. 4. Россия на распутье. 1990–1995. — М.

Доверие институтам власти… 2013. *Доверие институтам власти. Опрос Левада-Центра 20-24 сентября 2013 г.* — Доступно: http://www.levada.ru/07-10-2013/doverie-institutam-vlasti. — Проверено: 03.10.2014.

Зданович А.А., Васильев И.И. 2006. Спецслужбы в зеркале социологии. — *Труды Общества изучения истории отечественных спецслужб*. Т. 1. — М.: Кучково поле.

Макаренко В.П. 1989. *Бюрократия и сталинизм*. — Ростов-на-Дону: Изд. Ростовского госуниверситета.

Макаренко В.П. 2013. *Русская власть и бюрократическое государство*. Часть 1. — Ростов-на-Дону: Март.

Макаренко В.П. 2014. Полицейское общество: к вопросу о генезисе. — *Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований*. — № 2.

Никольский С.А. 2014a. Русские как имперский народ. — *Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований*. — № 1.

Никольский С.А. 2014b. О качестве человека. — *Политическая концептология: журнал метадисципалинарных исследований*. — № 2.

Олейник А.Н. 2001. *Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной власти*. — М.: ИНФРА-М.

Островский А.В. 2004. *Солженицын: прощание с мифом*. — М.: Яуза, Пресском.

Охранка… 2004. *«Охранка». Воспоминания руководителей политического сыска*. Т. 1. — М.: Новое литературное обозрение.

Стригин Е.М. 2004. *КГБ был, есть и будет. От МБ РФ до ФСК РФ (1994–1995)*. — М.: Эксмо, Алгоритм.

Сушков В.Н. 1995. *Заключенный по кличке «Министр»*. — М.: Совершенно секретно.

Хазанов Б. 2004. *Литературный музей. Из дневника писателя*. — Октябрь. — № 11.

Чукарев А.Г. 2005. *Тайная полиция России. 1825–1855 гг*. — Жуковский-Москва: Кучково поле.

Общие проблемы политической концептологии

НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

А.В. Лубский
Южный федеральный университет

Аннотация: *Неоклассическая модель политических исследований как одно из направлений постнеклассической политической науки базируется на принципе конструктивного реализма, позволяющего преодолеть эпистемологические претензии постмодернизма, методологическую односторонность классической и неклассической моделей, а также фрагментарность политических знаний на базе разработки многомерных конструктов политического познания.*

Ключевые слова: *классическая модель политических исследований, неклассическая модель политических исследований, неоклассическая модель политических исследований, постмодернистская модель политического познания, мультипарадигмальность, реализм, конструктивизм, конструктивный реализм, методологическое сознание.*

В современной политической науке сложилась интеллектуальная ситуация, которая характеризуется, с одной стороны, отсутствием общих теоретико-методологических ориентиров научно-исследовательской деятельности, а с другой — растущей мультипарадигмальностью политического познания, выражающейся в том, что представители различных научных течений и школ отдают предпочтение разным методологическим подходам, используют специфические научные тезаурусы и создают конкурирующие между собой теории предметного содержания.

Мультипарадигмальность политического познания подкупает интеллектуальными возможностями, и поэтому сосуществование и конкуренция в нем различных научных парадигм является необходимым условием нормальной методологической ситуации в политической науке. Однако на практике мультипарадигмальность зачастую сопровождается методологическим «сепаратизмом» и превращением политической науки в своего рода «отдельные столики», сидящие за которыми не желают слышать и понимать друг друга [Almond 1990: 13–31; The nature… 1990: 34–43].

В западной политической науке такая ситуация сложилась в 90-х гг. прошлого века, после того, как бихевиоризм перестал играть в политических исследованиях доминирующую роль. Аналогичная ситуация в это время сложилась и в российской политической науке, теоретическая основа которой, как отмечают исследователи, «была заимствована у Запада» [Пляйс 2009: 28]. В ней стали широко использоваться теоретические конструкты и понятий-

ный аппарат западной академической науки, что создавало благоприятные условия для распространения в научных исследованиях принципов методологического плюрализма. Однако на практике многие из западных теоретических конструктов превращались в интеллектуально-когнитивные моды: в научных исследованиях, посвящённых российской политической специфике, их стали использовать без всякой предварительной социокультурной и методологической экспертизы [Лубский 2009b: 156–174]. Кроме того, чрезмерная политическая ангажированность научных работ, написанных на «злобу дня» [Куренной 2006: 66–67], часто превращала академическое сообщество в России в «коммунальную квартиру».

В середине 90-х гг. некоторые интеллектуалы на Западе, обеспокоенные методологической разобщённостью исследователей в политической науке и в стремлении преодолеть одиночество сидящих за «отдельными столиками» учёных, стали настаивать на замещении бихевиоризма теориями рационального выбора, новым институционализмом, методологическим индивидуализмом [Миллер 2004: 88–89; Алмонд 1997: 175] или постбихевиоризмом, связанным с веберовским «понимающим» подходом [Easton 1997: 32–33]. Однако навести методологические «мосты» между различными направлениями и школами в современной политической науке не удалось. Она продолжает оставаться «ярмаркой» методологических идей, когнитивным полем многообразных научных дискурсов, в результате которых политическая реальность растворяется во множество теоретических конструктов и ценностных концептов, смысловых миров и метафорических значений. Мультипарадигмальность политической науке пока затрудняет научную коммуникацию в профессиональном сообществе учёных [Олейник 2008: 117].

Возникновение такой интеллектуальной ситуации в политической науке было обусловлено прежде всего изменениями в культурном и эпистемологическом контекстах её развития. Изменения в культурном контексте были связаны с формированием в 90-х гг. XX в. культуры «неоглобализма», базирующейся на методологии нового универсализма, которая характеризуется активизацией дихотомического стиля научного мышления и стремлением к синтезу разных познавательных «оппозиций»: глобального и локального, универсального и уникального, гомогенного и гетерогенного, социоцентристского и антропоцентристского, реалистского и номиналистского.

Эпистемологический контекст развития политической науки характеризовался борьбой между рассудочно-социологистскими и экзистенциально-антропологистскими теориями познания [Микешина 2002: 12–15]. Рассудочно-социологистские теории стремятся элиминировать субъект политического познания и представить субъект-объектные в нём отношения во все более жёстких абстракциях. В рамках рассудочно-социологистской эпистемологии господствует принцип монистической интерпретации политической реальности. Исследователи, придерживающиеся этого принципа, признают возможность получения такого научного знания, которое бы полностью соответствовало изучаемой политической действительности, обеспечивая тем самым однозначность содержания объективно-истинного политического знания. Это порождает уверенность в возможности построения единственно верной политической теории, доказательные аргументы которой окончательны и бесспорны.

Экзистенциально-антропологистские теории, наоборот, стремятся не только сохранить субъект политического познания, но и представить его как целостность, в единстве мышления и деятельности. В рамках экзистенциально-антропологистской эпистемологии доминирует принцип плюралистической интерпретации политической реальности. Согласно этому принципу, политическая реальность может мыслиться в многочисленных вариантах, каждому из которых соответствует свой собственный «наблюдатель» (в широком смысле — научное сознание определённого сообщества).

В связи с этим эпистемологический контекст развития политической науки характеризуется также борьбой сциентистских и антисциентистских традиций. Сциентизм, основываясь на принципах классической рациональности, в качестве идеала научности политического познания берёт модели мышления «строгих» наук, реализуя варианты рассудочно-социологистских научно-исследовательских практик, связанных с реконструкцией политической действительности. Когнитивными императивами сциентизма выступают, во-первых, элиминация субъекта политического исследования из его результатов; во-вторых, вооружение познающего субъекта научным методом, т. е. правильным способом описания и объяснения политической действительности, позволяющим получать объективные политические знания. Сциентизм, стремясь представить субъект-объектные отношения в научном исследовании в жёстких абстракциях, в которых господствует анонимный гнёт понятий и демонстративность научной мысли, утверждает основополагающую роль политической науки в производстве политических знаний, стремясь избавить их от спекулятивных суждений и телеологических заблуждений.

Сциентизм, став основой классической политической науки, сформировался в русле позитивистской эпистемологии, представители которой ориентировали учёных на создание таких политических теорий, которые должны быть такими же доказательным и общезначимыми, как и теории естественнонаучного содержания. Доказательность политической теории позитивисты видели в её обоснованности фактами, поэтому одной из характерных черт позитивистской политической науки был эмпиризм. Сциентизм доминировал в западной политической науке вплоть до 70-х гг. XX в. в рамках такого типа культуры, основу которого составляли универсальная рациональность и сциентистские формы мышления [Алмонд 1997: 175–183].

Критика сциентизма в политическом познании развернулась в первую очередь под влиянием постмодернистских идей, получивших распространение в политической науке в 80-х гг. прошлого века [Моисеенко 2004: 65–67]. Однако на волне критики уже постмодернистских идей в политическом познании в политической науке 90-х гг. усилились позиции «реалистического направления», представители которого предприняли попытку возрождения сциентизма в научно-исследовательских практиках в «мягкой форме». Это нашло выражение в том, что «реалисты», с одной стороны, отвергали идеи сциентизации политического исследования по образцу естественных наук, полагая, что между политической наукой и естественными науками сохраняются существенные различия. С другой стороны, они придерживались таких сциентистских принципов политического исследования, как объективность и холизм.

Антисциентизм в политическом познании, основываясь на принципах неклассической рациональности, в качестве идеала научности берёт модели мышления гуманитарных наук, реализуя варианты экзистенциально-антропологистских научно-исследовательских практик, ориентированных на реконструкцию политической действительности в системе научного знания, в которой презентуется не только предмет, но и субъект политического исследования.

Антисциентизм, став основой неклассической политической науки, сформировался в русле антипозитивистской эпистемологии, в рамках которой сложилось представление о том, что сциентистская рациональность разрушает живую политическую реальность, делая её «объектом» научного исследования. В связи с этим позитивистская политическая наука была подвергнута критике как репрессивная инстанция, которая с помощью различных гранд-теорий, «собирая» политическую действительность в единое целое и рассматривая политические факты как «вещи», «умерщвляет» реальную политическую жизнь. Антисциентизм, обретая человека как субъекта политической реальности, превращает политическое исследование в «субъект-субъектное» отношение, в диалог культур: культуры исследователя и культу-

ры изучаемых им политических субъектов. На волне всплеска сциентизма в политической науке в 50-х — начале 70-х гг. XX в., антисциентизм был подвергнут критике со стороны позитивистски ориентированных учёных. Однако в 70–80-х гг. XX в. в политической науке под влиянием идей, связанных с постмодернизмом, начался новый ренессанс антисциентизма в политическом познании.

Распространение эпистемологических идей постмодернизма в политическом познании было обусловлено тем, что первоначально постмодернизм воспринимался многими учёными как интеллектуальное течение с явно выраженной гуманитарной направленностью, отказавшееся от жёсткого сциентизма позитивистской методологии. Только в 90-х гг. прошлого века появились работы, в которых постмодернизм стал рассматриваться в русле преодоления модернистских норм научного мышления и связываться со стратегиями постструктурализма и деконструктивизма, которые обесценивали практически все профессиональные навыки, которыми гордились исследователи, и стало ясно, что постмодернизм ставит под сомнение сами основы политической науки [Моисеенко 2004: 65]. Поэтому постмодернистский вызов, как подчёркивали некоторые исследователи, «представляет собой один из самых значительных интеллектуальных вызовов сложившейся в XX столетии системе знаний» [Rosenau 1992: 5].

Эпистемологический «вызов», брошенный постмодернизмом политической науке, сопровождался тем, что, во-первых, начали размываться стандарты научной в ней деятельности, а политическая наука испытывать нашествие «околонаучного маргинала»; во-вторых, политическое знание стало приобретать принципиально гетерогенный и фрагментарный характер, и в познавательной деятельности обнаружился дефицит холистского политического мышления; в-третьих, произошла девальвация научно-теоретического разума, а политическое знание стало приобретать всё более ангажированный и прикладной характер.

В связи с этим реакция учёных на распространение постмодернистских идей в политической науке оказалась более чем сдержанной, а затем и критической. В результате в политической науке возникло критико-реалистическое направление, в рамках которого на волне критики эпистемологических претензий постмодернизма и односторонних методологических ориентаций классической и неклассической политической науки на рубеже XX–XXI вв. стала складываться неоклассическая модель политических исследований.

Неоклассическая модель политических исследований ещё не была предметом научного дискурса, хотя идея неоклассической политической науки как особого направления в постнеклассической политологии была концептуально оформлена уже в конце 90-х гг. прошлого века [Лубский 1999: 44–48]. В научно-исследовательских практиках иногда используется также понятие неоклассической парадигмы научного исследования, в русле которой, например, осуществляется критическое переосмысление методологии политического дискурс-анализа [Поцелуев 2010: 16–17].

В современной научной литературе обычно используются понятия классической, неклассической и постнеклассической политической науки как особых стадий в её развитии. При этом существуют различные представления о том, какие направления в политической науке следует относить к классическим, неклассическим и постнеклассическим. Так, некоторые исследователи к классическому этапу политической науки относят различного рода философско-аналитические, ценностно-нормативные ориентации, к неклассическому — ориентации позитивно-эмпирической направленности, к постнеклассическому — идеи постмодернизма [Жуковский 2011: 3].

Другие исследователи, говоря о классической и неклассической традициях в политической науке, в частности, при изучении политических элит, относят к классической традиции объективистский (властный) и субъективистский (меритократический) подходы, а к неклассической — деятельностный, или активистский (субъектный) подход [Логинова 2008: 98–

101]. В основу такого понимания классического и неклассического в политической науке положен историко-генетический подход в науковедении, в рамках которого к «классикам» относят отцов-основателей тех или иных научных направлений, и поэтому объединяют представителей с различными методологическими взглядами.

Выделение нами классической, неклассической и неоклассической моделей политических исследований основывается на концептуальном анализе сложившихся альтернативных научно-исследовательских практик. При этом модель политического исследования рассматривается как когнитивный его аналог, концептуально воспроизводящий такие параметры, как предмет политического исследования, его когнитивная стратегия и способ познавательной деятельности.

Классическая модель политических исследований базируется на классическом стиле рациональности, основой которой выступает принцип нейтральности субъекта научно-исследовательской деятельности, а также тождества политического бытия и научного мышления. Классическая рациональность, в которой разум, с одной стороны, дистанцируется от политической действительности, а с другой — абстрагируется от деятельностной природы субъекта политического познания, элиминирует из процедур объяснения всё то, что не относится к объекту политического исследования. Поэтому классическая рациональность, претендуя на познание политической действительности такой, какой она есть сама по себе, без примеси человеческой субъективности, предполагает, что в политическом знании не должно быть ничего того, что не относится к предмету политического исследования.

Классическая модель политических исследований базируется также на принципе социологизма, который содержит два аспекта: предметный и методологический. Предметный аспект проявляется, с одной стороны, в холизме, в представлении об обществе как целостной надындивидуальной социальной реальности, с другой — в социальном детерминизме, признающем жёсткую взаимозависимость различных сфер жизнедеятельности людей. Поэтому в центре когнитивного внимания классической модели политического исследования оказываются политические процессы, структуры, отношения и интересы. Главными действующими лицами в политической реальности провозглашаются не отдельные личности, а социальные группы и политические организации.

Методологический аспект принципа социологизма реализуется в когнитивной стратегии политического исследования, которая носит номотетический характер. Она ориентирует исследователя на установление общего, присущего определённому классу политических явлений и выражаемого посредством определённых понятий, а также на выявление повторяющихся взаимосвязей между политическими явлениями.

Целью когнитивной стратегии классической модели политических исследований является реконструкция политической реальности в виде системы эмпирического и теоретического знания, адекватного этой реальности и свободного от оценочных суждений. Номотетическая стратегия классической модели политических исследований предполагает создание такого рода научных концепций, которые охватывали бы все стороны политической реальности в единой логически непротиворечивой системе эмпирического и теоретического знания. Эти знания, рассматриваемые как своего рода «слепки» с объективных отношений самой политической действительности, претендуют на статус научных истин, верифицируемых политической практикой.

Неклассическая модель политического исследования основывается на неклассическом стиле рациональности, в котором деятельностная природа субъекта научного познания выступает в явном виде. Это предполагает осмысление соотнесенности объясняемых характеристик предмета политического исследования с особенностями методологических средств

научной деятельности. Поэтому неклассическая рациональность предполагает, что содержание политического знания зависит от выбора методологии научного исследования.

Основу неклассической модели политического исследования составляет принцип номинализма, предметный аспект которого выражается, с одной стороны, в когнитивном интересе к индивидуальному как уникальному, связанному с жизнедеятельностью людей, а с другой — в антропологизме, признающем необходимость «человеческого измерения» политической реальности, наполненной индивидуальными ценностями и смыслами. В результате предметом неклассической модели политического исследования является не детерминированная и структурированная надындивидуальная политического реальность, а политическая деятельность людей, обусловленная различными их политическими интенциями и ментальными программами.

Методологический аспект принципа номинализма задаёт для неклассической модели политического исследования идиографическую когнитивную стратегию, целью которой является понимание и восстановление смысла индивидуальных политических практик, их коммуникационной и символической природы, а также рациональная реконструкция их социокультурного контекста. Поэтому основным познавательным средством неклассической модели политического исследования является понимание, направленное на «постижение» смысла индивидуальных политических действий.

Выделение неоклассической модели политического исследования как определённого направления в развитии постнеклассической политической науки имеет свое логическое обоснование. Неоклассическая модель политического исследования — это не просто новая классическая, а такая, которая, сохраняя приверженность принципам классической модели, включает и принципы ее антипода — неклассической. Если вначале появилась классическая модель политического исследования, затем сформировалась её противоположность — неклассическая модель, то в соответствии с логикой развития политической науки следующая её стадия — это неоклассическая модель как синтез противоположных когнитивных практик в политическом познании.

Неоклассическая модель политического исследования стала формироваться в рамках постнеклассической политической науки в качестве методологического «ответа» на эпистемологический «вызов» постмодернизма, разрушавший все привычные представления о политической реальности и природе политического познания. В основе неоклассической модели политического исследования лежит критический, реалистско-синкретический стиль научного мышления. Неоклассики подвергают критике в первую очередь субъективистский, индивидуалистско-релятивистский стиль постмодернистского мышления, основанный на принципах радикального конструктивизма. Неоклассики критикуют представителей радикального конструктивизма за то, что последние, отрицая возможность получения объективно истинного знания, рассматривают политическую реальность только в качестве продукта аутопоэтического сознания познающего субъекта. В этом плане политическая реальность представляется постмодернистам не как нечто внешнее для познающего субъекта, а как то, что конструируется языком и дискурсивной практикой, и поэтому конструкты политические реальности можно сравнивать только между собой, но не с политической действительностью.

Неоклассики критикуют также неклассическую и классическую модели политического исследования за их методологические односторонности. В частности, они критикуют номиналистско-идиографический стиль мышления, лежащий в основе неклассической модели политического исследования, который способствовал распространению субъективизма и релятивизма в политической науке в связи с популярностью в ней культурной проблематики, приведшей по существу к отказу от объективно-каузального объяснения политических фактов. Критике неоклассиков подвергается и классическая модель политического исследования за

крайний объективизм, элиминирующий специфику политического познания, отвергающий структурирующую роль в нём текста и языка. Критикуются также представления классиков о методологическом плюрализме как эпистемологическом недостатке политического познания. В целом неоклассики критикуют представителей классической модели политического исследования за то, что последние, резко выступая против постмодернистской академической моды, фактически проповедуют новейшую форму «когнитивного абсолютизма», в котором научная нейтральность и объективность выходят за пределы человеческого разума и познавательной деятельности, приобретая форму веры. Поэтому классическая теория политического познания, как считают неоклассики, не применима к «живому» политическому исследованию. При этом они полагают, что политическая эпистемология должна обращаться не к абстрактному субъекту политического познания, а к целостному человеку — познающему и интерпретирующему, а богатство познавательного опыта ставит сегодня проблему возможного синтеза многообразных когнитивных практик на основе принципа доверия к субъектам научного исследования.

Неоклассическая модель политического исследования базируется на особом типе научной рациональности. Специфика этой рациональности заключается в том, что научное мышление в ней выступает не как констатирующее, а как проектно-конструктивное когнитивное действие: рационален не тот, кто стремиться к адекватному отображению политической действительности, а тот, кто способен воссоздать такой её образ, в котором неразрывно слиты представления о политической реальности с самой политической действительностью. В связи с этим неоклассическая рациональность предполагает рефлексию и плюрализм различных позиций, и в этом плане можно говорить о рационально-рефлексивном стиле научного мышления в неоклассической политической науке.

Неоклассическая рациональность в политическом познании — это рациональность, которая сформировалась в результате синтеза таких установок, как стремление к объективно-истинному знанию в классической рациональности и установление зависимости объясняемых характеристик предмета политического исследования от его методологии в неклассической рациональности и дополнения этих установок осмыслением ценностно-целевых ориентаций субъекта научной деятельности в их соотнесении с социокультурным контекстом. Поэтому неоклассическая рациональность предполагает рефлексию над ценностными основаниями научно-исследовательской деятельности, выраженными в научном этосе. В политическом познании неоклассическая рациональность проявляется в интеграции истины и нравственности, а это даёт возможность интерпретировать политическое исследование не только как целерациональную, но и ценностно-рациональную когнитивную деятельность.

Формирование неоклассической модели политического исследования сопровождается переходом от одномерных интерпретаций политической реальности к многомерным на основе синтеза «положительных» когнитивных установок классической и неклассической его моделей, а также с учётом всего того рационального, что содержится в постмодернизме. Неоклассическая модель политического исследования предполагает синтез различных когнитивных оппозиций на основе преодоления антитезы рассудочно-социологистского и экзистенциально-антропологистского подходов, макро- и микро-политических исследований. В связи с этим неоклассики предлагают идею «третьей книги» («third book»), которая должна объединить исследовательские практики, тяготеющие как к макроанализу и объяснению, так и к микроанализу и пониманию. При этом речь идёт не о простом «сложении» равноправных подходов, а о разработке качественно новых методологий, способных держать в своем фокусе не только объективные и субъективные параметры политической реальности, но и способы их взаимодействия.

Неоклассики утверждают, что между политическую реальностью и взглядом учёного на неё существует определённая связь. В связи с этим они рассматривают проблему объективности политического познания в контексте диалога между учёным и изучаемой им политической реальностью. Неоклассики не согласны с постмодернистами в том, что в научном дискурсе отражаются только наши собственные концепты и конструкты, а сама политическая действительность имеет весьма слабый референциальный статус. Вместе с тем, рассматривая научный диалог как дискурсивное моделирование политической реальности, неоклассики признают, что в политическом исследовании немалое значение имеют эпистемологические фильтры, опосредствующие интерпретацию его предмета [Мальковская 2003: 79]. В этом плане научный диалог рассматривается неоклассиками как выражение онтологической сопряженности в политическом исследовании объективного и субъективного, осуществляющейся посредством симулякров, или паттернов различного уровня. Эта идея базируется на представлении о том, что политическая реальность существует объективно, но научные знания о ней зависят не только от самой политической реальности, но и от тех её паттернов, или когнитивных «призм», сквозь которые исследователи смотрят на политическую реальность в целом (макропаттерны) или на отдельные ее фрагменты (мезо- и микропаттерны).

В исследовательской практике паттерны — это теоретико-методологические предпочтения, позволяющие репрезентовать политическую реальность и презентовать представления о ней самого исследователя. Неоклассики полагают, что на политическую реальность можно смотреть сквозь призму разных паттернов. В этом плане паттерны равны, одинаково правомерны и самостоятельны, и поэтому исследователи их не столько выбирают, сколько предпочитают. Разнообразие паттернов создаёт проблемное поле напряжённости в политической науке, порождая научные дискуссии как важнейшее условие её саморазвития.

В этом плане политическое исследование можно рассматривать как процесс когнитивного моделирования политической реальности. При этом различные научные конструкты и концепты как когнитивные её модели представляют собой формализованные и структурированные представления, выраженные в символической форме. Любые когнитивные модели содержат некоторые ошибки в отношении воспроизводимой ими политической реальности, которые обусловлены тем, что эти модели упрощённо воспроизводят эту реальность, постоянно выпуская из рассмотрения те или иные её аспекты, и за счёт этого какие-то стороны моделируемого политического явления описывают и объясняют всегда неполно и противоречиво. Политические знания в виде различных теоретических конструктов и аксиологически нагруженных концептов как неполные или противоречивые модели политической реальности в процессе коммуникации отчуждаются от их производителей и усваиваются индивидуальным сознанием потребителей этих знаний, что является основой виртуализации этой реальности [Лубский 2011: 19–29].

Представители неоклассической модели политического исследования считают, что конструктивистское начало присутствует во всяком процессе познания и познающий субъект не столько отражает, сколько конструирует политическую реальность. Однако в отличие от постмодернистов — радикальных конструктивистов, неоклассики занимают позицию конструктивного реализма, преодолевая при этом оппозицию когнитивного объективизма и радикального конструктивизма. Представители конструктивного реализма рассматривают политическое познание как такую когнитивную деятельность, которая предполагает взаимодействие учёных как с трансцендентальной политической действительностью, так и в дискурсе друг с другом. В рамках этих взаимодействий конструируются такие картины политической реальности, которые в определённой мере соответствуют самой политической действительности, но неизбежно несут на себе «почерк» познающих.

В рамках таких представлений о коммуникативной природе политического познания была актуализирована проблема языка политического дискурса. При этом надо отметить, что современные представления о политическом дискурсе складываются в контексте политической эпистемологии экзистенциально-антропологического характера. В русле этой эпистемологии политический дискурс как рефлексивная форма научной коммуникации, связанная с актуализацией содержания политического сознания, есть производная различных смысловых схем политической реальности как результата производства политического знания.

В процессе этой коммуникации, регулируемой доминирующим в той или иной культурно-эпистемологической традиции типом рациональности, происходит дискурсивное моделирование политической действительности. Благодаря создаваемым дискурсивным моделям, политическая действительность начинает восприниматься как множество политической реальностей. Политический дискурс по своей природе является институциональным, поскольку он предполагает рефлексивную коммуникацию в рамках статусно-ролевых отношений как в политической науке, так и в обществе в целом. Поэтому политической дискурс представляет собой, с одной стороны, многообразие суждений о политической действительности, ансамбль смысловых схем, образующих политическую реальность, с другой — когнитивное поле конкурентной борьбы в политической науке, связанной с производством политического знания. Специфической ставкой в этой борьбе является монополия на научную компетентность, понимаемую как социально и профессионально признанную за определенным учёным или научным сообществом способность легитимно высказывать истинные или правдивые суждения о политической действительности.

В российской политической науке проблема языка политического дискурса была порождена осознанием необходимости разработки научного языка, адекватного для изучения политических реалий вне западного политического ареала. Использование научного языка западной политической науки, который сформировался в определённой когнитивной среде при изучении политических реалий на Западе, затрудняет понимание и объяснение иных политических реальностей, обусловленных социокультурной спецификой, поскольку «словари и переводы, — как предостерегал П. Фейерабенд, — являются весьма неудачным способом вводить понятие языка, синтаксис которого существенно отличен, например, от английского, или от идей, которые нельзя „подогнать“ под западноевропейский способ мышления» [Фейерабенд 1986: 432].

Проблема языка политического дискурса — это проблема контекстуальности, которая является сегодня одной из наиболее актуальных в современной политической эпистемологии. Принцип контекстуальности означает, что всякое политическое явление необходимо изучать в рамках той социокультурной среды, которая породила это явление. Поэтому прежний поиск универсальных политических понятий и теоретических конструктов, пригодных при изучении истории любой страны независимо от её социокультурного своеобразия, в современной эпистемологии признается методологически несостоятельным.

Кроме того, принцип контекстуальности предполагает, что понимание политической реальности такой, какая она является на «самом деле», требует изучения прежде всего представлений людей об окружающем их политическом мире. Давно уже замечено, что люди живут в той социальной реальности, какой они её себе представляют, благодаря способности к её конструированию на основе знаний, получаемых извне и собственного социального опыта, почерпнутого из социальных практик повседневности, и если человек, — согласно теореме У. Томаса, — определяет социальную ситуацию как реальную, то она становится реальной по своим последствиям [Аберкромби, Хилл, Тернер 2000: 200].

Одной из задач неоклассической модели политических исследований является преодоление фрагментарности политического знания путём сближения «отдельных столиков» в по-

литической науке, сидящие за которыми учёные «имеют свои собственные концепции и собственные уязвимые места» [Almond 1990: 13], и возвращения в политическом познании приоритета научно-теоретического разума. При этом речь идёт не о возврате к политической эпистемологии эпохи модернизма, а о стремлении вывести политическую науку на новый качественный уровень с учётом всего того положительного, что было накоплено предшествующим её развитием, в том числе и тех позитивных моментов, которые содержатся в постмодернизме, показавшем, насколько специфическими являются те средства, с помощью которых учёный изучает политическую реальность. Такое стремление связано прежде всего с преодолением дисциплинарной ограниченности политического познания путём расширения когнитивных практик мультидисциплинарных, интердисциплинарных и трансдисциплинарных научных исследований.

Мультидисциплинарный подход в политическом познании — это решение научно-исследовательских задач в рамках предметного поля политической науки с помощью методологических конструктов и методов других научных дисциплин. Интердисциплинарный подход — это постановка научно-исследовательских задач на стыке политической науки и других научных дисциплин и использование методологического и теоретического потенциала последних в интерпретации научных фактов в целях создания целостной картины политической реальности. При этом надо подчеркнуть, что интердисциплинарность — это не столько расширение «территории» учёного, сколько постановка новых научно-исследовательских задач, которые, как известно, гораздо труднее поставить, чем решить. Кроме того, интердисциплинарные исследования, направленные на производство «гибридного научного знания», обладают большим компаративистским потенциалом. Трансдисциплинарный подход в политическом познании связан с постановкой научно-исследовательских задач, направленных на преодоление гетерогенности дисциплинарных научных теоретических знаний путём их осмысления на концептуальном уровне, выходящем за пределы и габитуальные рамки отдельных научных дисциплин.

Таким образом, представители неоклассической модели политического исследования, уставшие от фрагментации политического знания, «жаждут» нового холистского реванша. В рамках этого «реванша» наблюдается активизация концептуального политического мышления как интеллектуальной работы научного сознания по «схватыванию» смыслов в наиболее сложных случаях постижения политической реальности и стремящегося тем самым сохранить репрезентативный характер политического познания. В отличие от теоретического мышления, оперирующего научными понятиями, концептуальное историческое мышление базируется на концептах как когнитивных моделях политической реальности рационально-ценностного содержания. Концепты как формы политического мышления являются, с одной стороны, результатом квантификации и категоризации политического знания, с другой — определенным способом и формой абстрагирования, модели которого задаются самим политическим мышлением. Тем самым политические концепты, формируемые речью в процессе дискурсивных практик, не только описывают, но и конструируют свои объекты. Являясь формами политического мышления, концепты, направленные на «схватывание» смыслов в единстве речевых высказываний, действуют в режиме непосредственного диалогического общения говорящего и слушающего, пишущего и читающего, и поэтому всегда сохраняют открытые пространства для иных трансфлексивных политических обобщений. В политических концептах безличные и объективистские понятия авторизуются в процессе производства личностно-ориентированного знания о политической реальности. Как акты памяти политические концепты ориентированы в прошлое, как акты воображения — в будущее, как акты суждения — в настоящее [Веряскина 2004: 49].

Концептуальное политическое мышление является основой такого нового интеллектуального течения в политической науке XXI в., как политическая концептология [Макаренко 2002; Макаренко 2005], связанная, с одной стороны, с разработкой политических концептов, синкретически схватывающих социокультурную специфику политических реалий, с другой — концептуальным «оживлением» политических понятий и теоретических конструктов, разработанных западной интеллектуальной мыслью, путём их социокультурной экспертизы.

В политической концептологии, стремящейся к синкретическому изображению политической реальности в виде эмоционально-образных коннотаций и метафорических значений, политическому концепту придаётся идея метафизического смысла, рождающегося в рамках политического дискурса. Благодаря чему, в концептологических практиках рождаются различные образы политической реальности в качестве её «картин-репрезентаций», посылающих такие же личные «послания» субъектов познавательной деятельности, как и сама политическая действительность [Лубский 2009а: 67–74]. Эти образы, представляющие собой «воображаемые политические реальности», в процессе коммуникаций отчуждаются от их производителей и становятся социокультурными траектами — посредниками между субъектами и объектами политического познания, формируя собственно «мир политики». Функцией этих траектов становятся и объекты, и субъекты политического познания, поскольку они конституируются этими траектами как ролевые идентичности.

В рамках неоклассической модели политических исследований происходит становление нового типа методологического сознания, актуализирующего вопрос о субъективном «мире» политического знания, в котором обнаруживает себя объективный «мир» политической действительности. Этот тип методологического сознания основан на представлениях о том, что: 1) политическая реальность сама по себе не даёт никаких гарантий адекватности политического знания; 2) о политической реальности можно говорить на разных языках, в контексте различных политических теорий, с учётом различных политических перспектив; 3) в политическом исследовании методология определяет, что может (или должно) быть наблюдаемо в «политическом мире»; 4) политическое исследование, протекающее в определённом культурно-эпистемологическом контексте, обусловлено стилем мышления академического сообщества, к которому принадлежит учёный, и его методологическими ориентациями; 5) исследователь, веря в целесообразность (или смыслосообразность) политической реальности, создаёт её когнитивную «картину» в виде системы когерентных понятий и логически непротиворечивых умозаключений так, что, будучи поставленной на место политической реальности, эта «картина» посылает такие же личные его «послания», как и сама реальность; 6) политические знания как репрезентации политической реальности не являются её «репродукциями», «отражениями», поскольку эти репрезентации несут на себе «почерк» познающих; 7) политические знания имеют статус познавательных конструкций, они концептуально относительны, их нельзя априори защитить от скептических возражений; 8) исследователь, создавший определённую «картину» политической реальности, может утверждать, не опасаясь фактических опровержений, что он в действительности познал некую её сторону, хотя это утверждение не может быть никогда прямо доказано.

В таком методологическом сознании преодолевается «жажда объективности» и формируется представление о том, что «политический мир» становится политической реальностью в соответствии с познавательным контекстом. В таких условиях политическое знание приобретает онтологическую «скромность»: оно утрачивает политическую реальность «саму по себе» в той мере, в какой эта реальность трансформируется в разные её «картины», из которых ни одна не может быть признана единственно правильной.

Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. 2000. *Социологический словарь*. — М.

Алмонд Г. 1997. Политическая наука: история дисциплины. — *Политические исследования*. — № 6.

Веряскина В.П. 2004. Концепт «образцового человека». — *Человек*. — № 4.

Жуковский А.Г. 2011. Современные парадигмы политологического исследования: модели взаимодействия: Автореф дисс. … доктора полит. наук. — Ростов н/Д.

Куренной В.А. 2006. Политическая теория. Беседа с Борисом Капустиным. — *Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений*. — М.: Изд-во Некоммерческий фонд «Наследие Евразии».

Логинова О.А. 2008. Методологические проблемы изучения элит в классической и неклассической социологической традиции. — *Известия Алтайского государственного университета*. — № 2.

Лубский А.В. 1999. Каковы характерные черты постнеклассической политической науки? — *Политология в вопросах и ответах: Учеб. пособие*. — М.: Гардарики.

Лубский А.В. 2009a. Политическая концептология как «захват мира политики» и приглашение к дискурсу. — *Политическая концептология: Журнал метадисциплинарных исследований*. — № 1.

Лубский А.В. 2009b. Политология в России: состояние и возможности политической концептологии. — *Государственное и муниципальное управление: Ученые записки СКАГС*. — № 2..

Лубский А.В. 2011. Социальные науки и социальная реальность: к вопросу о погружении в виртуальность. — *Научная мысль Кавказа*. — № 4

Макаренко В.П. 2002. *Аналитическая политическая философия*. — М.: Праксис.

Макаренко В.П. 2005. *Политическая концептология: обзор повестки дня*. — М.: Праксис.

Мальковская И.А. 2003. Россиеведение между символом и симулякром. — *Россия и современный мир*. — № 1.

Микешина Л.А. 2002. *Философия познания. Полемические главы*. — М.: Прогресс-Традиция.

Миллер А.И. 2004. Реферат: Political science in history: Research programs and political traditions / Ed. by James F., Dryzek J.S., Leonard St. Cambridge (Mass.): Cambridge-univ. press, 1995. — *Политическая наука на рубеже веков: Проблемно-тематический сборник*. — М.: ИНИОН РАН.

Моисеенко А.О. 2004. Реферат: Heineman R.A. Political science an introduction. N.Y. etc.: McGraw-Hill, 1996. — *Политическая наука на рубеже веков: Проблемно-тематический сборник*. — М.: ИНИОН РАН.

Олейник А.Л. 2008. Научная коммуникация на стыке парадигм. — *Общественные науки и современность*. — № 2.

Пляйс Я.А. 2009. *Политология в контексте переходной эпохи в России*. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН).

Поцелуев С.П. 2010. *Диалог и парадиалог как формы дискурсивного взаимодействия в политической практике коммуникативного общества. Автореф. дисс. ... доктора полит. наук*. — Ростов н/Д.

Файерабенд П. 1986. *Избранные труды по методологии науки*. — М.

Almond G. 1990. Separate tables: schools and sects in political science. — Almond G.A. *Discipline divided: schools and sects in political science*. — Newbury Park, L., New Delhi.

Easton D. 1997. The future of the postbehavioral phase in political science. — *Contemporary empirical political theory* / Ed. By Monroe K.R. — Berkley, Los Angeles, L.: Univ. of California press.

Rosenau P. 1992. *Post-modernism and social sciences*. — N.Y.: Princeton.

The nature… 1990. The nature of contemporary a roundtable discussion. — PS: Political science and politics. — Vol. 23. — N 1.

ИСТОРИЯ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА

В.М. Межуев
Институт философии РАН

Аннотация: *Статья посвящена анализу философского понимания истории. Автор проводит разграничение между компетенциями двух областей исторического познания: философии истории и исторической науки. Историческая наука стремится к объективности, т. е. к изучению событий прошлого в том виде, в каком они отражались в опыте современников этих событий. Предметом философии истории является не просто знание о прошлом, но историческое самосознание, т. е. осознание человеком себя и своего времени, связи между временем и вечностью, установление смысла и цели исторического процесса. В статье анализируется специфика этого самосознания в различные исторические эпохи — домодерна, модерна и постмодерна.*

Ключевые слова: *философия истории, методология истории, порядок времени, идея истории, домодерн, модерн, постмодерн.*

Первое, о чем приходится говорить в связи с историей — это то, что Мишель Фуко назвал «порядком времени», сменившим собой «порядок тождеств и различий». С внедрения этого порядка в теоретический дискурс XIX в. начинается «век Истории». «Для мысли XVIII века временные последовательности были лишь внешним признаком, лишь нечётким проявлением порядка вещей. Начиная с XIX века, они выражают — с большей или меньшей прямотой, вплоть до разрывов, — собственный глубоко исторический способ бытия вещей и людей» [Фуко 1977: 362]. Связь истории с временем — исходный пункт в объяснении природы исторического.

Не всё, что существует во времени, является, конечно, историей. Время, с которым имеют дело астрономы, физики, биологи — не историческое. История, согласно Мартину Хайдеггеру, есть способ бытия не любого сущего, а такого, которое состоит в переживании собственной временности, конечности (Dasein) и пытается справиться с этим переживанием посредством выхода (экзистирования) за свои пределы назад или вперёд, т. е. в прошлое или будущее. Так возникает историческое время. История — не просто следствие осознания человеком конечности своего бытия, но результат его усилия как-то растянуть, задержать, даже приостановить время, найти ему альтернативу в чем-то вневременном, вечном. В каком-то смысле история есть история *борьбы человека с временем*, его стремления вырваться из «плена времени», прорваться туда, где время уже не властно. Меняющиеся способы и формы взаимоотношения человека, живущего во времени, с вневременным и вечным делят историю на прошлое, настоящее и будущее.

К уяснению связи между этими основными модусами исторического времени, собственно, и сводится философское понимание истории[1]. Простое описание событий в их фактической данности и хронологической последовательности ещё не является историей в точном смысле этого слова, хотя именно такое описание интересует большинство историков в первую очередь. В чем же состоит эта связь? Если в классических версиях философии истории (от Вольтера до Гегеля) прошлое, настоящее и будущее связаны между собой непрерывной и восходящей линией развития, называемой прогрессом, то в более поздних версиях между ними не усматривается никакой причинно-следственной зависимости. Идея прогресса, по мысли Вальтера Беньямина, высказанной им в знаменитом эссе «О понятии исторического», антиисторична по своей сути, есть идея класса-победителя, пытающегося изобразить свою победу как закономерный итог всего предшествующего развития. Реальная же история, не будучи простым улучшением и совершенствованием чего-то изначально данного, несёт с собой не только приобретения, но и потери, предстаёт, как постоянное усилие человека преодолеть тяжесть времени, возвыситься над ним, прорваться в иной — трансцендентный — мир, лишенный временных ограничений. На разных этапах истории делается это поразному, но именно в этом усилии заложена связь между прошлым, настоящим и будущим.

Сложность и непредсказуемость исторических переходов не всегда поддаётся чисто рациональному объяснению. Поясню это на простом примере из истории науки. Гелиоцентрическая система Коперника возникла, как известно, в результате не развития, а отрицания геоцентрической системы Птолемея, является её противоположностью. Как объяснить переход от одной системы к другой? В наше время такой переход назвали бы научной революцией, точкой бифуркации, сменой парадигм и проч. Крушение птолемеевской системы было предопределено, видимо, не одной лишь гениальностью Коперника и временем, в котором он жил, но и несовместимостью этой системы с христианской космологией. Если в язычестве боги живут на Земле, которая потому находится в центре всего мироздания, то для христианина «град Божий» расположен за пределами «града земного», что сразу же отодвигает Землю на периферию небесного царства. Оставалось подкрепить эту космологию доводами наблюдения и разума, что и привело к созданию современной астрономии. После Библии Коперник был неизбежен.

История — не столько прогресс, сколько постоянно происходящая революция («перманентная революция») с её непредсказуемым результатом. Никакое знание прошлого не даст нам знания всего последующего, что свидетельствует об отсутствии в истории общих законов (наподобие природных), позволяющих предвидеть и предугадывать ход событий с той же степенью вероятности, с какой, мы предвидим, например, смену времён года. Но как тогда возможна связь времён? В этом пункте и намечается переход от чисто эмпирического постижения истории к её философскому рассмотрению. В любом случае, история — в виде реального процесса или знания о нём — предмет профессионального интереса не только специалистов-историков, но и философов. Но почему-то диалог философов с историками происходил в нашей стране намного труднее, чем в других странах и с представителями других наук. Во многом, конечно, это объясняется нашим недавним прошлым.

Историки, конечно, были во многом правы, усмотрев причину затруднённости такого диалога в исторической необразованности большинства философов, подвизавшихся на ниве советского «истмата». Именно эта область философского знания оказалась у нас наиболее догматизированной и вульгаризированной, оторванной как от реального опыта современной

[1]Автор статьи в «Вопросах философии» «История и пространство. Деструкция темпоральной историчности» В.И. Молчанов, хотя и полемизирует с пониманием истории как времени, начинает свою статью следующими словами: «Любое понимание истории предполагает категории изменения, настоящего, прошлого и будущего. Поскольку полагают, что любое изменение связано с временем, а настоящее, прошлое и будущее являются его модусами, то категория времени оказывается явно или неявно основополагающей как для исторической науки, так и для философии истории» [Молчанов 2013: 24].

истории, так и от современной исторической науки. По словам уже ушедшего из жизни известного историка-медиевиста А.Я. Гуревича, «наши философы давно оторвались от историков и едва ли представляют себе те новые тенденции, которые наметились в области исторического знания» [Философия и историческая наука… 1988: 20].

Сознавая всю справедливость подобного упрёка, нельзя всё же не отметить, что для ряда историков он послужил причиной своеобразного философского нигилизма, оправданием их нежелания считаться с тем, что интересует философов, когда они размышляют об истории. В своей статье в журнале «Вопросы философии» тот же А.Я. Гуревич весьма скептически оценивал возможности вообще любой философии истории в деле исторического познания. «Философия истории, какой бы она ни была, всегда диктует некую схему, поневоле упрощающую бесконечно красочную и многообразную действительность» [Гуревич 1990: 41]. Сам А.Я. Гуревич не против схем и обобщающих теорий в историческом познании, но не тогда, когда они претендуют на предельно широкий охват исторической действительности. «Я убеждён в том, что историку необходима теория, но теория, не отрывающаяся от исторической почвы; то, в чем он нуждается, — не всеобъемлющая система, а комплекс теоретических посылок, поднимающихся над эмпирией, но ни в коем случае не порывающих с ней» [Гуревич 1990: 42]. И далее: «Опирающийся на источники и на научную традицию историк лишён возможности следовать за философом и социологом в эти заоблачные дали» [Там же].

Что можно ответить на это? Историк не только не может, но и не должен следовать за философом в его «заоблачные дали», поскольку последнего интересует в истории совсем не то, что интересует историка. Никакая серьёзная философия истории не подряжалась служить историку вспомогательным средством в его работе над эмпирическим материалом, не брала на себя роль «служанки» исторической науки. Скорее, наоборот, в исторической науке философия всегда видела лишь исходную базу для решения собственных проблем. Философия, разумеется, обязана считаться с результатами исторических исследований, но не сводит к ним цели и задачи собственного постижения истории.

В своё время на ту же тему неплохо высказался Кант, определяя отношение своей «идеи мировой истории», выработка которой и составляет задачу философии истории, к эмпирической историографии: «Предположение, что этой идеей мировой истории, имеющей некоторым образом априорную путеводную нить, я хотел заменить разработку чисто эмпирически составляемой истории в собственном смысле слова, было бы неверным истолкованием моих намерений» [Кант 1966b: 23]. Своим намерением Кант считает «мысль о том, что философский ум (который, впрочем, должен быть весьма сведущ в истории) мог бы ещё попытаться сделать, стоя на другой точке зрения» [Там же]. Философия истории не подменяет собой исторической науки, не подчиняет её себе, а пытается в объяснении истории встать на «другую точку зрения». И важно понять, в чем её точка зрения отличается от точки зрения исторической науки.

В своих лекциях по философии истории Гегель подразделил всю существовавшую к тому времени историческую науку на три вида — первоначальную, рефлексивную и философскую. К первому он отнёс древнегреческих историков (Геродот, Фукидид и др.), для которых история была простым пересказом происшедших в прошлом событий, состояний и деяний, не очень отличающихся от созданных поэтическим воображением мифов и легенд. К рефлексивной истории он отнёс возникшую в Новое время систематическую, прагматическую и критическую истории, ставящие своей целью изображение истории в качестве всеобщей и даже всемирной, понимание её смысла и значения для настоящего (или современного), критическую оценку разного рода исторических повествований и свидетельств. Им противостоит философская история (философия истории), которую Гегель определил как «мыслящее рассмотрение истории» [Гегель 1993: 63]. Мыслит, конечно, и историк, но история для него — то, что уже совершилось, «и она тем ближе к истине, чем более она придерживается

данного». Задача же философа «как будто противоречит этому стремлению» [Гегель 1993: 63–64], что вызывает бесконечные нападки на нее со стороны историков.

Необходимость философии истории Гегель обосновывает разумностью всемирно-исторического процесса. Разум субстанциален по отношению не только к природе, но и к человеческой истории, а философски понятая история и есть постижение разумом самого себя в качестве такой субстанции. Такое понимание истории является идеалистическим и, похоже, никакой иной философия истории быть не может. Так думали и после Гегеля, в том числе Маркс, поставивший своей целью заменить философию истории её научным пониманием, названным им материалистическим. Материалистическое понимание истории для Маркса — синоним не философской, а научной теории истории, подобной, например, теории Дарвина в биологии. Но о Марксе разговор особый. Отметим лишь, что его попытка заменить философию истории исторической наукой (правда, не эмпирической, а теоретической) не привела к полному устранению философии из исторического познания.

Правда, с разложением гегелевской философии и среди философов возобладало мнение, что философия истории утратила в историческом познании самостоятельное значение и в лучшем случае может претендовать на роль вспомогательной дисциплины, призванной обслуживать профессиональные нужды исторической науки. Если учёный-историк имеет дело с исторической реальностью, то задача философа состоит в том, чтобы вооружить его необходимыми для этого логическими средствами и приёмами исследования. Философию истории стали трактовать не как теорию исторического процесса, а как теорию исторического познания, как всего лишь историческую эпистемологию.

Данная позиция была поддержана в своё время рядом наших отечественных философов. Так, А.И. Ракитов, выделив в историческом познании три основных направления — эмпирическую историографию, историософию (философию истории в собственном смысле этого слова) и историческую эпистемологию, утверждал, что с разложением гегельянства и всей идеалистической философии истории историческая эпистемология становится «равноправным и даже доминирующим компонентом философии истории» [Ракитов 1982: 152]. Ещё более определённо высказался эстонский философ Э.Н. Лооне. По его словам, современная философия истории «формулируется как теория познания, а не как онтология» [Лооне 1980: 5]. Она лишь часть философии науки, ставящая своей целью исследование исторического познания средствами логического и лингвистического анализа.

В западной философии подобную точку зрения наиболее чётко сформулировал Р.Дж. Коллингвуд в своем труде «Идея истории». Философ, по его мнению, занимается не прошлым (это дело историка) и не сознанием историка (это дело психолога), но тем и другим в их взаимоотношении друг с другом. Дело философа мыслить о самой мысли в её отношении к действительности. В истории философии термин «философия истории», как считает Коллингвуд, использовался в трёх значениях. Первое восходит к Вольтеру, впервые употребившему этот термин. Оно состоит в понимании философии истории как научно-критического способа исторического мышления, заключающегося не просто в пересказе историком доступных ему источников, но и их критическом осмыслении. У Гегеля философия истории означала знание о всеобщей или всемирной истории, мышление об историческом мире в целом. У позитивистов XIX века (Конта, например) она становится синонимом науки об общих законах исторического развития, управляющих ходом событий. Сам Коллингвуд предлагает четвёртое толкование этого термина — как исторической эпистемологии, отвечающей на вопрос, что есть история как наука.

Возможность философского постижения исторической реальности будет поставлена под сомнение и в самой немецкой постклассической философии. В представлении, например, неокантианцев и философов жизни, уделявших большое внимание историческим наукам, самое большее, на что может претендовать философия — это на обоснование метода этих наук. В первом случае (Г. Риккерт) таким методом является особого рода логика с её процеду-

рой отнесения к ценностям, во втором (В. Дильтей) — герменевтика, означающая понимание и интерпретацию смысла разного рода письменных источников. Конец философии истории как исторической онтологии, её деонтологизация чуть позже — в первой половине XX в. — будет истолкована В. Кожевым в его знаменитых лекциях о гегелевской философии как вообще конец истории. История завершилась в силу достижения в гегелевской философии абсолютного знания о том, что является её порождающей и одновременно конечной целью — стремление духа к своему полному самоосуществлению и самопознанию. Подобное стремление в границах самой всемирной истории означает, согласно Гегелю, переход к идеальному государству, сочетающему в себе конституционное устройство и общий национальный дух. Философия как бы исполнила своё историческое предназначение и теперь может уступить своё место историческим наукам, которым остаётся лишь эмпирически констатировать движение к этой цели, не прибегая относительно её к собственным априорным домыслам и выдумкам. В плане же философско-историческом история закрыта. Ничего принципиально нового, неизвестного и неожиданного в истории произойти уже не может.

Прежде чем как-то отреагировать на идею конца истории (точнее, её философского понимания), попытаемся разобраться, на чём основывалось Право философии истории быть чем-то бóльшим, чем только теорией исторического познания. Данное право, на мой взгляд, объяснялось просто: история не сводится к тому, что обычно изучают историки, что образует предмет исторической науки. Равно как и природа не исчерпывается тем, что изучают естественные науки; физики и химики имеют дело с неорганической природой, биологи — с органической, психологи — с психической и т. д. Но на вопрос, чем является природа в целом, ни одна из этих наук не даст исчерпывающий ответ: природа — не чувственно воспринимаемый, а умопостигаемый объект знания (никто из учёных не созерцает природу как таковую), доступный лишь философскому умозрению.

И для историков история — лишь объект познания, данный в опыте живших до него людей, как он зафиксирован в исторических памятниках и документах. Такая история есть **прошлое**, которое историк стремится отобразить в максимально свободном от его модернизации виде, от его истолкования по аналогии с настоящим. Безусловным императивом исторической науки является требование смотреть на прошлое глазами живших тогда людей. Правда, никто из историков не может до конца решить эту задачу, в чем, разумеется, нет никакой их личной вины. Просто такова природа исторического познания. Даже язык, на котором говорят историки, их подводит. Например, люди, которых они называют средневековыми, никогда не считали себя и своё время средневековыми (равно как Античность — не самоназвание эпохи, а её современное наименование). Как ни крути, на представлении историка о прошлом всегда лежит отпечаток того времени, в котором он живёт. В зависимости от того, кто он сам в истории, прошлое предстаёт для него с разных сторон и в разных значениях. Если он в истории никто, то и прошлое для него ничто — всего лишь объект знания, подобный природному. Но так, конечно, не бывает, что и делает историю, возможно, самой необъективной наукой.

Само по себе наличие прошлого ещё не объясняет возникновения исторической науки. Люди всегда жили в истории, но не всегда были историками, долгое время мало что знали о ней и не придавали ей существенного значения. Нечто подобное знанию о прошлом можно, конечно, обнаружить в любой культуре (в виде, например, мифических представлений о тотемных животных или племенных богах, давших начало всему), но это ещё не историческое знание в точном смысле слова. Прошлое становится предметом научного (объективного) познания (в отличие от поэтического предания, мифа или сказания) с того момента, как люди осознают себя живущими в ином по сравнению с прошлым времени, называемым **настоящим (**или **современным)**. Если объективное познание прошлого в его независимости от настоящего есть дело исторической науки, то осознание настоящего в отличии от прошлого — предмет специфически философского интереса. Стоит историку, изучающему прошлое, заду-

маться о том, кто он сам в истории, из какой её точки смотрит на неё, как он тут же становится философом. Один из крупнейших философов истории XX века Карл Ясперс так сформулировал цель этой дисциплины: «Целостная концепция философии истории, которую мы пытаемся дать, направлена на то, чтобы осветить нашу собственную ситуацию в рамках мировой истории. Задача исторической концепции — способствовать осознанию современной эпохи. Она показывает нам наше место в ней» [Ясперс 1991: 99].

Философия истории, следовательно — не просто знание о прошлом, но *историческое самосознание* — осознание человеком себя и своего времени. История для философа — не то, что происходило до нас или без нас, а что происходит с нами, при нашем непосредственном участии. Без нас, живущих в настоящем, вообще нет никакой истории. Её нет и тогда, когда настоящее мыслится по аналогии с прошлым. Само по себе знание прошлого ещё не достаточно, чтобы считать себя историком. В лучшем случае такой человек — лишь знаток старины и не более того. Подлинный историк тот, кто осознает собственную причастность к истории, не мыслит себя вне ее, т. е. не просто изучает историю, но живёт в истории.

Вместе с тем настоящее — не хронология, не простая смена дат, но особое историческое состояние, отделённое от прошлого каким-то важным рубежом. Не всё, что фактически существует на данный момент, является настоящим. Аборигены Австралии — прошлое или настоящее? По времени своего существования (в нашем летоисчислении) они вроде бы — наши современники, по способу существования их никак не назовёшь современными людьми. Да и наша собственная цивилизация не полностью свободна от «пережитков прошлого». Где же пролегает граница между прошлым и настоящим? Любая хронология здесь хромает, и увидеть эту границу можно лишь в особой философско-исторической оптике, охватывающей весь исторический горизонт.

Отождествление истории исключительно с прошлым фактически выводит настоящее за пределы истории. Если раньше была история, то теперь её больше нет. К такому аргументу прибегают обычно те, для кого настоящее имеет значение естественной нормы, а всё то, что ему предшествует, несёт на себе налёт искусственности и относительности. Но как сделать настоящее предметом исторического рассмотрения? Ведь исторический подход к настоящему равносилен его критике, отказу от его увековечивания и абсолютизации. От имени чего (или кого) должна вестись такая критика?

В отличие от прошлого, у настоящего есть **будущее**. У прошлого будущего нет. Понятно, что жившие до нас люди также имели какое-то представление о будущем, но оно вместе с ними ушло в прошлое. Наивно предполагать, что, думая о будущем, они думали о нас. От того, как мы представляем будущее, зависит наше понимание настоящего и прошлого. По словам Карла Ясперса, «наши мысли о будущем влияют на то, как мы видим настоящее и прошлое» [Ясперс 1991: 155].

В своем объяснении истории философы, в отличие от историков, как бы двигаются в обратном направлении — не от прошлого к будущему, а от будущего к прошлому. Для историков подобный способ постижения истории совершенно неприемлем и даже антинаучен, для философов он — единственно возможный способ её объяснения. Человек, не задумывающийся о будущем, в истории не живёт. «Ибо отказ от будущего ведёт к тому, что образ прошлого становится окончательно завершённым и, следовательно, неверным. Без сознания будущего вообще не может быть философского осознания истории» [там же].

Если прошлое существует для нас благодаря исторической памяти, на страже которой и стоят историки, то будущее дано нам в виде **целей**, которые мы либо сами ставим перед собой, либо они навязаны нам какой-то внешней силой. Даже эмпирически нельзя отрицать, что всё в истории совершалось с какой-то целью. Эти цели могли далеко расходиться между собой, но именно они в своём суммарном виде направляли весь ход исторического движения. Не всякая цель оправдана, конечно, с исторической точки зрения (так, мечта о мировом господстве по нынешним временам может легко привести к гибели всего человечества), но

сама способность людей к целеполагающей деятельности уже говорит об их причастности к истории. Можно ли в связи с этим утверждать о наличии какой-то конечной цели истории, дающей направленность всему мировому историческому движению? Собственно, это и есть главный вопрос философии истории. Иными словами, можно ли в познании истории исходить не из того, что уже совершилось в ней, а из определенным образом трактуемого будущего? И кому дано знать об этом будущем?

Наличие в мире целевой причины (causa finalis) было известно уже Аристотелю. Впоследствии любое действие по цели (в отличие от внешней детерминации) назовут свободным действием. С возникновением естествознания Нового времени, исключившего из природы какие-либо цели, действие по цели отнесут к сфере культуры, понимаемой как «царство свободы» в противоположность природному «царству необходимости». Согласно знаменитому определению культуры, данному Кантом, «приобретение разумным существом возможности ставить любые цели вообще (значит, в его свободе) — это *культура*» [Кант 1966а: 464]. Соответственно человеческую историю с её целевой детерминацией станут трактовать как **историю свободы,** отличая от естественной истории, в которой господствует внешняя детерминация и необходимость. Наличие необходимости в человеческой истории (например, экономической) свидетельствует лишь о сохраняющейся здесь до определённого времени власти естественных сил и отношений.

В любом случае наличие в человеческой истории какой-то конечной цели философы назовут **идеей истории**. Вообще все, к чему философия имеет отношение, получает в ней форму идеи. Это касается и истории, подтверждением чему служат названия большинства философских трудов на эту тему — от «Идеи к философии истории человечества» Гердера и «Идеи всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» Канта до «Идеи истории» Коллингвуда. Под идеей здесь понимается не то, что уже состоялось в истории, а что в качестве цели истории (или её назначения, по терминологии Ясперса) придаёт ей целостность и единство.

Очевидно, и историк в своём изучении прошлого руководствуется какой-то идеей. Вот как её описывает Коллингвуд: «Но ни сырой материал исторического знания, ни детали непосредственно данного ему в восприятии, ни различные дарования, служащие ему в качестве вспомогательных средств при интерпретации исторических свидетельств, не могут дать историку критерия исторической истины. Этим критерием будет идея самой истории, идея воображаемой картины прошлого. Эта идея в картезианской терминологии является врождённой, в кантовской — априорной. Она — не случайный продукт психологических причин. Эта идея принадлежит каждому человеку в качестве элемента структуры его сознания, и он открывает её у себя, как только начинает осознавать, что значит мыслить. Подобно другим идеям того же типа, она не имеет точного эквивалента в опыте. Историк, однако, сколь бы долго и добросовестно он ни работал, никогда не может сказать, что его работа, даже в самом грубом приближении и до мельчайшей детали, сделана раз и навсегда. Он никогда не может сказать, что его картина прошлого в какой-либо её точке адекватна его идее о том, каким оно должно быть. Но сколь бы фрагментарными и ошибочными ни были результаты его труда, идея, направляющая его деятельность, ясна, рациональна и всеобща. Эта идея исторического воображения как формы мысли, зависящей от себя, определяющей и обосновывающей саму себя» [Коллингвуд 1980: 237]. Откуда же берётся эта идея? Сам Коллингвуд остаётся на позиции её врождённости человеку, не ставит вопрос о её происхождении. Но если идея для него — условие существования исторической науки (потому она и сводится лишь к «воображаемой картине прошлого»), то для философа она заключает в себе «воображаемую картину» всей истории в целом, включая будущее. Что же служит ему основанием для такой идеи?

Со времён Канта известно, что идеи не имеют предмета в опыте, не могут быть получены опытным путём. Идея истории из того же ряда. Её нельзя подтвердить фактическими данными и эмпирическими свидетельствами (хотя бы потому, что история не закончилась). Как

всякая идея, она находится в ведении не теоретического рассудка с его способностью к чувственному синтезу посредством категорий, а совершенно особой способности разума — «способности суждения» на основании предполагаемой цели. Все идеи, согласно Канту, имеют характер априорных (трансцендентальных) истин разума, не выводимых ни из чувственного познания, ни из теоретического мышления.

Такова и «идея всеобщей истории» Канта «во всемирно-гражданском плане». Она — не теоретически формулируемый закон истории, а её цель, которую разум предполагает в качестве цели всей природы относительно человека. На чём основано такое предположение? На природе разума с его способностью судить обо всем на свете не только теоретически, но и телеологически, т. е. на основании цели, но не любой, а полагаемой самим разумом. Ведь цели могут задаваться человеку и его чувственной, телесной природой, его желаниями и потребностями. В этом случае он руководствуется в своих делах и поступках *интересами*, которые у разных людей разные. Преследуя свои интересы, индивиды приходят в столкновение друг с другом. Чтобы избежать состояния конфронтации и вражды, человек, как считал Кант, должен принять в качестве своей конечной цели ту, которая укоренена в его не чувственной, а сверхчувственной (трансцендентальной) природе, свободной от всякой чувственной заинтересованности. Такую цель Кант называет разумной, и она состоит в исполнении человеком своего нравственного долга, как он сформулирован категорическим императивом.

Целеуказующая способность разума даёт людям «путеводную нить» в их историческом движении от настоящего, которое Кант называл «цивилизацией», к будущему, понимаемому как «достижение морального состояния». Если до сих пор люди действовали под влиянием своих чувственных побуждений и страстей, своего желания счастья для себя и своих близких, что не требовало участия их разума, то теперь ради сохранения и выживания человеческого рода они должны, наконец, довериться разуму, сделать его поводырем на своём историческом пути. После Канта философы будут по-разному формулировать конечную цель истории, но никогда при её формулировке не будут исходить из тех оснований, на которых строится опытная наука.

Но почему человеку вообще свойственно задумываться о будущем? Ведь ничего подобного нет у животных. Очевидно, будущее становится для человека предметом особого интереса в той мере, в какой он сознает себя не просто живущим в истории, но творящим её своей деятельностью, т. е. историческим **субъектом**. До того способностью к такой деятельности люди наделяли либо богов, либо героев. Как бы то ни было, история, создаваемая самим человеком, предстаёт для него как **развитие**, что не тождественно изменениям, наблюдаемым им в природном мире. Классический философский историзм и есть учение о развитии. По мнению А.Ф. Лосева, «становление, движение, развитие, общественное развитие и определенным образом интерпретированная структура общественного развития являются категориями, необходимыми для построения любой философской концепции истории» [Лосев 1977: 9]. Развитие нельзя трактовать в духе натуралистически понятого эволюционизма. Источником развития являются не объективные законы природы, а деятельность людей, обладающих сознанием и волей. Любой вид бытия обретает способность к развитию лишь в процессе своего деятельного созидания. Даже в нашем языке слова «развить» и «сделать» имеют сходный смысл и значение. Развитие есть делание, творение, созидание мира, способностью к которому мы наделяем либо Бога (идея «священной истории»), либо человека (идея «человеческой истории»). В любом случае деятельность, растянутая во времени, служит общей матрицей для того, что философы называют историей: прошлое здесь — это предмет деятельности, будущее — её мыслимый, идеально полагаемый результат, присутствующий в настоящем в виде цели или замысла, настоящее — сам процесс деятельности, в ходе которого прошлое переходит в будущее. История в качестве деятельности какого-то субъекта и предполагает наличие цели, придающей всему процессу единство и целостность. Процитирую ещё раз Ясперса: «В попытке постигнуть единство истории, то есть мыслить всеобщую историю

как целостность, отражается стремление исторического знания найти свой последний смысл. Поэтому при изучении истории в философском аспекте всегда ставился вопрос о единстве, посредством которого человечество составляет одно целое» [Ясперс 1991: 264].

Здесь нет возможности изложить все созданные классикой философские концепции истории. Важно, что каждая исходила из определённого видения будущего, пытаясь найти в нём объяснение истории в её целостности и единстве. Можно, как и это делает А.Я. Гуревич, назвать такой подход телеологическим, что, с его точки зрения, абсолютно ненаучно. И как учёный он, несомненно, прав. Но разве историк не живёт сам в истории? Разве ему безразлично, какое будущее ожидает его или его потомство? Как ни важно для нас знание прошлого в его «самоценности» и «самодостаточности» (термины А.Я. Гуревича), оно не исчерпывает нашего отношения к истории, в которой есть ещё и будущее. Будущее — не рок и не судьба, от чего нет спасения, но ведь от того, как мы его видим и понимаем, зависит и наше отношение к настоящему и прошлому. А на вопрос, как можно мыслить будущее в контексте прошлого и настоящего, как раз и отвечает философия истории. Само присутствие философии истории в составе исторического познания означает, что история не закончилась, не ушла целиком в прошлое. Полное вытеснение философии истории из исторического познания — плохой знак для истории. Оно свидетельствует о конце не только философии истории, но и самой истории.

Но именно наличие вообще какого-то будущего, отличного от прошлого и настоящего, и будет поставлено под сомнение в постклассической философии. На отрицании такого будущего, собственно, и держится вся идея конца истории. Всё последующее — лишь растянутое во времени настоящее, будь то возникшая в модерне бюрократизированная система власти (В. Кожев), либо неолиберальное общество всеобщего благоденствия (Фукуяма). Невозможность вообще какого-либо предвидения будущего станет для Карла Поппера доказательством «нищеты историцизма», претендующего на такое предвидение. Любая попытка судить о будущем будет объявлена им ложным пророчеством, не имеющим ничего общего с наукой. В человеческой истории нет ничего, что служило бы доказательством наличия в ней какого-то изначального плана, изначальной цели, вообще каких-то общих законов развития. Любое общество — это открытая система, в которой возможно всё. Единственное, на что способна наука — это на опровержение (фальсификацию) любой из таких предполагаемых возможностей. С подобной аргументацией Поппер и попытался дать бой «историцистам» — «врагам открытого общества» — в лице Платона, Гегеля и Маркса.

Делами и поступками людей, по мнению Поппера, управляет не необходимость, а свободный выбор ими своих целей и намерений, которые они реализуют в конкурентной борьбе друг с другом. Ничто не может служить гарантией успеха или поражения одного из них. Подлинной субстанцией истории является свобода, которая всегда есть «езда в незнаемое». Результат свободы подобен результату любого творчества: его нельзя предвосхитить, предвидеть, предугадать, представить в виде сколько-нибудь рационально оформленного проекта. Соответственно любой историцизм с его верой в теоретически предсказуемое будущее должен быть полностью исключён из состава научного знания. Поппер прав, конечно, в своем желании предельно развести философию истории и историческую науку, но прав ли он в попытке доказать ненужность и бесплодность любого видения будущего?

История, как уже говорилось — не просто время в его текучести и подвижности, но постоянное усилие человека ослабить, ограничить его власть над ним, вплоть до полного освобождения. Назовём эту свободу от «плена времени» вечностью. Свобода не освобождает человека от времени, но позволяет ему, оставаясь в нём, прорваться в вечность. Реальная жизнь человека протекает во времени, тогда как с вечностью он соприкасается в особом пространстве, называемом культурой[2]. Сама способность устанавливать посредством культуры

[2]«Мы называем „культурой“ как раз тот тип человеческой деятельности, который в конечном счёте состоит в превращении неуловимого в осязаемое, связывании конечного с бесконечным, или, иначе, в строительстве мо-

связь с вечностью и делает возможной человеческую историю, а меняющиеся способы установления этой связи делят историю на прошлое, настоящее и будущее (иными словами, на домодерн, модерн и постмодерн). Именно наличие связи между временем и вечностью, т. е. того, что Ясперс назвал «осевым временем истории», служит, по нашему мнению, философским основанием для установления смысла и цели исторического процесса.

В **домодерне** прошлое диктует свои законы настоящему, предстаёт как высшая и абсолютная точка для всего последующего. Всё хорошее позади, любое движение во времени есть регресс и упадок. Время уподобляется здесь природному времени с его бесконечным повтором и постоянной сменой одних и тех же жизненных циклов. «Нет ничего нового под Луной», «все опять повторится сначала» — вот и вся мудрость жизни в таком времени. В социальном плане это время существования так называемых традиционных обществ с их господством традиции над всеми проявлениями общественной жизни. Боязнь перемен, страх перед будущим — господствующее чувство в таких обществах, Надежду внушает только старое, всё новое грозит неминуемой бедой и даже гибелью.

В мифологическом времени вечность, символизированная тотемом или племенным божеством, мыслится как нечто, лежащее за пределами жизни простых смертных, с чем они никогда не соприкасаются. Даже время собственной жизни не принадлежит им — оно целиком во власти богов, добрых или злых духов. Они и умирают не по причине собственной смерти, а по воле богов («Бог дал, Бог и взял»). Единственная возможность избежать смерти — это умилостивить богов, вступить с ними в союз, что достигается посредством разного рода обрядовых и ритуальных действий. В представлении древних только наличие богов, не знающих смерти, отличает человека от животного. В эпоху господства мифа люди только себя наделяют свойством смертности: боги бессмертны, поскольку живут в бесконечно длящемся времени, животные, живя жизнью вида, не знают о собственной смерти. Сознание своей смертности, конечности — вот цена, которую люди платят за право выходить — хотя бы только в воображении — за границы времени. Без вечности время утратило бы для человека какой-либо смысл и значение.

В древних религиях Востока и греческой космогонии время предстаёт в виде неминуемой и неотвратимой судьбы, перед властью которой не могут устоять ни вещи, ни люди. Оно несёт с собой не только исчезновение и забвение, но и постоянное воспроизведение, повторение одного и того же. Поскольку назад пути нет (нельзя вернуть «утраченное время»), индивиду, освободившемуся от власти мифа, остаётся в плане личного спасения один выход — на небо, в потустороннее (трансцендентное) царство вечной жизни. Вертикаль, ведущая на небо, — единственная возможность прорваться в вечность. Время теряет силу либо «на том свете», в потустороннем мире, либо в царстве вечных истин и субстанций. То и другое открывается человеку посредством либо религиозного откровения, либо метафизического созерцания. Все мировые религии в этом смысле есть своеобразная самокритика общества, базирующегося на власти традиции, не способного ни к каким социальным изменениям и трансформациям.

Открытие «трансцендентного» мира Ясперс и назвал «осевым временем» истории. Приобщаясь к нему, народы впервые входят в историю, становятся историческими народами. Первыми были китайцы, индийцы, иранцы, иудеи и греки. Восточных мудрецов, иудейских пророков и греческих философов объединяет то, что они почти одновременно (между 800 и 200 гг. до н. э.) открыли для себя трансцендентный мир, увидели в нём единственное спасение человека от ужаса конечности и бренности его земного бытия. То, что в мифе было уделом богов, а именно вечность и бессмертие, стало доступно и человеку, пусть ценой его особых усилий и медитаций. Выйдя из-под тени мифа в царство логоса или трансцендентного Бога, человек впервые осознал себя «подлинным человеком», обладающим духовным быти-

стов, соединяющих смертную жизнь с ценностями, неподвластными разрушающему влиянию времени» [Бауман 2002: 301].

ем, превосходящим его телесность. С этого, согласно Ясперсу, и начинается история (предшествующее время он называет доисторическим), смысл которой в постоянном преображении, одухотворении мира с целью «овладеть ходом событий, восстановить необходимые условия или создать новые. История в её целостности мыслится как последовательная смена различных образов мира: либо в сторону постоянного ухудшения, либо как круговорот, либо подъем» [Ясперс 1991: 36]. В домодерне вечность как бы возвышается над всем временным, обеспечивая превосходство сакрального над профанным, метафизического над историческим, субстанциального над темпоральным.

В **модерне** власть традиции сменяется властью разума. Модерн есть рационализация всех форм жизненного поведения человека. Он начинается с момента, как человек обретает способность мыслить и действовать самостоятельно, в соответствии со своим, а не чужим разумом (разумом богов или предков). Разум не заменяет собой традицию, но делает её предметом критической рефлексии. Всё, что не выдерживает проверки разумом, отвергается как суеверие и предрассудок.

Отличительной чертой модерна является победа времени над вечностью. Время, которое, по выражению Франклина, есть деньги, стало временем рождения нового — исторического — взгляда на мир, в котором нет ничего вечного и абсолютного. «Эпоха модерна», по словам Мишеля Фуко, и есть «век Истории». Здесь время окончательно вытеснит из теоретического сознания всякую отсылку к вечным сущностям и субстанциям в их религиозном или метафизическом истолковании. Всё трансцендентное утрачивает свою силу.

С переходом к модерну спасение ищут уже не на небе, а на земле. Вертикаль, ведущая на небо, как бы опрокидывается вперёд, превращается в горизонталь, связующую настоящее с будущим. На смену упованиям небесного царства приходит социальная утопия с её устремлённостью не в потусторонний, а в грядущий мир — в мир «светлого будущего». Вечность как бы перемещается с неба на землю, но уже не в прошлое (как в мифе), а в будущее, в котором нет ни времени, ни пространства и место которому только в сознании. Это и есть утопия. «*Конечность* во всей своей истине даётся во *времени* — и вот *времени* наступает *конец*» [Фуко 1977: 345].

Избавиться от утопии, по мнению Фуко, можно ценой «смерти человека» как познавательной «эпистемы», что означает переход к новой — не антропологической, а лингвистической — «эпистеме» с её представлением о языке как формально структурированной системе. Возникает совершенно новая дискурсивная практика, в которой человек исчезает, испаряется в безличных языковых конструкциях, а сама история превращается всего лишь в «археологию знания». Правда, сам Фуко называет такое предположение не ответом, а только вопросом, но, в любом случае, для него несомненно, что человек есть «изобретение недавнее», продукт одной из возможных «диспозиций знания» и потому его конец неизбежен. Впоследствии Фуко попытается представить историю, в которой «человек умер», как историю власти, меняющей во времени лишь свои обличия и способы предъявления. Вывод вполне логичный: время, утратившее связь с вечностью, перестаёт быть временем жизни человека как субъекта.

В модерне время летит вперёд, ни на чём не задерживаясь, ни чему не придавая абсолютного значения. Время, лишённое связи с вечностью, есть безличное время социальных изменений с разной степенью длительности. В современных социологических теориях общественное время исчисляется в тех же единицах, что и природное время, но только применительно к социальным явлениям и процессам. Соответственно оно трактуется как время трансформации социальных институтов и структур, т. е. как время жизни вещей, но не людей. Время же человеческой жизни сводится, как и в язычестве, к времени биологической жизни, отождествляемой с жизнью тела, а не духа.

Сегодня, как считает Зигмунт Бауман, все построенные в культуре мосты, соединяющие человека с вечностью, полностью разрушены. Путь в вечность перекрыт для современного человека и ему остаётся лишь сосредоточиться на своем телесном существовании, найти в

нём смысл и ценность. Забота о теле становится главной заботой современного человека. Наиболее значимым и более всего переживаемым событием человеческой жизни, лишённой связи с вечностью, становится смерть. Во всём видят теперь неизбежную печать смерти, признак надвигающегося конца, приближающейся гибели. Смерть становится главной темой и художественного творчества. По словам Баумана, «самые известные художественные артефакты наших дней высмеивают бессмертие или обнаруживают к нему полное равнодушие… Исчезновение и умирание — вот что выставляют ныне в художественных музеях» [Бауман 2002: 314].

История в модерне вроде бы уже открыта, но ещё не является человеческой историей в собственном смысле этого слова. Её можно трактовать как историю цивилизации — государства, капитала, науки, техники. чего угодно — но только не как историю самих людей. Человек здесь целиком во власти времени, связь которого с вечностью (в форме мифа, религии или метафизики) полностью дискредитирована, поставлена под сомнение, утратила культурное значение.

Основным временем жизни большинства людей в обществе модерна является *рабочее время*, измеряемое обычными часами. Это время, которым они не распоряжаются по собственному усмотрению, следовательно, время необходимого, вынужденного труда ради заработка и физического выживания. Труд в рабочее время при всей своей специализации мало связан с индивидуальностью занятого в нём человека, продиктован не столько его личными запросами и желаниями, сколько интересами и целями той корпорации, в которой он работает или служит. Для большинства современных людей такое положение дел представляется естественным и даже вполне нормальным, но именно в данной ситуации встаёт вопрос о смысле их собственного существования в истории, как и о смысле самой истории. Рабочее время обрывает связь людей с историей. С последней они сталкиваются в лучшем случае не в процессе своей основной деятельности, а посещая музеи, при чтении исторических романов или просмотра исторических кинокартин и телепередач. История становится для них более предметом праздного любопытства или чистого зрелища, взгляда со стороны, чем местом протекания их собственной жизни.

Высшим достижением эпохи модерна считается создание информационных технологий, превращающих время в объект не только количественного счета, но и управления. «В информационном обществе, — по словам Д.Белла, — основной проблемой становится управление временем» [Бауман 2002: CXXXV]. В создаваемой средствами массовой коммуникации «виртуальной реальности» человек способен мгновенно переноситься из одного пространства в другое, жить в режиме не природного, растянутого по часовым поясам, а «реального времени», единого для всех, вступающих в коммуникацию. «Разрушение представлений о пространстве и времени, о системе координат, в соответствии с которой мы организовывали реальность, — это один из важнейших шагов вперёд в направлении информационного общества» [там же].

Каналы распространения информация, становясь универсальным средством общения, создают новый тип общества, который видный теоретик «информационной эпохи» М. Кастельс назвал сетевым. Человек живёт в современном обществе, будучи включённым в информационную сеть. При этом он вынужден сменить не только привычный для себя образ жизни, но и всю систему пространственно-временных координат. Полагая, что «трансформация времени в информационно-технологической парадигме» является «одним из оснований нового общества, в которое мы вошли» [Кастельс 2000: 399][3], Кастельс усматривает суть этой трансформации в дроблении «линейного, необратимого, измеряемого, предсказуемого времени» на отдельные фрагменты и куски. Результатом такой трансформации становится не только релятивизация времени или его обратимость, но и смешивание разных времён в любом по-

[3]Анализ социального времени, отмечает он, играет ключевую роль в размышлениях Э. Гидденса, а также содержится в классических работах Дюркгейма, Питирима Сорокина и Мертона.

рядке и контексте. Сетевое общество создаёт «вечную вселенную», в которой сняты все временные ограничения. Время в сети Кастельс называет «вневременным временем»: оно позволяет человеку переноситься в любую точку временного потока, безотносительно к его последовательности и лишь в соответствии с побуждениями потребителей и решениями производителей. Такое время «виртуально», предстаёт в виде одновременности и вневременности. С одной стороны, сеть обеспечивает «темпоральную мгновенность» передачи информации по всему земному шару, с другой — создаёт коллаж из разных времён «без начала, без конца и без какой-либо последовательности. Вневременность мультимедийного гипертекста есть определяющая черта нашей культуры, формирующая ум и память детей, получающих образование в новом культурном контексте» [Кастельс 2000: 429].

Подобную культуру Кастельс называет «культурой реальной виртуальности». «…**Эта культура есть одновременно и культура вечного, и культура эфемерного**» [там же]. Вечного — потому что охватывает «всю последовательность культурных выражений», эфемерного — поскольку упорядоченность этих выражений зависит от цели и контекста, в котором существует эта цель. Короче, время предстаёт здесь не как порядок следования вещей и явлений, их последовательность, а как их вневременность, создаваемая «систематической пертурбацией» этого порядка — либо сжатием временных промежутков между событиями до мгновенности, либо нарушением их очерёдности. А устранение очерёдности создаёт «недифференцированное время», равнозначное вечности.

Казалось бы, история достигла здесь своей конечной цели, найдя способ преобразования времени в вечность. Но, как констатирует Кастельс, создаваемая сетями вневременность, или вечность, не отменяет общей для всего модерна капиталистической логики развития, позволяющей манипулировать временем в интересах капитала, способствующей электронному управлению его глобальными рынками. Преобразование времени в сетях воздействует, конечно, не только на предпринимательскую активность, но и на рабочее время («гибкий график», большее разнообразие трудовой деятельности, неполная занятость и проч.), но в любом случае сетевое общество остаётся обществом «информационного капитализма». Хотя рабочее время благодаря информационным технологиям сокращается и содержательно преобразуется, оно сохраняет своё значение основного времени человеческой жизни.

В итоге именно информационное общество обрывает всякую связь индивида с вечностью, делает его рабом мгновения, воздвигает над ним то, что Т.Х. Эриксен назвал «тиранией момента». Эпоха информации, пишет он, «ставит человека в принципиально новую ситуацию. Ему приходится пересматривать представление о себе чуть ли не каждый день, не хватает стабильности и дальновидности, он свободен в своём выборе, но и обречён выбирать. Наше время создаёт постоянный, изнуряющий поток информации, предоставляющий богатые возможности настолько же, насколько ему не хватает внутренней взаимосвязи» [Эриксен 2003: 42].

Отсюда необходимость **постмодерна —** не просто как особого интеллектуального дискурса или специфического вида художественной практики — а как общественного состояния, в котором основным временем общественной жизни человека становится *свободное время*. Хотя свободное время уже давно стало общедоступным благом, оно пока не обрело значения основного времени общественной жизни. В лучшем случае оно способствует росту потребительской активности, даёт простор настроениям гедонизма и консюмеризма. На подобное времяпровождение работает вся современная индустрия досуга. Время летит здесь с ускоренной быстротой, ни на чем не задерживаясь, ничего не оставляя в памяти, никуда не устремляясь.

Вырваться за пределы этой дурной бесконечности можно путём превращения свободного времени в основную меру общественного богатства (в смысле, что чем его больше в обществе, тем оно богаче). Но тогда главным богатством становится сам человек. Свободное время и есть время производства человеком себя как «основного капитала». Время по-настояще-

му свободно, когда позволяет человеку распоряжаться временем не только своего потребления, но и труда, свободно избирать формы общения с современниками, предками и потомками, жить не только в том или ином социально организованном пространстве, но и в пространстве всей человеческой истории. В свободное время человек впервые начинает жить подлинно исторической жизнью, включается в неё на правах субъекта истории, превращая саму историю в общее и открытое для него пространство своей индивидуальной жизни. В переводе на язык социальной теории движение от настоящего к будущему и есть переход от рабочего к свободному времени. Что раньше называлось вечностью, предстаёт здесь как тоже время, но только свободное от всего, что делает человека не целью для себя, а только средством для других. И только такое время способно придать человеческой жизни — не на небе, а на земле, не в прошлом или будущем, а в настоящем — масштаб, равный вечности.

Бауман З. 2002. *Индивидуализированное общество*. — М.: Логос.

Гегель Г.В.Ф. 1993. *Лекции по философии истории. Книга 1*. — СПб.: Наука.

Гуревич А.Я. 1990. Теория формаций и реальность истории. — *Вопросы философии*. — № 11. — С. 31–43.

Кант И. 1966a. Критика способности суждения. — Кант И. *Сочинения в шести томах. Т. 5*. — М.: Мысль. — С. 161–544.

Кант И. 1966b. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. — Кант И. *Сочинения в шести томах. Т. 6*. — М.: Мысль. — С. 5–23.

Кастельс М. 2000. *Информационная эпоха: экономика, общество и культура*. — М.: ГУ ВШЭ.

Коллингвуд Р.Дж. 1980. *Идея истории. Автобиография*. — М.: Наука.

Лооне Э. 1980. *Современная философия истории*. — Таллин: Ээсти раамат.

Лосев А.Ф. 1977. *Античная философия истории*. — М.: Наука.

Молчанов В.И. 2013. История и пространство. Деструкция темпоральной историчности. — *Вопросы философии*. — № 7. — С. 24–36.

Ракитов А.И. 1982. *Историческое познание. Системно-гносеологический подход*. — М.: Политиздат.

Философия и историческая наука… 1988. Философия и историческая наука. Материалы «круглого стола». — *Вопросы философии*. — № 10. — С. 18–65.

Фуко М. 1977. *Слова и вещи. Археология гуманитарных наук*. — М.: Прогресс.

Эриксен Т.Х. 2003. *Тирания момента. Время в эпоху информации*. — М.: Весь Мир.

Ясперс К. 1991. *Смысл и назначение истории*. — М.: Политиздат.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК: КОНЦЕПТ И КОММУНИКАЦИЯ

А.И. Щербинин
Национальный исследовательский
Томский государственный университет

Аннотация: *В статье предметом анализа выступают коммуникативные свойства политических праздников: повторяемость, символичность, образность и т. д. Этими свойствами обусловлены главные функции политических праздников: проекция современных ценностей на прошлое, воспроизводство последовательности исторических событий и легитимация на этой основе существующего политического порядка и идентичности. Анализируя политическую реальность в современной России, автор обращает внимание на «дефицит праздничного», обусловленный противоречием между зарождающейся национальной идентичностью россиян, и неадекватным выражением символики «рождения нации» в существующих политических праздниках.*

Ключевые слова: *политический праздник, политическая литургия, символы и ценности в политике, символическая политика, политическая коммуникация*.

Праздник и пустота

Такое массовое и заметное явление, каким является праздник, не могло не привлекать интереса исследователей общества. Уже в древней Греции появилась особая наука о праздниках — эортология. Но, скорее всего, это было технологическим прочтением праздничного феномена и использованием жрецами определённых закономерностей в интересах правящего класса той поры. Сама по себе природа праздника так и остаётся загадкой, несмотря на приличное количество исследований, прямо или косвенно касающихся данной проблемы. Особенность большинства подобных работ заключается в том, что они рассматривали (и рассматривают до сих пор) праздник как социальный институт, «нагруженный» нормами, ценностями, ритуалами. И фактически вне исследовательского поля остаётся коммуникативная природа праздника.

Один из классиков мировой социологии Фердинанд Тённис, противопоставляя Gemeinschaft (общность) и Gesellschaft (общество), писал: «Всякая доверительная, сокровенная, исключительно совместная жизнь… понимается как жизнь в общности. Общество это публичность, мир. В общности со своими близкими мы пребываем с рождения, будучи связанными ею во всех бедах и радостях. В общество же мы отправляемся как на чужбину»

[Тённис 2002: 10]. Противопоставляя «подлинную совместную жизнь» в общности «преходящей и иллюзорной» в обществе, Ф. Тённис, даёт нам возможность наметить ту канву, по которой будет выстраиваться авторское понимание коммуникативной природы праздника. В основу избирательного (ad hoc) прочтения мы положим более древние и органичные черты сообщества типа Gemeinschaft. Именно оно имеет тенденцию прорываться в отчуждённую природу общества — Gesellschaft, восстанавливая социальную гармонию. Одной из форм такого прорыва и являются праздники.

В этой связи есть необходимость обратиться к этимологии слова «праздник». Польский социолог Казимеж Жигульский, занявшись данной проблемой, обращает наше внимание на то, что в западноевропейских языках корень обозначения праздника лежит в латыни — festum или dies festi, праславянский же корень prozdny означает «не занятый», «пустой», «порожний» [Жигульский 1985: 28]. Не останавливаясь подробнее на этимологических деталях, отметим важную исследовательскую интенцию, скрытую в непрезентабельной, на первый взгляд, славянской (русской) расшифровке столь возвышенной смысловой нагруженности, которая придаётся празднику. Дело в том, что «пустота» в обществе не является чем-то отрицательным. Это состояние стало предметом особого изучения Виктора Тэрнера. Объясняя свое понимание коммунитас, Тэрнер приводит притчу Лао-цзы о бесполезности спиц и ступицы в колесе, если в его центре не будет пустоты. Тэрнер пишет: «Коммунитас с её неструктурным характером, представляющая „самую суть“ (ср.: оценку Gemeincshaft у Тённиса. — *А.Щ.*) человеческой взаимоотнесённости (то, что Бубер назвал das Zwishenmenschliche), можно было бы вообразить в виде „пустоты в центре“, которая тем не менее необходима для функционирования структуры колеса» [Тэрнер 1983: 197–198]. И ещё. Тэрнер обращает внимание читателя на немаловажное для нас свойство коммунитас: «Дело в том, что коммунитас обладает экзистенциальными качествами, в ней человек всей своей целостностью взаимодействует с целостностями других людей» [там же: 198]. Таким образом, в данном состоянии общества преодолевается видовая ограниченность «человека частичного», связанного социальными статусами, коммунитас возрождает его родовую сущность. Коммунитас, прорываясь «через щели структуры», отменяет нормы последней и, что для нас важно, «сопровождается переживаниями небывалой силы» [там же].

Разумеется, переход от одного состояния к другому, не может не вызвать сущностных количественных и качественных изменений. Более того, «максимализация коммунитас влечёт за собой максимализацию структуры, каковая, в свою очередь, порождает революционные стремления к возобновлению коммунитас» [там же: 199]. То есть речь идёт о важном для нашего исследования маятниковом чередовании, цепи общественных переходов от одной формы коммуникации к другой. И логика исследования приводит В. Тэрнера к изучению обрядов перехода. Здесь он берет на вооружение уже известную концепцию Арнольда ван Геннепа, обосновывавшего своеобразие перехода из одного мира в другой [Геннеп 2002].

Коль скоро речь в данной работе идёт о природе такого явления как праздник, то уместно обратиться к оценке его места в подобных переходах, которую предложил М.М. Бахтин. Праздник — дитя пороговых состояний, переломных эпох: «В эпохи великих переломов и переоценок, смены правд вся жизнь в известном смысле принимает карнавальный характер: границы официального мира сужаются, и сам он утрачивает свою строгость и уверенность, границы же площади расширяются, атмосфера её начинает проникать повсюду» [Бахтин 1997: 10].

В этом смысле речь идёт не просто о смене модели коммуникации, но о том, что сама коммуникация (не статус, не иерархия) становится основой сообщества. Когда Т.Ю. Лебедева открывала свою книгу цитатой французского шансонье Саши Гитри: «Сам Бог создал рекламу, потому что на каждой церкви есть колокола», это было не просто красивым началом или отнесением к христианским истокам понимания корневого слова «коммуна» [Лебедева 1999: 13]. Речь идёт о том, что обладает силой, способной объединить нас в сообщество. И колоко-

ла в истории межличностной коммуникации сыграли одну из главных ролей, являясь катализатором образования праздничного сообщества. Так, заканчивая третью книгу «Собора Парижской Богоматери», Виктор Гюго предлагает читателю соединить говор полумиллионного населения Парижа, ропот реки, шум ветра и хор колоколов на Пасху или Троицу: «И скажите — есть ли в целом мире что-нибудь более пышное, более радостное, более прекрасное и ослепительное, чем это смятение колоколов и звонниц; чем это горнило музыки; чем эти десять тысяч медных голосов, льющихся одновременно из каменных флейт высотою в триста футов; чем этот город, превратившийся в оркестр; чем эта симфония, гудящая словно буря?». Русский современник Гюго этнограф Александр Власьевич Терещенко писал о пасхальном Санкт-Петербурге николаевской эпохи: «Россия имеет в году такие торжественные часы, которые наполняют душу благоговейными размышлениями и возносят человека к Творцу вселенной. Это и есть воскресная полночь. Из мёртвого безмолвия, вдруг раздаётся необъятный мир колокольных звуков, быстро перекатывающихся в поднебесном пространстве, и самое небо, кажется, внимает тогда земному празднеству» [Терещенко 1848: 94]. Подобно Гюго, он описывает, как от Казанского собора к Александро-Невской лавре, от неё к Смольному монастырю, Спасу-на-Сенной и т. д., и т. д. перекатывается благовестный звон. Период перехода кончился, после третьего выстрела, прозвучавшего в полночь с Петропавловской крепости, наступает новое состояние: «Невозможно выразить, какое происходит тогда в душе радостное волнение! — Блестит освещением столица, которая, можно сказать, тонет в пожаре огней. Улицы, дотоле пустые, безмолвные и мёртвые, покрываются народом; перекатный гул колоколов, шум, грохот от бесчисленных экипажей, одним словом, куда не обратите свои глаза, всё высказывает необыкновенный день праздника» [там же: 96]. Стоит принять во внимание не только то, что невербальная коммуникация (колокольный звон) оформляет новые отношения, но и то, как из пустоты, безмолвия, мёртвого состояния происходит переход не просто к жизни, но, что важнее, к жизни яркой, ликующей.

Рассматривая праздник как «временной отрезок, обладающий особой связью со сферой сакрального, предполагающий максимальную причастность к этой сфере всех участвующих в празднике и отмечаемый как некое институционализированное действо, В.Н. Топоров, подчёркивает, что он противопоставлен обычным дням — будням [Топоров 1994: 329]. Топоров считает, что такая оппозиция несущественна, вторична. Ещё раз подчеркнём — в этом специфика институционального подхода к оценке праздника. На наш же взгляд, противопоставление праздничных дней будням важно, так как это подчёркивает особую сакральность праздника в противоположность профанному течению времени. Именно данная сакральность, как отмечает сам Топоров, связывает праздник с его первопричиной. Сами праздничные, «порожние» дни олицетворяют мифическую пустоту, связанную с началом отсчёта нового времени — это критический момент, связанный с лиминальным (по Тэрнеру) состоянием общества накануне «чуда первого творения». И в этом плане все остальные праздники, так или иначе, соотнесены с главным, воспроизводимым в особое время, с максимально точной достоверностью, на специально отведённом пространстве.

Возвращаясь к коммунитарной основе праздника, мы можем провести связующую линию, которая соединяет взгляды В. Тэрнера с более ранними произведениями психологов и антропологов, посвящёнными проблемам толпы и массы. Подобный подход лишь внешне напоминает искусственную натяжку, поскольку все, кто писал, опираясь на работы Г. Лебона и Г. Тарда, учитывали и состояние праздничной массы. Таким образом, в продолжение дихотомии Тённиса, или противопоставлении структуры и коммунитас у Тэрнера, мы делаем следующий шаг, утверждая, что масса (толпа), как особый тип общности составляет основу праздника — одного из проявлений состояния коммунитас.

Исключительную важность в оценке этой стороны праздника имеет точка зрения Э. Канетти. Одну из ипостасей массы он называл праздничной массой. Она рисуется антропологом на фоне изобилия продуктов и людей, которые «именно для таких моментов и живут, и

сознательно к ним стремятся. Люди, в обычной жизни чуждые друг другу, торжественно и целыми группами приглашают друг друга на угощение. Прибытие новых групп отмечается особо, оно резко и скачкообразно повышает общее возбуждение. Во всем сквозит ощущение, будто всеобщее удовлетворение от этого праздника гарантирует другие, последующие. Ритуальные танцы и драматические представления напоминают о прежних событиях такого же рода. Праздник этот — часть традиции. Упоминание основателя праздника — будь это мифический отец всех благ, которые тут в изобилии… ручательство того, что традиция не угаснет, праздники будут повторяться. Праздники *призывают* новые праздники, и благодаря плотности вещей и людей приумножается жизнь» [Канетти 1997: 71–72].

На время оставим размышления Канетти и посмотрим, что даёт повторяемость праздников. Обратимся в этой связи к работе С. Московичи «Век толп». Анализируя труды по коллективной психологии Г. Лебона, Г. Тарда, З. Фрейда, Московичи поднимает проблему критического, осознанного мышления индивида и бессознательно-автоматического действия массы. «Мышление индивидов было бы мышлением *критическим*, то есть логическим, использующим идеи-понятия в большинстве своем абстрактные… Напротив, мышление толпы было бы *автоматическим*. Над ним господствуют стереотипные ассоциации, клише, глубоко сидящие в памяти. Она пользуется конкретными образами». И вот здесь очень важно замечание Московичи: «Мышление толп — это всегда мышление уже виденного и знаемого» [Московичи 1996: 130–131]. То есть, в толпе возникает нечто, возвращающее человека к его первобытному состоянию, эмоциям, видениям, образам. И праздники, в частности, играют роль медиатора между современностью и архаикой. Эта линия коммуникации не просто востребована, она более эффективна, нежели попытка реконструкции прошлого логически мыслящим индивидом. «Без всякого намерения с его стороны в его памяти возникают образы и впечатления прошлого», — пишет у же в работе «Машина, творящая богов» Московичи, приводя в пример образы взятия Бастилии или освобождения Парижа в 1944 г., образы Наполеона и де Голля, — «как если бы он был современником этих событий…, как если бы он их знал» [Московичи 1998: 86].

Так что же происходит с индивидом в подобном состоянии? Московичи, опираясь на методологически важную работу Э. Дюркгейма «Элементарные формы религиозной жизни», даёт нам основу для дальнейшего прочтения коммуникативных особенностей праздника. Во-первых, индивид, включенный в ритуальные действия, слившийся с толпой, воспринимает именно эти ритуалы, а не структурированное общество с его повседневными регламентами и отчуждённостью, «позвоночным столбом и идеалом всех движений». Именно ритуалы, а не назидающие и надзирающие институты, как ни парадоксально, «объясняют сущность социального порядка, а также его устойчивость». И в этом кроется, на наш взгляд, особая социализирующая эффективность праздников. Во-вторых, «каждый включается целиком», узы группы становятся теснее, снимая проблемы межличностных и межгрупповых барьеров коммуникации. В-третьих, в этом состоянии не только обновляется «чувство принадлежности к обществу», но и меняется сама личность «как если бы человек приобрел новые качества и стал другим» [там же: 83–86]. Практически об этом же писал и К.Г. Юнг, отмечая, что в человеке в состоянии идентификации с другими происходят изменения (правда, непродолжительные), в нашем случае на период празднования: «…Если я чувствую, что эта толпа представляет собой великое и удивительное единство, то я — герой, возвышающийся вместе с группой. Когда же я снова один, то обнаруживаю, что являюсь господином таким-то, живущим на такой-то улице, на третьем этаже. Я также нахожу, что это восхитительная штука, и я надеюсь, что завтра это произойдёт опять, и я смогу ещё раз почувствовать себя в роли целой нации, что приятнее, чем просто быть мистером Х» [Юнг 1996: 265]. Естественно, что «мистер Х» будет ждать повторения этого необычайного превращения, возвышающего его над обыденностью.

Итак, для праздников характерна не только гипнотизирующая образность, но и повторяемость. «Повторяемость обладает особым качеством превращать идею-понятие в идею-действие. Абстрактное содержание первой переходит в конкретное содержание второй. Для того, чтобы стать общедоступными, доктрины и теории должны отказаться от того, что составляет их отличительную особенность: цепочки рассуждений, строгости языка… Парадоксально, и на это стоит обратить внимание, что сами места, где их собирают или где они устраивают манифестации… то есть те места, где их лидеры, якобы желают проинформировать и проинструктировать их, совершенно противоречат своему назначению. В этих местах есть всё, чтобы производить внушающее воздействие и слишком мало для рассудочного. Толпы могут здесь слушать выразителей их чаяний, видеть их и друг друга, возмущаться, восторгаться и так далее — всё, что угодно, только не размышлять, поскольку они низведены до уровня элементарного мышления и простейших чувств. Для того, чтобы прижиться на этом уровне, идеи обязательно должны упроститься, факты или их содержательная наполненность — сгуститься, приняв образную форму… Сведённые к нескольким элементарным предложениям, часто и долго повторяемые, они воздействуют на глубинные мотивы нашего поведения и автоматически его запускают. Именно такова функция лозунгов, призывов, выраженных в наиболее краткой форме» [Московичи 1996: 137–138]. Столь пространное цитирование необходимо, чтобы показать, что, действительно, мышление, вырабатываемое с помощью архаической механики праздников, является автоматическим, нечувствительным к противоречиям реальной жизни, напротив, его жизненность обусловлена повторяемостью и символичностью. И это активно используют политики.

Праздник и политическое

Исходя из вышесказанного, напрашивается скорый вывод о том, что индивид, растворенный в праздничной толпе, утрачивает самое индивидуальность и, следовательно, не соответствует высокому званию Homo politicus. С другой стороны, мы не можем утверждать и то, что «мистеры Х», добропорядочные буржуа, «расфасованные» по своим структурным клеткам, одержимые «фобией общения» (С. Московичи), одновременно являются и добропорядочными гражданами. Роже Кайуа замечал, что сегодня праздники, (не без влияния «обуржуазившегося» государства) «как бы растворяются в календаре, как бы поглощаются неизбежной монотонностью и размеренностью жизни. Тогда на смену праздникам приходят каникулы и отпуска. Разумеется, это тоже время траты свободной деятельности, перерыв в регулярном труде — но это фаза разрядки, а не пароксизма. Ситуация обратная по всем показателям: в одном случае все разъезжаются кто куда, в другом — собираются в одной точке. „Вакации“, как показывает уже само их название, образуют некую пустоту, по крайней мере замедление социальной активности. Оттого они и не способны удовлетворить индивида. В них нет никакого позитивного качества. Приносимое ими счастье возникает в основном благодаря удалению неприятностей, от которых они отвлекают, обязанностей, от которых они освобождают. Уехать в отпуск — значит прежде всего убежать от забот, наслаждаться „честно заработанным“ покоем. Это означает ещё большую изоляцию от группы вместо сопричастности с нею в миг буйства, в час ликования. Поэтому каникулы и отпуска — это не паводок, а межень в течении социальной жизни» [Кайуа 2003: 243]. «Створки» приватного становятся всё плотнее, и через них трудно проникнуть публичному, т. е. политическому. Итак, тривиальные каникулы не способствуют преодоления пустоты обыденности.

Одновременно «в тираж» выходят символы и надындивидуальные ценности: «В обычном ходе существования они принижены до ранга условных значений и артефактов: … слово „родина“ — это слово, как и всякое другое, или знамя — это разноцветная тряпка, обёрнутая вокруг палки. На торжествах и праздниках они возвращают себе сакральное значение и становятся, можно сказать, иннервированными» [Московичи 1998: 95].

Следовательно, не являясь политическим в приватном состоянии, человек в праздничной коммуне, соединяя свой внутренний мир с миром внешним (других, прошлого, будущего) способен (коллективно) к политическому творчеству. В понимании Ю. Хабермаса именно публика создаёт коммуникационную среду, в которой происходит «многоголосый процесс образования мнения, где сила заменена взаимопониманием». Политика, обитающая в структурированном сообществе, порождает, как правило, вертикальную коммуникацию, оксюморон под названием «монолог власти с народом». Тогда как именно праздничная масса, в режиме полиалога с себе подобными и диалога с небом, будущим и прошлым восстанавливает историческую справедливость. Она как нельзя лучше соответствует той абстрактной среде, для которой Карл Шмитт вывел свое понятие «политического». Именно праздничная масса, безо всякого сомнения, органично, делит весь мир на друзей и врагов. Причём зачастую именно враг является первичным, а друг вторичным. И речь идёт не только о политически маркированных праздниках, которыми был так богат век минувший, но и о праздниках религиозных, «цеховых». Все они, так или иначе, построены на оппозициях. Стремление слиться со всем миром не отрицает наличия в этом мире зла. А может быть последнее как раз и является самым доходчивым объяснением, почему этого слияния до сих пор не произошло. И это толкает к действию.

Толпу праздничную, любящую, Г. Тард отнёс наряду с толпой ненавидящей к классу действующей, активной. Срединное положение в классификации Тарда «манифестантской» толпы не менее интересно. Действительно, она не застыла в ожидании, как пассивная, но и не сокрушает, не убивает врагов. Она идёт в процессии, несёт символы праздника, кричит лозунги или поёт песни — «…вот приблизительно всё, что они могли изобрести для выражения своих чувств. Но если у них мало идей, то зато они держатся за них крепко и без устали кричат одно и то же…» [Тард 1998: 286–287]. Очень легко она может превратиться в толпу любящую (и опьянённую своей любовью к кумиру), а равно и в толпу ненавидящую, разожжённую ненавистью к врагу. Нередко эти качества сочетаются. Для сравнения приведу слова из первомайских песен, которые разучивали советские школьники в 30-е годы:

«Выходи на праздник Мая,
В звонкий солнечный простор,
Чтобы песня молодая
Шла врагам наперекор!

[ ]Поднимай знамёна выше,
Чтоб на всех концах Земли,
Как пожар над вражьей крышей,
Зори майские взошли.

Пусть фашист грозит прикладом,
Ощетиня сталь штыков,
Май пройдём по баррикадам
В красном зареве костров». [ ]
(С. Островой. Вставай, пионерия).

«Над нами просинь неба полудённого,
Румяный свет струится нам в лицо.
Мы армия ребят многомилльонная,
Резерв отважных ленинских бойцов.

Вперёд! Пора!
Эй, флаги, взвейтесь рея!
Расти, расти, знамён багряных рой!
У стен Кремля на мрамор мавзолея
В шинели серой всходит рулевой!

[ ] Сегодня мы напористы как ветер.
Он слышен всюду — топот наших ног.
Ни блеск штыка, ни свист фашистской плети
Не сдержит наш стремительный поток». [ ]
(И. Воробьева. Первомайская пионерская).

Это по коммуникационным каналам, ориентированным вовне — на вождей и врагов. Внутри же праздники конструируют «социальный мир, социальное единение…, когда всякое разногласие сглаживается одним общим желанием, желанием видеть друг друга, соприкасаться, симпатизировать друг другу, этот мир, единение суть продукты не менее драгоценные, чем все плоды земные, чем все предметы промышленности» [Тард 1998: 288]. Именно Тард разглядел в праздниках функцию, названную им «производительностью». Он подчёрки-

вал наиболее эффективную компенсаторную социальную роль этих праздников. К примеру, советская система, а равно и французская после Великой революции, ограниченные долгие годы и в изобилии промышленных товаров, и «плодов земных», весьма быстро научились производить праздники, которые «…содействовали сотканию и скреплению социальных уз» (Г. Тард), а это было очень важно, как на первых порах становления системы, так и для её поддержания. И это был спасительный канал по переходу от достаточно эфемерного политического к реальной институциональной, и добавим, легитимной политике. «Соединяйте людей, — говорил в своем докладе Конвенту Максимилиан Робеспьер, — вы сделаете их лучшими; потому что в обществе люди стараются нравиться друг другу, а нравиться они смогут лишь тем, что достойно уважения. Придавайте их собранию какой-нибудь важный моральный или политический повод, и вместе с удовольствием во все сердца проникнет любовь к достойным вещам, потому что без удовольствия люди не видаются друг с другом. Человек — величайший предмет, существующий в природе, и великолепнейшее из всех зрелищ — это зрелище собравшегося великого народа… Устройте общие и особо торжественные празднества для всей Республики; организуйте частные праздники для каждой местности, чтобы они были днями отдыха и заменили бы то, что уничтожено обстоятельствами». И продолжал, говоря именно о роли праздников в формировании ценностей: «Пусть все они (праздники — *А.Щ.*) стремятся пробудить благородные чувства, составляющие прелесть и украшение человеческой жизни, восторженную любовь к свободе, любовь к отечеству, уважение к законам; пусть память о тиранах и изменниках предаётся на них поношению; а память героев свободы и благодетелей человечества получает должное воздаяние общественной благодарности; пусть черпают свой интерес и свои наименования в бессмертных событиях нашей Революции и в самых дорогих и священных нашему сердцу предметах; пусть они будут украшены и отличены эмблемами, соответствующими их специальной цели; пригласим на наши праздники природу и все добродетели» [цит. по: Тьерсо 1917: 145].

Таким образом, мы подошли к проблеме не только осознанной необходимости конструирования социальной реальности, коей, как мы выяснили, является праздник, но и новой социальной реальности в масштабах всей страны. Вслед за Альфредом Шюцем, и, безусловно, Питером Бергером и Томасом Лукманом сегодня многие исследователи пользуются научным конструктом «конструирование социальной реальности». Не вдаваясь в теоретическую специфику социологии знания, к которой относится данное словосочетание, рассмотрим, как праздники, отвечающие родовой сути человека, создают новые отношения, наделяют смыслом дотоле «пустые» институты. Тем самым нам хотелось бы избежать прямого обвинения в том, что всё вышесказанное есть не что иное, как приглашение использовать ещё один из каналов манипуляции.

Политический праздник

Конечно, политические свойства праздника были поняты весьма и весьма давно. К. Жигульский писал о том, что впервые египетские фараоны (III тыс. до н. э.) перевели праздники из сакрально-жреческого инструмента коммуникации в политические [Жигульский 1985: 56–57]. И уже в длинной череде эволюций от аграрных и культовых празднеств на определённом этапе своё прочное место занимают праздники светские, а затем и общегражданские. Среди последних значительную роль получили так называемые коммеморативные (посвящённые воспоминанию о важнейших событиях) — своего рода «праздники памяти». Относящиеся к значимому событию в жизни общества, они актуализировали и конкретизировали цикличный характер праздника, будь то праздник по поводу основания государства или его спасения. У некоторых была короткая жизнь, другие отмечались столетиями, соединяя ценности времён минувших и нынешних, связывая звенья истории. Истории, с большой буквы — той, что пишется во «внутреннем учебнике» человека. Этот учебник отличается от официального

компендиума тем, что его восприятие не связано с насилием над эмоциями и разумом личности. В таком учебнике ученику предлагается стать современником изначальных событий, внести свою лепту в почитание истоков и их героев[1].

В данном случае речь может идти как об укоренённом в традиции регулярно отмечаемом событии, так и о празднике, который режим рассматривает как основу идентификации личности и общества с новой политической реальностью, легитимации. Именно этот аспект интересует нас в большей степени. Не секрет, что каждый режим в той или иной мере, а точнее, в меру своего понимания ценностного и коммуникационного значения праздников регламентирует их количество, определяет основы символических процедур. Так, по мнению Д. Бурстина, «в Соединённых Штатах по-настоящему до сих пор нет национальных праздников. Существует небольшое число федеральных „узаконенных праздников“, определённых президентом и конгрессом, но они распространяются только на округ Колумбия и федеральных служащих, где бы они ни находились. Каждый штат устанавливает свои праздники. Если Новый год, день рождения Вашингтона, День поминовения, День независимости, День труда, День ветеранов (примирения), День благодарения и Рождество — что исчерпывает список официальных национальных праздников — обычно соблюдаются в каждом штате, происходит это потому, что в каждом из них отдельно принят соответствующий закон. В дополнение к этим праздникам, по которым решения штатов совпадают, имеется, по крайней мере, 50 других дней, признанных в качестве официальных или общественных праздников в одном или более штатов. Они отличаются большим разнообразием целей и содержания, к ним относятся (среди прочих) День древонасаждения, Страстная пятница, Жирный вторник, первый день поста, день рождения Роберта Ли, день рождения Линкольна, День независимости Техаса, День битвы при Банкер-Хилле, День Колумба, день рождения Натана Бедфорда Форреста, день рождения Эндрю Джексона, день рождения Томаса Джефферсона, День битвы при Беннингтоне, день рождения Хью П. Лонга, День Пуласки, День поминовения конфедератов, День Уилла Роджерса, День генерала Дугласа Макартура, День национального флага и День всех святых. За исключением чисто религиозных праздников, почти все эти празднества отмечают события, которые либо произошли после, либо не были признаны достойными празднования до Гражданской войны» [Бурстин 1993: 475–476].

К числу наиболее интересных образцов относятся режимы, порождённые Великой Французской и Октябрьской социалистической революциями. Именно они и удостоились наибольшего внимания со стороны историков, политологов, культурологов, социологов и искусствоведов, как отечественных, так и зарубежных.

На фоне исключительного внимания государства той поры к политическим праздникам, можно отметить сентенции последующих эпох: «Праздников не стало». Как писала о современной Франции М. Озуф: «Мы сами грезим о празднествах, причём с намерением их воскресить, характерным для ностальгии: дело в том, что у общества, которое интенсивно размышляет над этим вопросом, остались только праздники, замкнувшиеся в тесных домашних рамках или дискредитированные своего рода неофольклором, пекущимся о поддержании лживой коллективной памяти» [Озуф 2003: 19]. И практически за сто лет до этого высказывания ещё один француз Жюльен Тьерсо сетовал на то, что больше нет праздников, на церемонии народ не приглашают, «общественные власти никогда не интересовались этими вопросами» [Тьерсо 1917: 22].

Возможно, это и так — значимые праздники рождаются великими переломами. Неслучайно, как уже отмечалось, и зарубежные, и российские исследователи обращаются к опыту тех времён, безотносительно, пишут ли о политических праздниках или о праздниках вообще. К примеру, они не могут обойти своим вниманием тот факт, что именно политические

[1] По своему смыслу «почитание» (*чтить*), как писал замечательный историк русского быта И.Е. Забелин, «образовалось из слова *отчить*», т. е. «относиться к человеку, как к отцу, воздавать человеку уважение отеческое» [Забелин 1992: 25].

праздники были наиболее эффективным средством идентификации индивида с режимом, а это означало наиболее эффективный механизм легитимации нового строя и социализации граждан.

Почему это важно для переходных состояний общества, когда мы имеем дело с конструированием новой социально-экономической и политической реальности? Потому, что эта новизна создаёт большие проблемы для самих творцов перехода. И не сразу они находят верные поводы и эффективные формы для проведения праздников. Известно, что в советской России на высшем уровне решение о значимости праздников было принято уже 12 апреля 1918 г. «Декретом Совета Народных Комиссаров о памятниках республики», где речь шла, в том числе, и о «великих днях Российской социалистической революции». Но обратим внимание на то, что ещё в 1923 г. «меню» таких праздников было непривычно скудным и вряд ли органично воспринималось населением постреволюционной России:

22/9 января — 9 января 1905 г.

23 февраля — день Красной армии (1918).

24 февраля — Начало революции 1848 г. во Франции (75 лет, — в 1923 г.).

8 марта — Международный день работницы.

12 марта — Февральская революция 1917 г.

14 марта — 25 лет РКП. (1898) 40 лет «Группы Освобождения Труда».

14 марта — День смерти Маркса (1883).

14 марта — Мартовская революция 1848 в Германии.

18 марта — Парижская Коммуна 1871 г.

4 апреля — Ленский расстрел 1912 г.

1 мая — Международный рабочий праздник (с 1889 г.).

5 мая — День рабочей печати.

5 мая — День рождения Маркса (1818).

3–5 июля — Восстание 3–5 июля 1917 г.

2 сентября — Международный юношеский день (9-й в 1923 г.).

7 ноября — годовщина Октябрьской Революции.

Декабрь — Декабрьское восстание 1905 г. в Москве [Революционные праздники… 1923].

Что же касается эффективности форм проведения, то, как свидетельствуют очевидцы, пролетарии, вышедшие на первую советскую демонстрацию 1 мая 1918 г. попросту не поняли футуристической символики, декорировавшей праздничный Петроград. Итак, стояла задача сконструировать прежде всего механику и символику самого праздника, чтобы включить его силы в конструирование новой политической реальности.

Такое конструирование связано с моделированием новых образцов на качественном уровне развития общества, провозглашением ценностей, которые могли бы артикулировать установки инициаторов преобразований. Очевидно, что механизмом конструирования новой реальности в значительной степени выступают иррациональные факторы в мышлении и поведении масс. Фактически конструирование упирается в процесс легитимации «нового порядка» и проявляется в озабоченности правящей элиты проблемами адекватного восприятия массой новых интенций. Речь идёт не просто о радикальном изменении политической культуры (явлении достаточно редком и долговременном), а о конфликте в рамках одной культуры традиционных и инновационных моментов, отражающихся в ценностях. Праздник в данном случае адаптирует цепь разрозненных событий политического перехода к простой и внятной схеме. Более того, эта схема является наглядной и осязаемой. Обществу как бы предлагается вновь пережить данные события. Повторяемость политических праздников, включенность в них слоёв и поколений, не принимавших участия в первособытии (здесь открывается большой простор для социализаторов) — наиболее естественный способ легитимации режи-

ма. Не случайно огромное впечатление на десятки тысяч зрителей в 1920 г. произвела постановка Н.Н. Евреиновым массового действа «Взятие Зимнего дворца».

Постепенно не только упорядочивался «литургический цикл» Советской страны, из которого выпадали незначительные политически события, но и упорядочивалась политическая история. И здесь дело не только в ставших со временем запретными в официальной советской истории именах и событиях. Праздник по своей природе в чем-то сродни актуализированному мифу — он занимается селекцией. Подобно Сократу, призывавшему «рассказывать детям только признанные мифы, чтобы с их помощью формировать души детей скорее, чем их тела — руками» [Платон 1994: 140], праздники подходят к истории избирательно. Подобный подход к избранности событий, отмечал американский социолог У. Уорнер, исследуя празднование 300-летия Янки-сити: «Они говорили не только о том, какой объективно была история, но и о том, какой они теперь *желали* бы её видеть и о том, какой они её видеть не желали. То тут, то там они игнорировали трудные периоды прошлого, неприятные происшествия, смущавшие их группы людей; пропускали мимо внимания опасные политические страсти; из больших временных контекстов они выхватывали небольшие фрагменты и пользовались ими для выражения сегодняшних ценностей. Таким образом, они подчас отрицали более широкий поток истории и её вчерашние смыслы или вступали с ними в противоречие, нередко отрекаясь от представлений и ценностей, которые некогда одобряли и почитали» [Уорнер 2000: 121]. Аналогичным образом описывают данную особенность праздника применительно к Французской революции М. Озуф, а к Октябрьской революции С. Малышева [Озуф 2003; Малышева 2005]. Озуф справедливо называет праздники «анналами чувств». Для нас важно то, что исторические события усилиями организаторов празднества должны превратиться, по выражению Уорнера, «в символы, приоткрывшие какую-то часть внутреннего мира причастных к этому людей и нынешние представления и ценности этого коллектива» [Уорнер 2000: 120].

Итак, праздник отбирает необходимые современные ценности и, проецируя их на прошлое, воспроизводит на этой основе необходимую цепь исторических событий, легитимируя тем самым режим. Нужно взять в свои руки прошлое и сделать его необратимым. Способность праздника растягивать время «между двумя направлениями: прямым и ретроспективным» является весьма важным фактором в процессе легитимации нового режима [Озуф 2003: 12]. Бергер и Лукман рассматривают легитимацию как объективацию «второго порядка». И здесь важна не только горизонтальная, но и вертикальная интеграция. Последняя предполагает, что индивид, поэтапно проходя все этапы, сталкивается с проблемой смыслобытия, придающего всем фактам его биографии субъективную значимость [Бергер, Лукман 1995]. Легитимация необходима в момент передачи информационно-исторического материала очередному поколению, потому что именно в этот период происходит разрыв между историческим и биографическим процессом или всему обществу на переломных этапах. И здесь проблема ценностей приобретает ключевой характер. Для человека свойственно искать, как писал М.М. Бахтин, предельную ценность. У одних это простирается до приближения к Богу, у других до сопричастности революции, отечеству. Третьи готовы ограничиться более доступными ценностями. В условиях перехода все механизмы легитимации нацелены на «перезагрузку» ценностно-политических параметров системы. Там, где не хватает устойчивой веры, новый режим компенсирует этот временный дефицит избытком эффективности. С.М. Липсет отмечал, что «в условиях новых государств или послереволюционных государственных устройств законность приходится обретать с помощью наглядно демонстрируемой эффективности. Лояльность по отношению к системе приходится культивировать путём внедрения в сознание различных групп убеждения в том, что новый государственный строй представляет собой наилучшее — или, во всяком случае, превосходное — средство для достижения их целей» [Липсет 1972: 210]. В атмосфере изменения существующего политического режима, основ его легитимности субъект перемен проводит «не только институциональные и организацион-

ные преобразования, но и вносит изменения в нравственность и воспитание, … создаёт или порождает нового человека» [Эйзенштадт 1999: 45]. И наиболее эффективным каналом конструирования новой реальности через передачу ценностей становятся праздники. Если редуцировать точку зрения Т. де Шардена на количественную и качественную ценность жизни, значение которой зависит от того, насколько широко распространяется её действие и насколько сильно чувство, то праздник является именно тем состоянием, которое независимо от размеров сообщества должно захватить его целиком, дойти до пределов и даже перелиться через край, он порождает, вернее, возрождает старое родовое чувство всеединства.

В этом плане важны не столько привычно понимаемые механизмы социализации, а их немало (от методических указаний по проведению праздников библиотеках, в школах и детских садах, до разработок, рекомендованных культмассовым отделам, работающим с взрослыми) [см. подробнее: Щербинин 1998][2], сколько сама атмосфера праздника, его коммуникационные особенности. Год от года, от праздника к празднику режим накапливает запас прочности, и, наверное, в этом сила праздничной коммуникации, что даже после крушения старого порядка о нём продолжают судить по праздникам.

Дефицит праздничного и пустота политического

За 15 лет, прошедших после распада СССР, мы можем сделать вывод о том, что ни режим Ельцина, ни режим Путина не продвинулись в наделении смыслом политических институтов, пришедших на смену советской системе. Первому было бесспорно безразлично, что думают граждане о новом обществе и государстве, благо инерция «демократической революции» позволяла это делать, производя новые формы коммунитас (митинги, манифестации и пр.). Второй, сосредоточившись на укреплении государственного начала, не видит политического потенциала общества (или опасается его пробудить).

Так или иначе, очевидный дефицит праздников в нынешней российской реальности создаёт впечатление от современного режима, как строя, упустившего возможность устойчивой легитимации и социализации, которую даёт праздник. Однако речь не столько об этом. Последние «революционные» инициативы в «праздничном» вопросе относятся к 24 декабря 2004 г., когда Государственная Дума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки в Статью 112 Трудового кодекса РФ, устанавливающую перечень нерабочих праздничных дней. В том числе был введён новый праздник 4 ноября — День народного единства, и одновременно упразднены 2 мая как нерабочий день, а также празднование 7 ноября (Дня согласия и примирения/Великой Октябрьской социалистической революции) и 12 декабря (Дня Конституции). В соответствии с этим же законом в России установлены новогодние каникулы с 1 по 5 января включительно.

Вытесняя старые праздники, в том числе и межрежимные паллиативы типа «Дня согласия и примирения», политическое руководство страны совершенно не думает ни о вертикальной, ни о горизонтальной коммуникации. И речь даже не идёт о том, что День России монополизирован «Единой Россией». Такое партийное отношение к национальному празднику было и в революционной Франции в её ранний период (описанное М. Озуф) и в послереволюционной Америке (монополизация Дня независимости 4 июля федералистами, изображённая Д. Бурстином). Этот исследователь становления американской социальной истории обращает наше внимание на то, что в дни главного праздника «подтверждалась национальная цель» [Бурстин 1993: 493]. А это значило гораздо больше, чем прославлять Декларацию независимости — американцы вновь задумывались о цели существования страны. В идеале, — как отмечал цитируемый Бурстином Дэниел Уэбстер, — 4 июля мы все — американцы, несмотря на партийную принадлежность [там же: 492]. Однако, пишет сам Бурстин, с конца 80-

[2] С.Ю. Малышева, отмечает, что уже в середине 20-х гг. большевистский режим озаботился связью преподавания истории и обществоведения с «датами красного календаря» [Малышева 2005: 356].

х гг. XVIII века «в течение более чем трёх десятилетий празднования носили хаотический характер, причём разные политические партии проводили собственные мероприятия». И далее «…Федералисты нажили партийный капитал, монополизируя празднования, связывая священное дело революции с противоречивыми проблемами новой Конституции и используя в целом это событие для рекламирования федералистской точки зрения» [там же: 485]. От себя добавлю, что такое «перетягивание каната» совпало по времени с глубоким ценностным кризисом, которое переживало американское общество. 10–20-е годы XIX века ознаменовались атмосферой поголовного недоверия народа к идеалам, целям и ценностям демократии. Сама нравственная атмосфера молодой республики быстро вошла в противоречие с идеалами Американской революции: обман, демагогия, коррупция, культ доллара, манипулирование общественным мнением — вот характерные черты американского политического процесса той эпохи. Как сказал бы Ю. Хабермас, буржуа выступил противником гражданина. Существование американской демократии тогда оказалось под вопросом. Именно в это время возрос спрос на мифологию, объединившую национальную идею с идеей демократии, и образцами выступили именно герои революции. Поэтому смысл праздника, о котором пишет Бурстин, подтверждать национальную цель носил отнюдь не абстрактный характер.

Конечно, «партийность» праздника сужает сферу коммуникации, но в большей степени её эффективность зависит от органичности восприятия нового праздника. В этой связи совершенно нулевым эффектом обладает День народного единства, который, по замыслу устроителей, должен вытеснить не только межумочный День согласия и примирения, но и отбить окончательно ностальгию по годовщине Октября. В качестве аргументов за новый осенний праздник был и такой: в России нет ни одного праздника, связанного с дореволюционной историей. Таким праздником стало не событие типа годовщины Куликовской битвы или Бородинского сражения, а изгнание поляков в 1612 г., не оставившее в народной памяти и малейшего следа.

Не случайно на политико-культурной почве новый праздник приживается плохо. Во-первых, у него нет и, думается, не будет корней в сознании, поскольку невозможно в одночасье установить историческую связь между историей 400-летней давности и современным обществом (а это важнейшее условие, по мнению американского социолога У. Уорнера). Во-вторых, скороспелость его принятия, напрочь лишённая какой-либо коммуникативной основы (массовые празднества, символика, ритуалы) идея. Как неуклюже попытались нам объяснить сверху в момент введения праздника — в этот день надо думать о хороших поступках, а сегодня говорят как о дне межнационального единства всех россиян в стране и за рубежом. В итоге Россия получила ещё один непонятный выходной. Вероятно, в контексте пропаганды правящей партии по замыслу устроителей смысловое сочетание Дня народного единства и Дня России могло что-то пробудить в сознании народа. Парные праздники, олицетворяющие «Единство» и «Россию», благодаря такому «сложению» должны оформлять в сознании общества символизацию названия главной партии страны — «Единой России». Аналогично этому, в своё время, испытывая дефицит легитимности, Борис Годунов, использовал действия «деления» и «вычитания». Он, не сомневаясь, разделил на иконах Бориса и Глеба, «празднуя Борису» [Временник… 2004: 225–226]. На деле же режим, не озабоченный смыслом в ценностно-символической основе вряд ли сможет рассчитывать на понимание своего народа.

Рискну сделать допущение, что нынешнее решение Госдумы России по поводу порога явки в немалой степени связано с профанацией (в противовес сакрализации) выборов. Сегодня по естественным причинам исчезает тот слой надёжного электората, который привык ходить на выборы отнюдь не со страха, а потому, что в своё время власть в этот день оказывала уважение гражданину — устраивала праздник, а значит его голос «за кандидатов нерушимого блока коммунистов и беспартийных» представлялся государственно-важным. Кумачовые лозунги, песни, буфеты, концерты, оформляющие атмосферу этого дня. Плакаты, призывающие отдать голос за народное счастье, за будущее. Празднично одетые горожане и селяне — суть

производное от праздников, которые сами «производили» (Г. Тард) легитимность существующей власти. Приходится констатировать, что мы утратили часть нашей политической культуры, а вслед за тем сдали очередной бастион политического.

Праздник и рождение нации. Вместо эпилога

В 2013 г. известный своими эпатажными высказываниями и инициативами депутат-единоросс Евгений Федоров предложил праздновать День России не 12 июня, а 28 июля — в День крещения Руси, а как вариант 21 сентября — в День Российской государственности. Аргументом данной подвижки приводится историческая «молодость» праздника. Особых политических оснований для такой инициативы не было, если не считать подспудное отторжение современным политическим истеблишментом эпох демократизации, как и перестройки, оцениваемых лидерами официального мнения как череду утрат и поражений. И на самом деле, как отмечал Виктор Гюго, «великие даты вызывают великие воспоминания». Что же делать в том случае, когда о ближних событиях воспоминания весьма противоречивые, а сильно отдалённые не проглядываются в толще веков и не монтируются с нынешней реальностью? Надо думать, что в этом случае вопрос не столько в адекватности современности события прошлого, сколько в готовности общества принять на себя такой праздник как «день рождения страны». А он связан с осознанием рождения нации, возникновением чувства единой Родины. Французам (заметим, во всех классических примерах Великая Французская революция подаётся как период формирования нации в её гражданском контексте) для принятия даты национального праздника потребовалось практически сто лет.

И это не просто спор о дате, речь идёт о стирании граней между социальными, идеологическими, конфессиональными группами. Здесь мы имеем дело не только с политическим конструктом, но и с консенсусом элит и масс по поводу политического общежития, сложившегося после череды революционных потрясений. Наконец, это признание Франции как единой Родины. Родина не вмещается в рамки прочтения государства, страны и тем более территории. Фактически это духовная ипостась, соединяющая народы, связующая их с общим прошлым и будущим.

Последнее дано не каждой эпохе и даже не каждому обществу. Следует отметить, что СССР жил без концепта Родины почти двадцать лет [Щербинин 2011]. Карен Петроун пишет: «Понятие „Родина“, которое использовалось в дореволюционной патриотической культуре, исчезло из советского официального дискурса в 1920-х гг., но опять появилось в середине 1930-х гг.» [Petrone 2000: 54]. Что способствовало самоидентификации? Целенаправленное конструирование территории как Родины через позитивную идентичность и героические практики освоения Арктики, рекорды высоты и дальности полёта лётчиков, когда концепт Родина строится на концепте героического и героическом мифе. И негативная идентичность, когда героизм пограничников, командиров и красноармейцев является проводником смысла тотального противостояния СССР всему миру.

В России скоротечный и стрессовый характер процесса событийно повторяет становление советской нации в 30-е годы прошлого века. Вновь поднимаются проблемы освоения Дальнего Востока (космодром «Восточный», «Сила Сибири»), Арктики, состояния российской границы. Сложился набор публицистических «аналогий» гражданской войны в Испании 30-х годов прошлого века и помощи самопровозглашённым республикам Юго-Востока Украины, укрепляется символическое значение ВДНХ и Артека. Нехватку аналогов советских кинофильмов, конструировавших новую политическую реальность («Семеро смелых», «Комсомольск», «Аэроград» и др. [Добренко 2007: 475–486]) силится сегодня превозмочь российское ТВ, рисуя картину обновляющегося мира.

Мы можем фиксировать, что сейчас в меняющемся мире процесс национальной идентичности россиян пошёл ускоренными темпами — вначале Сочи и вхождение Крыма в со-

став России, затем череда санкций, сопровождаемых риторикой типа «наказать Россию», «причинить вред российской экономики» (Обама, Рассмусен и проч.) ведут к консолидации на основе идентичности. Наконец отметим, при любом раскладе событий Россия и Украина на обозримый период останутся друг для друга катализаторами процессов национальной идентичности, переосмысления своего места в глобальном и европейском пространстве, места и роли в истории, нациестроительстве. Отразится ли данный процесс на символическом оформлении нации, и в частности на её литургическом годе, будет зависеть от консолидации элит. А равно и потребности масс в праздничной реальности (о чём свидетельствует насыщение праздниками Крыма). Пока же можно сказать, что наиболее реалистичным сценарием на ближайший период остаётся деятельное восприятия Дня Победы как главного объединяющего праздника возрождающейся нации: «Лучшее — значит сакральное, и календарный цикл неслучайно на первых порах включал не праздники всех профессий, родов войск, а только тех, кто своим героическим трудом или боевым подвигом заслужил особого признания. И в этой связи высшим смыслом был наделен День Победы, как символ коллективного героизма в борьбе за свободу и независимость Родины» [Щербинин, Щербинина 2010: 196–197]. А героическая эпоха это один из востребованных фильтров, через который сегодня россияне видят настоящее и будущее.

Бахтин М.М. 1997. К философским основам гуманитарных наук. — Бахтин М.М. *Собрание сочинений в семи томах. Т. 5*. — М.: Русские словари. — С. 7–10.

Бергер П., *Лукман Т. 1995. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания*. — М.: Медиум.

Бурстин Д. 1993. *Американцы: Национальный опыт*. — М.: Прогресс-Литера.

Временник… 2004. *Временник Ивана Тимофеева*. — СПб.: Наука.

Геннеп А. ван. 2002. *Обряды перехода: Систематическое изучение обрядов*. — М.: Восточная литература.

Добренко Е. 2007. *Политэкономия соцреализма*. — М.: Новое литературное обозрение.

Жигульский К. 1985. *Праздник и культура*. — М.: Прогресс.

Забелин И.Е. 1992. *Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях*. — Новосибирск: Наука.

Кайуа Р. 2003. *Миф и человек. Человек и сакральное*. — М.: ОГИ.

Канетти Э. 1997. *Масса и власть*. — М.: Ad Marginem.

Лебедева Т.Ю. 1999. *Паблик рилейшнз. Корпоративная и политическая режиссура*. — М.: Изд-во МГУ.

Липсет С.М. 1972. Политическая социология. — Осипов Г.В. (ред.). *Американская социология: перспективы, проблемы, методы*. — М.: Прогресс. — С. 203–219.

Малышева С.Ю. 2005. *Советская праздничная культура в провинции: пространство, символы, исторические мифы (1917–1927)*. — Казань: Рутен

Московичи С. 1996. *Век толп. Исторический трактат по психологии масс*. — М.: Центр психологии и психотерапии.

Московичи С. 1998. *Машина, творящая богов*. — М.: Центр психологии и психотерапии, КСП+.

Озуф М. 2003. *Революционный праздник: 1789–1799*. — М.: Языки славянской культуры.

Платон. 1994. Государство. — Платон. *Собрание сочинений в 4 т. Т. 3*. — М.: Мысль. — С. 79–420.

Революционные праздники… 1923. *Революционные праздники в библиотеке*. — Под общ. ред. Н.К. Крупской. — М.: Красная новь.

Тард Г. 1998. Мнение и толпа. — Боковиков А.К. (сост.). *Психология толп*. — М.: Институт психологии РАН, Изд-во «КСП+». — С. 257–409.

Терещенко А. 1848. *Быт русского народа. Ч. 1*. — СПб.: Тип. М-ва вн. дел.

Тённис Ф. 2002. *Общность и общество. Основные понятия чистой социологии*. — СПб.: Владимир Даль.

Топоров В.Н. 1994. Праздник. — Токарев С.А. (гл. ред.). *Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т. Т. 2. К-Я*. — М.: Советская Энциклопедия. — С. 329–331.

Тьерсо Ж. 1917. *Празднества и песни Французской революции*. — Пг.: Парус.

Тэрнер В. 1983. *Символ и ритуал*. — М.: Главная редакция восточной литературы.

Уорнер У. 2000. *Живые и мертвые*. — М.-СПб.: Университетская книга.

Щербинин А.И. 1998. Тоталитарная индоктринация: у истоков системы (Политические праздники и игры). — *Полис. Политические исследования*. — № 5. — С. 79–96.

Щербинин А.И. 2011. Тоска по Родине: ностальгия как поиск утраченного смысла .— Резанова З.И. (отв. ред.). *Ностальгия по советскому. Коллективная монография*. — Томск: Изд-во Том. ун-та. — С. 98–109.

Щербинин А.И., Щербинина Н.Г. 2010. Политический календарь России: от конструирования смыслового мира до его деконструкции. — Соловьёв А.И. (гл. ред.). *Мировой кризис и политические изменения. Политическая наука в России: Ежегодник РАПН*. — М.: РОССПЭН. — С. 196–197.

Эйзенштадт Ш. 1999. *Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций*. — М.: Аспект Пресс.

Юнг К.Г. 1996. *Душа и миф: шесть архетипов*. — К.: Государственная библиотека Украины для юношества.

Petrone K. 2000. *Life has become more joyous, comrades: celebrations in the time of Stalin*. — Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press.

ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЛУИСА БРАНДАЙЗА

Л.Г. Берлявский
Ростовский государственный экономический университет («РИНХ»)

Аннотация: *Статья посвящена исследованию политико-правовой концепции Луиса Брандайза — видного американского правоведа, члена Верховного Суда США. Его считают одним из четырёх величайших судей XX столетия. Л. Брандайзу удалось добиться успеха в отстаивании социальных и трудовых прав работников, прямо не закреплённых Конституцией США. «Brandeis Brief» стал существенным вкладом в процессуальное право США. Брандайз был сторонником концепции «живой Конституции», которая базируется на идее социальных изменений, эволюции правовой системы и Основного закона.*

Ключевые слова: *Луис Брандайз, политико-правовая концепция, Верховный Суд США, социальные и трудовые права, процессуальное право.*

В современных условиях, когда происходит разработка и реализация нового социального законодательства, закладываются правовые основы реформ пенсионного обеспечения и медицинского страхования, в США и других странах актуален вопрос о соответствии данных новелл основным законам. В этом плане представляют интерес взгляды и деятельность одной из самых ярких фигур американской конституционной юриспруденции — Л.Брандайза.

При этом современная российская юриспруденция испытывает стремительно возрастающий интерес к классике американской философии права, долгое время остававшейся вне поля зрения отечественных исследователей [Архипов 2009: 3].

Между тем, политико-правовая концепция Брандайза практически не исследована в отечественной науке. Луис Д. Брандайз (1856–1941) — видный американский правовед, член Верховного Суда США. Изучению его конституционно-правовых взглядов в американском правоведении посвящена целая библиотека научной и биографической литературы, в том числе, работы последнего времени [Berk 2009; Urofsky 2005; Urofsky 2009; Purcell 2000; Grennan 1984; Bickel 1957; Brandeis and America… 1989; De Haas 1932; Konefsky 1956; Lief 1936; The Social & Economic Views… 1930; Marcus 1997; Mason 1946; Mason 1933; McCraw 1984; Mersky 1958; Murphy 1982; Paper 1983 и др.]. Редко кто из американских юристов удостаивался такого внимания учёных, как он. Один из первых его биографов А. Мэйсон назвал свою монографию «Жизнь свободного человека». В исследовании, посвящённом первой поправке к Конституции США, В. Блэйзи утверждал, что для Брандайза, как и для Т. Джеффер-

сона успешность демократии зависит от духовных качеств, жизненности, мужества и энергии граждан [Blasi 1988: 653, 686].

В недавнем обобщающем сочинении по конституционному праву США он представлен как последовательный защитник 4-й, 5-й, 8-й поправок к Конституции США, всего комплекса прав и свобод человека [Goodwin, Karlan, Schroeder 2009: 26, 27, 110]. Его считают одним из четырёх величайших судей XX столетия [Walker 2001: 205].

В 20-летнем возрасте Брандайз окончил юридический факультет Гарвардского университета. Он был признан самым выдающимся студентом за все время существования факультета. Свою адвокатскую практику в Бостоне Л. Брандайз посвятил резонансным делам, защищая интересы широкого круга лиц. Именно в Бостоне он получил общественное признание и неофициальный титул — «защитник народа». При его жизни журнал «Economist» назвал Брандайза «Робин Гудом права». Альберт Энштейн утверждал, что «подлинный прогресс человечества основывается не на изобретательном уме, а на сознании таких людей, как Брандайз» [Albert Einstein… 1981: 85]. По словам великого физика, он не знал другого человека, который бы сочетал подлинные интеллектуальные дарования с самопожертвованием в служении обществу (письмо А. Эйнштейна судье Брандайзу от 11 ноября 1936 г.).

Как активный сторонник и советник президента США В. Вильсона Л. Брандайз сыграл ключевую роль в разработке Акта о Федеральной резервной системе, а также законодательства об учреждении Федеральной торговой комиссии. Именно он был одним из первых, кто попытался применить антитрестовский закон Шермана, в частности, против железнодорожной монополии Дж.П. Моргана. Это было весьма значимо, поскольку видный олигарх — глава империи Морганов — фактически не считался с предписаниями государственных органов. На предложение президента Т. Рузвельта посетить его и дать объяснение своим действиям предприниматель ответил, что «у него нет вопросов к обитателю Пенсильвания-авеню, 1600», где расположена резиденция президента США. После этого президент применил против корпорации Морганов меры административного воздействия, однако только Брандайзу удалось задействовать против олигарха юрисдикционные механизмы и антитрестовское законодательство. При этом, выступая адвокатом по социально значимым делам, Л. Брандайз принципиально отказывался от гонораров, чтобы избежать обвинений в ангажированности.

В особом мнении по делу Liggetti Co. v. Lee, 1933 он утверждал, что рост размеров и концентрация экономического могущества частных корпораций в руках немногих лиц создали возможности для их доминирования над государством. Собственность оказалась отделённой от контроля, что устранило сдержки и противовесы, прежде задействованные для ограничения злоупотреблений властью и собственностью. Результатом этого стал рост неравенства доходов — главная причина тогдашней экономической депрессии. Только ответственность многих лиц за развитие бизнеса способна обеспечить моральное и интеллектуальное развитие американцев, которое существенно для прав и свобод [288 U.S. 517, 565–567, 580]. По его словам, возможны либо демократия, либо концентрация богатства в руках немногих, оба варианта невозможны.

Наряду с этим, Л. Брандайзу удалось добиться успеха в отстаивании социальных и трудовых прав работников, прямо не закреплённых Конституцией США. В этом плане показательным является дело Muller v. Oregon, 1908 [208 U.S. 412], которое считается знаковым в истории Верховного Суда этой страны. Согласно ему были приняты практически первые решения, связанные с запретами дискриминации по признаку пола и ограничением рабочего дня трудящихся женщин.

Именно на основании решения Верховного Суда по данному делу утверждался принцип государственного регулирования в социальной сфере. Брандайз защищал интересы штата Орегон, власти которого применили штрафные санкции против работодателя — владельца прачечных, нарушавшего права женщин-работниц. При обосновании своей позиции Л. Брандайз внёс существенный вклад в процессуальное право США. Вместо представления суду

кратких формально-юридических тезисов адвоката ответчика Л. Брандайз на основании методов социологии права составил весьма убедительное обширное исследование (на 113 стр.), в котором широко использовались статистические, медицинские данные, экспертные оценки. На их основании автор сделал вывод, что женщины являются слабой стороной в трудовых правоотношениях, при этом «их тела являются общественным достоянием, что требует правовой защиты против чрезмерного труда». В связи с этим государственный интерес в общественном благополучии должен иметь приоритет над свободой договора, гарантированной 14-й поправкой к Конституции США.

Данный метод до настоящего времени именуется «Brandeis Brief», он стал моделью для последующих обращений в Верховный Суд по делам, связанным с причинением ущерба здоровью и социальному благополучию индивидуальных и коллективных субъектов. Этот метод впоследствии был удачно использован в деле Brown v. Board of Education, 1954 [347 U.S. 483] для обоснования неблагоприятного психологического воздействия системы сегрегированного обучения на детей афро-американцев [Evans, Scott 1983; Garfinkel 1959; Tomkins, Oursland 1991].

В этой связи необходимо отметить, что Л. Брандайзу во всей своей деятельности удавалось облечь в правовые формы, добиться государственной защиты, дать наиболее адекватное юридическое толкование социальных интересов не только американского среднего класса, но и простых тружеников — лиц наёмного труда. В своих «Канонах конституционного права» Дж. Балкин и С. Левинсон утверждают, что члены профсоюза «Индустриальные рабочие мира» понимали значение 14-й поправки «не меньше, чем Оливер Уэнделл Холмс или даже Луис Брандайз» [Balkin, Levinson 1998: 1020].

Политико-правовую концепцию Брандайза в отечественной литературе относят к социологическому направлению в юриспруденции США. В одной их публикаций последнего времени в нём выделены два основных течения: умеренное, представленное гарвардской школой права во главе с Р. Паундом, и более радикальное реалистическое (К. Ллевеллин, Д. Фрэнк, О. Холмс и др.). В числе представителей второго направления упоминается Л. Брандайз [Хочоян 2009: 20].

При этом школа правового реализма рассматривается как теоретическая оппозиция школе юридического позитивизма. Представители школы правового реализма скептически относятся к «нормам на бумаге». Право для них состоит не из правил (закон и прецедент — это всегда правила), а представляет собой деятельность лиц по разрешению конфликтов, а также решения судей и других администраторов по конкретным делам [Мачин 2007: 199–200]. Идейные разногласия между реалистами и сторонниками социологической юриспруденции проявились при обсуждении вопроса о том, какое место в правовом регулировании занимают нормативные предписания и правоприменительная деятельность. Если Паунд рассматривал эти категории в их взаимосвязи, как равноценные элементы многоаспектного понятия права, то реалисты, не отрицая значения правовых норм, стремились переориентировать юридическую науку на изучение судебной и административной практики [Лейст 2006: 543]. Реалисты в правоведении были восприняты настоящими возмутителями академического спокойствия, когда во всеоружии методов современной психологии и социологии стали фиксировать внимание на том, что суды и представители юридической профессии делают в действительности [Нерсесянц 2004: 746].

Между тем, в американской научной литературе вклад Брандайза в развитие течения правового реализма определяется достаточно чётко и конкретно. Г. Паркс утверждает, что в конце XIX в. четыре человека развивали идею о том, что право — это больше, чем о нём пишут в книгах, обосновывали расширительное понимание ценности права. Они пришли к выводу о том, что внеправовые факторы углубляют наше понимание права. Это были члены Верховного Суда США Оливер Уэнделл Холмс мл., Луис Брандайз и Бенджаимин Кордозо, а также бывший декан Гарвардской школы права Роско Паунд. Каждый из них стал основопо-

ложником правового реализма — направления в юриспруденции, которое стало преобладать в середине XX столетия [Parks 2008: 689].

Вклад Брандайза в правовой реализм носил методологический характер. Он был первым адвокатом, который использовал данные общественных наук в судебном процессе как составную часть стратегии защиты социальной политики от атак, предпринятых с использованием конституционных норм. В своем заключении по делу Muller v. Oregon Брандайз применил статистические данные в обоснование своего утверждения о том, что удлинение рабочего дня губительно сказывается на здоровье женщин и, в конечном счёте, — на самом обществе. Работы Холмса, Брандайза, Кордозо и Паунда открыли дорогу новому пониманию исследования права. Их идеи — о том, что право следует применять как средство достижения определённых целей, о полезности достижений социальных наук для правоведения, о том, что право не столько логическая система, сколько реальный опыт — нашли отклик у профессоров права Колумбийского и Йельского университетов [Parks 2008: 689–690, 691].

Правовой реализм не был монолитным научным направлением. В нём определились три течения: 1) критически-оппозиционное, которое стремилось продемонстрировать противоречия классического правового формализма; 2) социологическое, использовавшее эмпирические методы; 3) практико-политическое, которое обосновывало и реализовывало реформистскую политику. «Реалистическая» юриспруденция более всего известна как функционализм — попытка понять право в его собственном фактическом контексте, а также с учётом его экономических и социальных последствий [Ibid.: 692].

Вместе с тем, были основные точки соприкосновения взглядов правовых реалистов. Одно из лучших их описаний дал К.Н. Ллевелин:

1) концепция права в развитии, в движении и судебном правоприменении;

2) право не как самоцель, а как средство достижения социальных целей;

3) концепция более быстрого развития общества по сравнению с правом;

4) временной разрыв между сущим и должным с целью изучения;

5) недоверие к традиционным правовым нормам и понятиям, которые якобы отражают то, что реально делают суды и люди;

6) недоверие к теории, согласно которой традиционные предписывающие нормативные формулировки являются реально действующим фактором при вынесении судебных решений;

7) уверенность в целесообразности группировать судебные дела и правовые ситуации в более узкие категории;

8-9) настойчивое требование оценки последствий каждой части права и непрерывной программной атаки на правовые проблемы по всем указанным направлениям [Извлечения… 2009: 185; Адыгезалова 2009: 186].

В 1916 г. президент США В. Вильсон назначил Брандайза членом Верховного Суда, несмотря на то, что в Сенате многие (при голосовании 47 — за, 22 — против) не поддержали назначения на этот пост юриста, известного своими радикальными взглядами по социальным вопросам [Brandeis Named… 1916]. Именно радикализм Брандайза — автора книги «Чужие деньги и как их используют банки» (1914 г.) — не позволил В. Вильсону представить кандидатуру бостонского «защитника народа» для назначения генеральным прокурором либо министром торговли.

В соответствии с разд. 2 ст. 3 Конституции, «судебная власть Соединённых Штатов осуществляется Верховным Судом и теми низшими судами, которые будут время от времени учреждаться Конгрессом». Как судьи Верховного Суда, так и судьи низших судов сохраняют свои должности до тех пор, пока их поведение является безупречным. При этом «судебная власть распространяется на все дела, решаемые по закону и праву справедливости», которые возникают на основе Конституции, законов Соединённых Штатов и заключаемых Соединёнными Штатами договоров. Статья 6 устанавливает, что судебная власть распространяется на все дела, возникающие на основе Конституции, и что она является верховным правом стра-

ны, а федеральные законы принимаются в исполнение основного закона страны, судьи обязаны поддерживать Конституцию [Жидков 1993: 37–38, 40].

В компетенцию Верховного Суда входит судебный конституционный контроль, который берет начало с решения по делу Marbury v. Madison, 1803 [U.S. (1 Cranch) 137]. Толкование конституционных установлений осуществляется в соответствии с доктринами, разработанными в науке конституционного права США. Так концепция оригинализма (формализма, текстуализма) требует интерпретации положений Конституции с точки зрения смысла и значения, которые вкладывались в нее отцами-основателями США. Видный государствовед Э. Чемерински считает, что оригинализм сводится к тому, что судьи, разрешающие конституционные вопросы, должны быть ограничены нормами, установленными либо непосредственно вытекающими из писаной конституции [Chemerinsky 2004; Chemerinsky 2006; Chemerinsky 2010]. Последовательными защитниками оригинализма являются современный судья Верховного Суда А. Скалия и другие американские конституционалисты.

В отличие от них, Д. Страус уверен в том, что конституционное право базируется преимущественно на системе общего права. Текст Конституции США играет значительную роль, однако самые важные принципы установлены не им, а судебными решениями, которым следуют в течение многих лет, а также практикой либо институтами, которые вследствие длительного применения стали незыблемыми [Strauss 1996].

К данной позиции примыкает доктрина «юридического активизма», которая по определению, данному «Black's Law Dictionary», сводится к тому, что в процессе принятия решений по делам о соответствии Конституции судьи могут позволить себе высказывать личные взгляды как по вопросам публичной политики, так и о разрешении судебных дел.

З.И. Голдобиной высказано мнение о том, что на правовое мышление судей и на конечный результат их деятельности — решения по делам, — оказывали существенное влияние определённые политико-правовые теории. Так активизм как метод деятельности судей Верховного Суда теоретически поддерживала школа правового реализма, считающая судейское сообщество законодателем, чей житейский опыт, знания, а также существующие социальные, политические факторы позволяют создавать нормы права в ходе судопроизводства, а не только применять их, что даёт Верховному Суду, с точки зрения реалистов, особо значительную власть, в то время как оригинализму близка естественно-правовая теория с её пониманием сущности нормы права и приверженностью к буквальному толкованию законодательных актов [Голдобина 2007: 10–11]. С последним утверждением согласиться сложно, так как теоретическим фундаментом оригинализма, как представляется, является юридический позитивизм, воплотившийся в XX в. в течение нормативизма.

Сам Л. Брандайз был сторонником концепции «живой Конституции», которая базируется на идее социальных изменений, эволюции правовой системы и Основного закона [Ackerman 2007: 1796, 1797, 1801]. «Живой конституционализм» требует, чтобы споры по конституционным вопросам, по словам. О.У. Холмса, «разрешались с учётом целостного опыта, а не только на основании того, что было сказано по этому поводу сто лет назад» [Quot.: Winkler 2001: 1456, 1463][1].

Член Верховного Суда США Брандайз в выступлении на судебном процессе Burnet v Coronado Oil and Gas Co., 1932 г., утверждал, что прецедентный принцип stare decisis является более мудрой политикой, нежели применение законодательства. По делам, касающимся федеральной Конституции, где коррекция посредством законодательного процесса практически невозможна, суд пересматривает вынесенные ранее прецеденты. «Члены суда покорно извлекают уроки из практического опыта и смиренно склоняют головы перед силой более убедительных доводов», признавая, что метод проб и ошибок, столь плодотворный в физике и естествознании, применим и в отправлении правосудия [285 U.S. 393].

[1] Оливер Холмс, назначенный членом Верховного Суда в 1902 г. президентом Теодором Рузвельтом, менее чем через два года, при рассмотрении важнейшего дела, проголосовал против позиции президента.

По мнению О.А. Жидкова, фактически действующая («живая») Конституция США представляет собой, прежде всего, синтез конституционного текста с целой серией судебных прецедентов, выстроенных в виде конституционных доктрин, дающих Основному закону, трудно поддающемуся формальным изменениям, необходимые для социального маневра гибкость и динамизм. Характерно, что в сфере толкования Конституции Верховный Суд в меньшей степени, чем в других сферах законодательства, придерживается принципа прецедента и неоднократно, если этого требовали обстоятельства, отказывался от сформулированных ранее конституционных доктрин. В XX в. он открыто пересмотрел около 150 таких доктрин, многие прецеденты были уточнены или изменены [Жидков 1993: 16].

В особом мнении по делу Gilbert v. Minnesota, 1920 Л. Брандайз утверждал, что «полная и свободная реализация прав человека является, как правило, его обязанностью, поскольку это более важно для государства, чем для него самого». Свободное выражение альтернативных мнений является залогом мудрости при принятии государственных решений, подавление этой свободы он считал величайшим злом [254 U.S. 325, 338]. Брандайз отстаивал конституционные принципы равенства и правового государства, ему приписывают изречение о том, что самая важная государственная должность — это обычный гражданин.

В совпадающем мнении по делу Whitney v. California, 1927 Брандайз выступил против узкой трактовки оригинализма, утверждая, что «те, кто завоевал независимость, не были трусами. Они не боялись политических изменений». Исключительно страх причинения серьёзного вреда не может оправдать подавления свободы слова и собраний. Люди боялись ведьм и сжигали женщин. Функция свободы слова состоит в избавлении свободных людей от иррациональных страхов. Величайшей опасностью для свободы, по его мнению, стали инертные люди. Публичная дискуссия является политической обязанностью, она должна быть фундаментальным принципом американского государства [274 U.S. 357].

Как считал судья Верховного Суда Брандайз, авторы Конституции США признавали значимость духовной природы людей, их чувств и интеллекта. «Они знали, что в материальной сфере сосредоточена только часть удовольствий и страданий человека. Они пытались защитить веру, мысли и чувства американцев. Они наделили их правом оставаться наедине с собой, быть вне государства — наиболее понятным и более других ценимым цивилизованными людьми».

В период действия «сухого закона» (Prohibition-era), введённого 18-й поправкой к Конституции США (1919 г.), контрабандисты алкоголем использовали новейшие по тем временам автомобили и средства телефонной связи для доставки своего товара заказчикам. Для противодействия им федеральные агенты прибегли к собственным новым технологиям — подслушиванию телефонных переговоров. В Сиэтле на основании доказательств, полученных подобным путём, было предъявлено обвинение местному полицейскому Рою Олмстеду. В своей апелляции он указал, что уличающие его доказательства были добыты федеральными агентами без ордера, что нарушает его права, предусмотренные 4-й поправкой к Конституции. Верховный Суд подтвердил приговор, осуждающий Олмстеда, поскольку государственные органы физически не нарушали неприкосновенность его жилища. В 4-й поправке к Конституции США установлены гарантии «неприкосновенности личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов» [Жидков 1993: 41].

К этому времени Л. Брандайз уже внёс значительный вклад в разработку концепции неприкосновенности частной жизни, опубликовав совместно с С. Уорреном об этом программную статью в «Harvard Law Review» [Brandeis, Warren 1890]. Будучи судьёй Верховного Суда, он использовал дело Олмстеда для толкования фундаментальных прав человека, предусмотренных 4-й и 5-й поправками к Конституции.

В особом мнении по делу Olmstead v. United States, 1928 он настаивал на том, что благопристойность, безопасность и свобода как принципы поведения одинаково значимы как для граждан, так и для государственных служащих. Л. Брандайз называл государство «вездесу-

щим учителем», обучающим добру и злу на своем собственном примере. Если государство совершает преступление, это порождает презрение к праву, побуждает каждого становиться законодателем для самого себя, приводит к анархии. Провозглашать, что цель оправдывает средства в сфере уголовного права равносильно тому, что государство может совершать преступления с целью преследования конкретного преступника. По его мнению, это чревато ужасными последствиями, против подобной пагубной доктрины он призывал выступить Верховному Суду. «Отцы-основатели стремились защитить веру, мысли и чувства американцев. Они даровали право на неприкосновенность частной жизни, в том числе, от воздействия государства». Брандайз назвал это право самым универсальным из прав человека [277 U.S. 438].

Биограф Брандайза, видный правовед Мелвин Урофски назвал данное особое мнение одним из самых ярких и самых цитируемых в американском праве, «вехой в конституционной истории» [Urofsky 2009]. Анализируя эту же позицию, адвокат — специалист по конституционному праву США С. Род в своей недавней статье в «Los Angeles Lawyer» пришёл к выводу, что Брандайз как юрист, реформатор, судья Верховного Суда заслуживает того, чтобы его считали великим американцем. Этот автор назвал его «монументальной фигурой в американском праве», чей прагматический идеализм вдохновляет современных адвокатов и судей [Rohde 2010: 45].

Помимо этого, Луис Брандайз внёс значительный вклад в обоснование и защиту конституционной свободы слова и выражения мнения (Whitney v. California, 1927; Packer Corporation v. Utah, 1932). Прецедентные решения Верховного Суда, принятые с его участием, являются действующими до настоящего времени. В этой связи видный представитель социологического направления в американской юриспруденции Роско Паунд высказал мнение, что Л. Брандайз «вписал, как минимум, целую главу в наше право».

Современные приверженцы концепции «живой конституции», ставшие на позиции нонориганализма [Posner 1969; Posner 1972; Posner 1978; Posner 1983; Posner 1996; Posner 1998; Posner 2002; Posner 2005a; Posner 2005b и др.], выдвигают следующие аргументы для обоснования своей позиции:

- «отцы-основатели» Соединённых Штатов на Филадельфийском конвенте не обозначили особых намерений осуществлять контроль со стороны законодателя в процессе конституционной интерпретации;

- ни одна писаная Конституция не может предвидеть все те средства, при помощи которых исполнительная власть способна подавлять граждан. В связи с этим судьи для защиты прав человека должны иметь возможность при необходимости восполнять пробелы в законодательстве;

- различные намерения «отцов-основателей» США носили неустойчивый характер, зачастую их трудно определить. Юридический текст нередко носит двусмысленный характер, поэтому для обоснования своей позиции возможно прибегнуть к судебному прецеденту;

- нонориганализм позволяет судьям избежать критических ситуаций, причиной которых может быть неадекватное толкование норм Конституции, которое не соответствует изначальной цели принятия последних. Процесс внесения поправок в Конституцию слишком затруднителен;

- нонориганализм сориентирован на эволюцию Конституции, что даёт больше возможностей применения принципа равенства в отношении темнокожих, женщин, представителей меньшинств;

- оригиналисты теряют из виду цель более высокого порядка — осознание духа Конституции, пронизанного идеей защиты свободы и прав человека.

- в нацистской Германии судьи, стоявшие на оригиналистских позициях, не использовали свои полномочия для противодействия антигуманной политике фашистов.

Л. Брандайз состоял членом Верховного Суда вплоть до своей официальной отставки в 1939 г. Находясь на этом посту, он отдал много сил борьбе за реализацию нового социального законодательства, направленного на защиту интересов широких кругов населения США. Вместе с тем, судья Брандайз оспаривал многие из нормативных актов, вводивших «Новый курс», считая их чрезмерно этатистскими, нарушавшими принципы конкуренции в экономике, принятыми на основании расширительно толкуемых дискреционных полномочий президента США Ф.Д. Рузвельта (Louisville v. Radford, 1935 [295 U.S. 555]; Schechter Brothers v. The United States, 1935 [295 U.S. 495]; Erie Railroad Co. v. Tompkins, 1938 [304 U.S. 64]). Несмотря на его непримиримую позицию по данным вопросам, весьма скупой на похвалы президент Рузвельт, упоминая Брандайза, сравнивал его с библейским пророком Исайей.

Можно согласиться с помощником Л. Брандайза Дином Ачесоном, ставшим впоследствии государственным секретарём США, который считал, что во время моральной и интеллектуальной анархии этот выдающийся юрист поддерживал великую традицию веры в мысль и духовное начало в человеке.

Адыгезалова Г.Э. 2009. Карл Никерсон Ллевелин. — *Правоведение*. — № 2.

Архипов В.В. 2009. *Концепция права Лона Л. Фуллера. Автореф. дисс… канд. юрид. наук*. — СПб.

Голдобина З.И. 2007. *Активизм и оригинализм в деятельности Верховного суда США и американской политико-правовой доктрине: дис… канд.юрид. наук*. — Екатеринбург.

Извлечения… 2009. Извлечения из трудов К.Н. Ллевелина. Немного реализма о реализме. — *Правоведение*. — № 2.

Лейст О.Э. (ред.) 2006. *История политических и правовых учений*. — М.: Зерцало.

Мачин И.Ф. 2007. *История политических и правовых учений*. — М.: Юрайт-Издат.

Нерсесянц В.С. (ред.) 2004. *История политических и правовых учений: Учебник для вузов*. — М.: Норма.

Жидков О.А. (ред.) 1993. *Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты*. — М.

Хочоян А.Г. 2009. *Основные направления правопонимания в советской юридической науке 20-х–30-х гг. 20 в. Автореф. дисс… канд. юрид. наук*. — Саратов.

Ackerman B. 2007. The Living Constitution. — *Harvard Law Review*. — N 7.

Albert Einstein… 1981. *Albert Einstein: The Human Side*. — Princeton: Princeton University Press.

Balkin J.M., Levinson S. 1998. The Canons of Constitutional Law. — *Harvard Law Review*. — Vol. 111.

Berk G. 2009. *Louis Brandeis and the Making of Regulated Competition, 1900–1932*. — Cambridge: Cambridge University Press.

Bickel A. 1957. *The Unpublished Opinions of Mr. Justice Brandeis*. — Cambridge: Harvard University Press.

Brandeis and America… 1989. *Brandeis and America* / Ed. Nelson L. Dawson. — Lexington: University Press of Kentucky.

Brandeis Named… 1916. Brandeis Named for Highest Court. — *New York Times*. — January 29.

Brandeis L., Warren S. 1890. The Right to Privacy. — *Harvard Law Review*. — № 4. — P. 193–220.

Blasi V. 1988. The First Amendment And The Ideal of Civic Courage: The Brandeis Opinion in Whitney v. California. — *Wm. & Mary Law Review*. — N 29.

Chemerinsky E. 2004. Real Discrimination? — *Journal of Law & Policy*. — Vol. 16. — P. 97–127.

Chemerinsky E. 2006. The Assault on the Constitution: Executive Power and the War on Terrorism. — *Davis Law Review*. — Vol. 40. — P. 2–20.

Chemerinsky E. 2010. Two Cheers for State Constitutional Law. — *Stanford Law Review*. — Vol. 62. — P. 1695–1710.

De Haas J. 1932. *Louis D. Brandeis, A Biographical Sketch* / Ed. Felix Frankfurter. — New Haven: Yale University Press.

Evans S., Scott J. 1983. Social Scientists as Expert Witnesses: Their Use, Misuse, and Sometimes Abuse. — *Law & Policy Quarterly*. — N 5(2). — P. 181–214.

Garfinkel H. 1959. Social Science Evidence and the School Segregation Cases // *Journal of Politics* (Cambridge University Press). — N 21(1). — P. 37–59.

Goodwin L., Karlan P., Schroeder C. 2009. *Keeping faith with the Constitution*. — N.Y., Wash.

Grennan J. 1984. *Brandeis & Frankfurter: A Dual Biography*. — N.Y.: Harper & Row.

Konefsky S. 1956. *The Legacy of Holmes & Brandeis: A Study in the Influence of Ideas*. — N.Y.: Macmillan Co.

Lief A. 1936. *Brandeis: The Personal History of an American Ideal*. — N.Y.: Stackpole Sons.

Marcus J.R. 1997. *Louis Brandeis*. — N.Y.: Twayne Publishing.

Mason A.T. 1933. *Brandeis & The Modern State*. — N.Y.: Princeton University Press.

Mason A.T. 1946. *Brandeis: A Free Man's Life*. — N.Y.: The Viking Press.

McCraw T. 1984. *Prophets of Regulation: Charles Francis Adams, Louis D. Brandeis, James M. Landis, Alfred E. Kahn*. — Cambridge: Harvard University Press.

Mersky R. 1958. *Louis Dembitz Brandeis 1856–1941: Bibliography*. — N.Y.: Fred Rothman & Co.

Murphy B. 1982. *The Brandeis/Frankfurter Connection: The Secret Activities of Two Supreme Court Justices*. — N.Y.: Oxford University Press.

Paper L.J. 1983. *Brandeis: An Intimate Biography of one of America's Truly Great Supreme Court Justices*. — N.Y.: Englewood Cliffs.

Purcell E. 2000. *Brandeis and the Progressive Constitution: Erie, the Judicial Power, and the Politics of the Federal Courts in Twentieth-Century America*. — New Haven: Yale University Press.

Parks G.S. 2008. Toward a Criticsl Race Realism. — *Cornell Journal of Law and Public Policy*. — Vol. 17.

Posner R. 1969. The Federal Trade Commission. — *University Chicago Law Review*. — 47.

Posner R. 1972. A Theory of Negligence. — *Journal Legal Studies*. — 29.

Posner R., Landes E.M. 1978. The Economics of the Baby Shortage: A Modest Proposal. — *Journal Legal Studies*. — 323.

Posner R. 1983. Statutory Interpretation — In the Classroom and in the Courtroom. — *University Chicago Law Review*. — 800.

Posner R. 1996. Pragmatic Adjudication. — *Cardozo Law Review*. — 1.

Posner R. 1998. The Problematics of Moral and Legal Theory. — *Harvard Law Review* — 1637.

Posner R. 2002. Pragmatism Versus Purposivism in First Amendment Analysis. — *Stanford Law Review*. — 737.

Posner R. 2005a. Transaction Costs and Antitrust Concerns in the Licensing of Intellectual Property. — *J. Marshall Review of Intellectual Property L*. — 325.

Posner R. 2005b. Foreword: A Political Court (The Supreme Court, 2004 Term). — *Harvard Law Review*. — 31.

Rohde S.F. 2010. Louis D. Brandeis. — *Los Angeles Lawyer*. — January.

Strauss D.A. 1996. Common Law Constitutional Interpretation. — *The University of Chicago Law Review*. — Vol. 63. — P. 877–935.

The Social & *Economic Views… 1930. The Social & Economic Views of Mr. Justice Brandeis* / Ed. Alfred Lief. — N.Y.: The Vanguard Press.

Tomkins A., Oursland K. 1991. Social and social scientific perspectives in judicial interpretations of the Constitution: A historical view and an overview. — *Law and Human Behavior*. — N 15(2). — P. 101–120.

Urofsky M. 2005. Louis D. Brandeis: advocate before and on the bench. — *Journal of Supreme Court History*. — N 30. — P. 31–46.

Urofsky M. 2009. *Louis D. Brandeis: A Life*. — N.Y.: Pantheon.

Walker J.M. 2001. jr. Judical tendencies in Statutory Construction: Differing views on the role of the Judge. — *NYU Annual Survey of American Law*. — Vol. 58 .

Winkler A. 2001. A Revolution Too Soon: Woman Suffragists and The "Living Constitution". — *New York Law Review*. — Vol. 76.

СОВРЕМЕННЫЙ ПРАВЫЙ РАДИКАЛИЗМ: ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРИЗНАКОВ[1]

С.П. Поцелуев,
М.С. Константинов
Южный федеральный университет

Аннотация: *В статье рассматривается концептуальная структура современных праворадикальных идеологий. Исходной методологической проблемой авторы полагают эклектизм правого радикализма, затрудняющий экспликацию концептуального ядра этой идеологии. Данная проблема решается посредством применения метода «идеологической морфологии» М. Фридена. Авторы анализируют различные подходы к пониманию фашизма, исследуют его связи с консерватизмом и на основе этого анализа выявляют базовые концепты и идеологемы правого радикализма. Полученная концептуальная модель адаптируется применительно к российской версии «почвеннического» фашизма. Как полагают авторы, данная модель может быть использована в социологических исследованиях праворадикальных идеологем.*

Ключевые слова: *политическая идеология, консерватизм, правый радикализм, фашизм, группускулярная правая, концепт, идеологема*.

Вопрос о том, какую идеологию или идеологему следует считать праворадикальной, относится к одним из труднейших вопросов современной политической теории. Не менее сложен и деликатен этот вопрос в практическом русле, когда речь заходит о правовой ответственности лиц, допускающих экстремистские заявления с признаками правого радикализма.

Но прежде чем задаваться вопросом об этих признаках, надо отдавать себе отчет о методе их идентификации.

Идеологию можно характеризовать, к примеру, по её функциям. К этому особенно склонна марксистская традиция. Основную функцию праворадикальной идеологии она усматривает в том, что та удовлетворяет потребность господствующего класса в новой политической силе, способной компенсировать слабости традиционного (либерально-демократического) политического механизма и погасить революционные выступления трудящихся [Галкин, Рахшмир 1987: 8]. Допустим, это так, но ту же самую функцию можно с полным

[1] Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований «Праворадикальные идеологемы в сознании студенческой молодёжи Ростовской области», проект № 14-03-00302а.

правом приписать и какой-то новейшей разновидности консерватизма. В чём же тогда состоит её отличие от собственно праворадикальной идеологии?

Ещё менее надёжным оказывается и метод определения правого радикализма через приписывание ему названий других идеологий. В этом смысле праворадикальную идеологию характеризуют как совокупность идей авторитаризма, этнонационализма, фашизма, расизма, ксенофобии и религиозного фундаментализма [Hilliard, Keith 1999]. Но в эпоху идеологических гибридов практически любой консервативный дискурс содержит в себе идеи такого рода, и вопрос состоит как раз в том, чтобы идентифицировать особую конфигурацию таких идей, составляющую идеологическое своеобразие правых радикалов.

Известным шагом в этом направлении можно считать попытку определить суть идеологии через фиксированный набор ключевых идей (понятий). Классик британского консерватизма Э. Бёрк был одним из первых представителей такого подхода. Он приводил следующий список идей консерватора: конкретные права вместо абстрактных естественных прав; органическая концепция общества как вечного партнерства между прошлым, настоящим и будущим; история как аккумулированная мудрость всех поколений; естественное неравенство людей, а потому также неравенство их статусов и владений; уважение к власти и её институтам, закону и религии; принятие постепенных изменений внутри структур, отвечающих перечисленным ценностям [Freeden 2006: 332].

Подход Бёрка выражает много верного из консервативной идеологии, но британский политолог М. Фриден прав, замечая, что в случае сведения сути консервативной идеологии к фиксированному набору концептов невозможно объяснить внутреннюю динамику идеологии, наличие внутри самого консерватизма многих разновидностей и вариаций, ведущих между собой «идеологический диалог» [Ibid.: 332]. С другой стороны, при таком подходе трудно определить сущностное отличие консервативной позиции от праворадикальной, ибо приведённый набор концептов выражает существенные моменты обеих идеологий.

Но чтобы идентифицировать их настоящую оригинальность, следует обратить внимание на внутреннюю структуру данных идеологий, их морфологию. С морфологической точки зрения ответ на вопрос «Что такое идеология?» заключается в идентификации и анализе концептов как строительных блоков идеологии. По словам М. Фридена, идеологии суть «уникальные жанры использования и комбинации политических концептов» [Ibid.: 48].

Концепты мы отличаем от понятий. Концепты схожи со словами естественного языка в том, что они — в отличие от научных или философских *понятий* — суть не продукт искусственно организованной логической системы (каким-то теоретиком-философом), а результат спонтанного мыслительного творчества на основе «грамматики» данной теории. По мысли М. Фридена, слова выступают внешними формами концептов. Концепты могут составлять теории, а «теория есть для концептов то, что язык есть для слов: организатор, регулятор, набор правил и единообразий, грамматика, система» [Ibid.].

Теория тоже может иметь «грамматику», если понимать её не только как систему понятий, но и как констелляцию концептов. В известном смысле, это предполагает возвращение к тому, что греки обозначали словом θεωρία[2]. Выраженная в этом термине генетическая связь теории с языком не означает, что стирается различие между концептом и словом; концепт —

[2]В семантике греч. θεωρία близкие современному смыслу «теории» значения (научное или теоретическое познание; наука, учение, теория) являются самыми поздними, младшими. А старшие значения обнаруживают связь θεωρία с практической сферой художества, религии и даже политики. См.: греч. θεωρία: 1) смотрение на зрелище, зрелище, празднество; 2) посольство или депутация, посылаемая греческими полисами на Олимпийские игры; священное посольство афинян в Делос; 3) наблюдение, рассмотрение, исследование. Современный термин «теорема» (греч. θεώρημα) в древнегреческом раньше всего обозначал зрелище и увеселение, а уже потом — доказанное положение, правило, учение. Термином «теоры» (греч. θεωροί) у древних греков называли не только участников зрелищ, но также послов от государства, посылаемых на Олимпийские игры, на празднества, к оракулу в Дельфы, или для принесения даров какому-либо богу; более того, в некоторых государствах (Мантинее, Тегее) «теором» называли главного магистрата [Вейсман 1991: 606].

это, прежде всего, мыслительная, ментальная структура, мыслительный блок, и ему нужно слово, обозначающее его в языке. В этом смысле слово «свобода» — это не концепт, а *индекс* политического концепта свободы как строительного блока определенной идеологии.

Различие между внешним (функциональным) и внутренним (структурным) методом идентификации свойств какой-либо идеологии сродни различию между внешней и внутренней лингвистикой, введённому еще Ф. де Соссюром. В известном смысле и о концептуальной «грамматике» идеологии можно сказать, что она подобна симфонии, реальность которой напрямую не зависит от её исполнения [Соссюр 1998: 25]. По Соссюру, внутренняя структура языка как системы, подчиняющейся своему собственному порядку, является более важной для понимания свойств языка, чем социальные факторы, внешние этому порядку. Аналогичным образом, именно концепты, а не политические функции, должны составлять точку отсчета в идентификации существенных признаков идеологии.

С опорой на М. Фридена, любую идеологию можно охарактеризовать как структуру, состоящую из *ядерных*, *смежных* и *периферийных* концептов [Freeden 2006: 77]. Британский политолог в качестве примера приводит либерализм, выделяя в нем *свободу* как ядерный концепт, а также смежные (*права человека, демократию, гражданское равенство, правовое государство*) и периферийные (*национальную идентичность, экологическую безопасность* и др.) концепты. Именно такую (тройственную) структуру намерены мы представить и в случае праворадикальной идеологии. Но здесь сразу же надо указать на принципиальную текучесть концептуальной структуры любой идеологии, включая границы между её концептуальным ядром, а также смежными и периферийными концептами.

В целом, верно, что в каждой идеологии есть концепт (или концепты), которые она не может ставить под сомнение, не подвергая риску свою идентичность. Если либерализм откажется от концепта свободы, что тогда останется от либерализма? Если правому радикалу вдруг станет безразлична идея революционного возрождения его «великой нации», чем тогда он будет отличаться от обычного консерватора или даже либерала? С другой стороны, практически все идеологии используют концепты свободы и нации. Поэтому Фриден прав, замечая, что неустранимость какого-либо концепта из идеологии не представляет собой особого интереса, поскольку все политические концепты могут быть обнаружены в окрестностях любой идеологии, и в этом смысле все они неустранимы. Присутствие какого-то концепта в идеологии вообще не может быть признаком, входящим в её определение. Идеологии различаются между собой не столько разными концептами, сколько *разным упорядочением* сходных концептов. Главное — это отношения концептов друг к другу и к центру идеологии, то, каким образом концепты сцеплены и взаимно обусловливают друг друга [Ibid.: 87]. Причем чем сложнее идеология, тем вероятнее случай, когда какой-то концепт меняет своё положение в ядре, движется, скажем, от ядра в сторону периферии [Ibid.: 83].

Отсюда вытекает неизбежность разногласий относительно того, какие концепты считать ядерными, а какие — смежными или периферийными внутри данной идеологии. Эти разногласия связаны с тем, что в разное историческое время и в разных политических культурах концепты одной и той же идеологии могут мигрировать по её структуре. Только немногие остаются стабильными, и это — прежде всего ядерные концепты, вроде концепта свободы в либерализме, *социальной справедливости* в социализме, *нации* (*расы*) в правом радикализме [Ibid.: 84].

Однако нет оснований понимать ядро идеологии как структурно зафиксированный и в основе своей неизменный ряд концептов. Напротив, это ядро оказывается довольно динамичной структурой (причем как в синхронном, так и в диахронном аспекте), и это означает гибкость границ как внутри самой идеологии (между её ядерными, смежными и периферийными концептами), так и между разными идеологиями. В этой динамике оказывается существенной роль не только ядра идеологии, но также её концептуальной периферии. В этом как раз

выражается преимущество развиваемого М. Фриденом подхода: динамизм идеологической структуры делает относительным в ней само отношение центр — периферия.

С учётом сказанного, идеологии не могут быть типологизированы посредством какого-то одного главного организующего концепта. На самом деле они могут быть описаны как имеющие несколько ядерных концептов. Это предполагает наличие множества идеологических *гибридов*: консервативного либерализма, либерального социализма и проч. Более того, с течением времени — как и в случае *биологической эволюции* — ядро идеологий может терять или приобретать какие-то концепты [Ibid.: 89]. В этом случае можно говорить об идеологических *мутациях*.

Это надо иметь в виду и при определении ядра праворадикальной идеологии. Повторим: она не состоит из какого-то одного или двух главных концептов. Напротив, имеет место исторически меняющееся созвездие концептов, которое выражает главную идею идеологии. В правом радикализме эта главная идея состоит — если использовать предложенную Р. Гриффином терминологию — в палингенетическом мифе, т. е. мифе о повторном рождении национальной (расовой) общности. По словам отечественного историка и политолога А.А. Галкина, в основе этого мифа лежит «возрождение и оздоровление в своей стране „титульной“ нации, рассматриваемой как этническо-биологическое единство, укоренение в ней изначальных, исконных ценностей, придание ей единственно эффективной формы общественной организации» [Галкин 1995: 12].

А.А. Галкин обозначает главную идею праворадикальной идеологии «правоконсервативным революционаризмом», что по смыслу совпадает с аналогичными терминами, предложенными Р. Гриффином[3]: «бескомпромиссный, аутентичный революционный национализм», «революционная миссия правого экстремизма». Термин Галкина представляется особенно удачным, поскольку он чётко выражает главную новацию праворадикальной идеологии: парадоксальное для предшествующей консервативной традиции сочетание консерватизма и революционности. В этой связи есть смысл акцентировать качественную концептуальную разницу между консерватизмом и революционным консерватизмом, но одновременно их генетическое родство: исторически именно консерватизм мутирует в фашизм, а не социализм или либерализм.

Ниже мы подробнее остановимся на вопросе о том, *что сближает и что отличает консервативную традицию от правого радикализма*. Тем самым мы приблизимся к основному вопросу нашей статьи, вопросу о главных признаках современной праворадикальной идеологии.

Консерваторы и правые радикалы

Оригинальность идеологической структуры консерватизма состоит в том, что его основная идея не привязана столь систематически к определенному набору концептов, как это имеет место в идеологии его главных конкурентов — либералов и социалистов.

Считается часто (как самими консерваторами, так и их противниками), что консерватизм прежде всего озабочен сохранением статус-кво. Это представляется его главной чертой, заменяющей ему отсутствие концептуального ядра и смежных с ним концептов социальной справедливости, свободы, демократии и т. д. Типичным выражением такого понимания консерватизма Фриден считает статью С. Хантингтона «Conservatism as an Ideology». Для Хан-

[3]На схожесть концепций Р. Гриффина и А.А. Галкина обращает внимание, в частности, Андреас Умланд. А.А. Галкин, по его мнению, «совершил для России то, что сделал Гриффин в рамках своих исследований фашизма для Запада несколькими годами раньше. Не будучи на тот момент знакомым с гриффинской формулировкой о „палингенетическом ультранационализме“, Галкин объединил свои предыдущие оценки фашизма в сжатой дефиниции „правоконсервативный революционаризм“… Подход Галкина схож с проектом Гриффина как по своей интенции, так и по существу» [Умланд 2003: 4].

тингтона консерватизм — это позиционная идеология, которой не хватает собственной интеллектуальной традиции и самостоятельных идей. Он есть ответ на атаку против установившихся институтов. По Хантингтону, консерватизм есть система идей, используемых для оправдания любого установленного социального порядка, независимо от того, где и когда он существует, против фундаментального изменения его природы, причем независимо, из каких соображений изменения. Консерватизм не наследуется во времени, он представляет собой серию внезапных рождений и смертей, провоцируемых извне [Freeden 2006: 329].

Консерваторы, таким образом, сводятся к роли оппонентов всего нового, они движутся к позициям, которые покинули группы, испытывающие процесс изменений. В этом смысле Хантингтон говорил о консерватизме даже позднекоммунистических элит в Восточной Европе. Хантингтон подчеркивает при этом, что позиционность консерваторов исключает их идентификацию в терминах левого и правого. М. Фриден называет это «хамелеонной теорией консерватизма» [Ibid.: 329–330].

Эта метафора, при всей своей меткости, упускает один важный момент — наличие в консерватизме, как и в любой идеологии, главной идеи, которая придаёт консерватизму оригинальное лицо, дискурсивную связность и которая не может состоять в одном только «хамелеонстве». Прежде всего, по Фридену, консерватизм *не* является идеологией статус-кво. Скорее, это идеология, которая, напротив, весьма озабочена проблемой социальных изменений: необязательно, правда, с целью их элиминировать, но чтобы сделать любые социальные изменения безопасными. Естественные (органические) изменения — это те, которые осуществляются в испытанных рамках, а потому не превышают возможностей людей приспособиться к этим изменениям. Консерватор признает только те изменения, которые не нарушают общественную стабильность и проявляют уважение к прошлому. Это — *первейший компонент* консервативной идеологии, по М. Фридену. Причём базовые концепты конкурирующих с консерватизмом идеологий (свобода, разум, благоденствие и т. д.) суть для консерватизма только смежные концепты для корневой идеи контролируемых изменений и выбираются только как ответ на угрозу искусственных, организованных человеком, изменений.

Защита «нормального» типа изменений сопровождается, по словам М. Фридена, *вторым компонентом* консерватизма — верой во внечеловеческое происхождение социального порядка. В роли такого высшего порядка могут выступать Бог, История, Наука и проч. В XIX веке консерваторы рассматривали стабильность как функцию естественного порядка или иерархии, в первой половине XX века они подчёркивали неизменные психологические принципы человеческой природы, а в эпоху «государства всеобщего благоденствия» и «свободного рынка» консерваторы обращались к «естественному порядку» в лице «научных» экономических законов, наделенных якобы универсальной силой [Ibid.: 334].

Вера во внечеловеческие основы общества снижает достоинство и статус индивида, наделённого свободной волей, ставит под вопрос рациональность «искусственных» человеческих планов, ограничивает силу государства и социальной организации. Одним словом, это маргинализирует роль политики как тщательно спланированной, целенаправленной деятельности людей. Такой политический скептицизм следует отличать от либеральных стремлений оградить приватную сферу человека от чрезмерного вмешательства государства. В случае консерватизма речь идёт о более фундаментальном ограничении политики до сферы возможного, которое не угрожает социальному порядку. Политика для консерватора уместна только в той мере, в какой она занимается поддержанием правил, защищающих внечеловеческий порядок с его органическим процессом изменений, защищающих от неизбывного авантюризма «человеческого гения», столь любимого либералами и социалистами [Ibid.: 335].

Идея внечеловеческого порядка, предполагающая деградацию роли человеческой активности, политической воли, существенно отличает консерватизм от правого радикализма, в котором «мужчины делают историю». Заметим, в целом, что две указанные выше специфические черты консерватизма существенно отличают его от правого радикализма. Последний го-

тов столь же радикально, как большевики или анархисты, рвать с почтенным прошлым и его «гнилыми» традициями во имя «нового человека». Правда, в отличие от тех же большевиков, этот революционный разрыв с прошлым осуществляется у правых радикалов не для того, чтобы построить радикально новый социальный порядок, но с целью вернуться в социальный порядок радикально старый, т. е. в героическую эпоху, предшествовавшую периоду «гниения и распада». Только в этом смысле правый радикализм презирает изменения, к которым может приспособиться «маленький человек». История имеет ценность, если она пишется героями как воплощением «вечно возвращающегося» национального (расового) мифа.

Вместе с тем, направленность праворадикального идеала в прошлое, а не будущее, его явно мифологический, иррациональный характер, сближает правых радикалов с консерваторами. И это наводит на мысль об их более глубоком родстве, а именно, на уровне реактивно-позиционной по своей сути морфологии.

Поясним вслед за М. Фриденом, в чём суть этой морфологии. Британский ученый говорит о «фундаментальной асимметрии между морфологией консерватизма и морфологией его противников» [Ibid.: 340]. Суть этой асимметрии в том, что консерватизм, в отличие от прогрессистских идеологий вроде либерализма и социализма, воздерживается от разработки самостоятельной теоретической системы, оперирующей какими-то универсальными человеческими ценностями, а также реализацией человеческого потенциала внутри справедливо организованных порядков. Теоретические построения у консерваторов возникают только как *реакция* на своих идеологических соперников, только в *отношении* к ним. Другими словами, консерватор мыслит систематически и связно лишь тогда, когда он отвечает на вызов прогрессистских идеологий [Ibid.: 336]. С этим реактивно-позиционным характером консервативного дискурса Фриден и связывает специфический механизм его концептуальных построений, называя его «зеркальным изображением».

Зеркальное отражение как составная часть консерватизма — это не прямолинейная попытка выстроить непрерывную контрапозицию относительно позиции своих оппонентов. Если консервативная идеология и выступает в функции зеркала, то зеркала гибкого, действующего как бы на шарнирах («swivel mirror», как выражается М. Фриден). Это, прежде всего, объясняется постоянной сменой (в зависимости от исторического пространства и времени) соперников консерватизма. А среди них побывали и классический либерализм, и «государство всеобщего благосостояния», и социалисты, и фашисты, и коммунисты. Консерваторы каждый раз определяются, кто для них в данный момент является главным врагом, и стремятся дать ему достойный идеологический отпор [Ibid.: 341]. Это, действительно, похоже на работу зеркала с шарнирными соединениями, которое может быть установлено под любым углом, чтобы ловить разные отражения.

Феномен зеркального изображения обеспечивает то, что консервативное мышление переводит присущие его идеологическим соперникам корневые (ядерные) политические концепты, оперирующие ценностями, во вторичные, второстепенные, смежные и периферийные концепты. Точнее, консерваторы развивают антитезисы (альтернативные концепты) для таких прогрессистских ядерных концептов (и соответствующих им тезисов), как *разум*, *равенство*, *индивидуальность*, а потом (часто бессознательно) устанавливают им смежный статус в рамках своей концептуальной структуры.

Из шарнирно-зеркального принципа консервативного позиционирования относительно других идеологий вытекает ряд черт концептуальной морфологии консерватизма, которые одновременно и сближают его с правым радикализмом, и отличают от него.

Давно замечено, что консервативный и праворадикальный дискурс сходятся в критическом отношении к рационализму. Но только идейная мотивация этого критицизма разная. Консерваторы не приемлют буржуазный рационализм, поскольку он утверждает суверенитет личности, бросает вызов существующей власти во имя абстрактной логики; потому что он не основан на практических знаниях, питает химеру внешне организованных социальных отно-

шений. Для консерватора личность допускается только внутри сдерживающих её социальных и моральных структур (норм), где она маргинализирована за счет порядка, стабильности и непрерывности [Ibid.: 339]. Для политического радикализма такое умаление личностного начала недопустимо. Правые радикалы критикуют рационализм как мировоззрение мелкого обывателя, движимого эгоистическим расчетом и неспособного подняться до мистических вершин Национальной (расовой) Идеи, Мифа.

Пожалуй, главное отличие правых радикалов от консерваторов состоит том, что они осуществляют не столько идейную оборону, сколько нападение. Правда, это нападение оформлено в миф, иррациональную волю, часто в несвязное собрание идей, в отличие от прогрессистских идеологий, и это обнаруживает связь правого радикализма с консервативным стилем мышления. Даже идея консервативной революции есть продукт отражения идеологических соперников в зеркале на шарнирах — ответ на революционный вызов, брошенный коммунизмом (большевизмом). И хотя само по себе соединение консервативной позиции с позицией революционной кажется верхом абсурдности, как раз это сочетание составило суть той мутации, которой подвергся консерватизм на пути к фашизму[4].

А.А. Галкин и П.Ю. Рахшмир убедительно показывают феноменологию этой мутации на примере «обновленческих тенденций» в немецком консерватизме после Ноябрьской революции 1918 года в виде младоконсерваторов, идеологов «прусского (немецкого) социализма» и «консервативной революции». Здесь важно, как при этом консервативная позиция, с одной стороны, в русле своей «шарнирно-зеркальной морфологии» превращает в смежные концепты ядерные концепты конкурирующей с ним идеологии социализма и большевизма, маргинализируя одновременно корневые концепты либерализма. У Освальда Шпенглера рабочий социализм становится «прусским социализмом», а пролетарский интернационализм — «расовым интернационализмом». Показательным в этом отношении было и поведение основателя «Антибольшевистской Лиги» Э. Штадлера, который тоже «стремился не выдвигать новые идеи, а перехватывать те, которые уже получили широкое признание, вкладывая в них иное содержание» [Галкин, Рахшмир 1987: 79].

Как и любые консерваторы, консервативные «обновленцы» — в отличие от большевиков — видели свой идеал не впереди, а позади современного им общества. Однако они шли гораздо дальше традиционных консерваторов, ибо вильгельмовская Германия казалась им уже не «утраченным раем», а одним из этапов либерального разложения общества. Здесь берет свой исток идея «революции наоборот» — *консервативной* революции как альтернативы революции коммунистической. Праворадикальный консерватизм тем самым перехватывает в ядерную часть своей идеологической конструкции концепт революции, который до этого выступал отличительной чертой исключительно социалистических и коммунистических доктрин. Ярким выражением этой идеологической мутации стал национал-большевизм, в некоторых моментах оппозиционный гитлеровскому национал-социализму.

Национал-большевизм традиционно связывают с идеями, развитыми в среде русской эмиграции, но М. Агурский справедливо замечает, что «формирование национал-большевизма не обошлось без немецкого влияния» [Агурский 2003]. Заметим, что в «национал-большевизме» В. Ленин и К. Радек обвиняли не переметнувшихся к большевикам традиционалистских консерваторов, а часть своих коммунистических коллег из охваченной национальным кризисом Германии. Однако и в консервативном лагере наблюдалось движение в сторону большевиков. Эта линия уже заметна в «Третьем Рейхе» Мёллера ван ден Брука, в его идее «консервативного восточного блока», включающего Россию, хотя и без большевиков. А консервативно-революционный идеал, развивавшийся в публикациях журнала «Сопротивление»,

[4]Именно благодаря генетической связи консерватизма и фашизма многие видные консервативные идеологи пришли к поддержке фашизма, а с другой стороны, «фашизм, вне зависимости от особенностей генезиса его первичных отрядов, приобрел чётко выраженный консервативный облик, выступая как хотя и крайняя, но тем не менее составная часть консервативного лагеря» [Галкин, Рахшмир 1987: 74].

уже вполне реабилитировал большевизм. Правда, тем самым этот идеал отнюдь не образовывал гибрида с большевистской идеологией, но лишь создавал его идеальный образ, его праворадикальную стилизацию.

Эрнст Никиш, духовный лидер упомянутого издания, начинавший свою политическую карьеру в рядах германской социал-демократии, усматривал основной смысл Октябрьской революции в возрождении мощи Российской империи. Большевизм для Никиша — это радикальный отказ от Запада, антилиберализм, коллективизм, автократия и насилие. Отказ большевиков от частной собственности, — писал Никиш, — воспламенял у бедных слоев русского народа надежду на спасение, поэтому, когда белые генералы и иностранные интервенты выступили против красного правительства, народ признал в большевизме свое «национальное дело». Русский демократ, либеральный капиталист, прозападно настроенный интеллигент, — все они стали в глазах русского мужика врагами и предателями. «Большевизм, который вскоре стал русским национал-большевизмом, выступил формой, в которой Россия выразила и организовала все силы сопротивления против западных держав-победительниц» [цит. по: Sauermann 1985: 250]. В том же духе высказывался и русский национал-большевик Н. Устрялов, называвший советскую власть «национальным фактором современной русской жизни» и ожидавший (не без основания), что «большевизм логикой вещей от якобинизма будет эволюционировать к наполеонизму» [Устрялов 2003: 55].

Фашизм между двумя мировыми войнами обнаружил ещё одну черту, актуальную и сегодня: родство консерватизма и правого радикализма проявлялось даже в тех странах, где фашистские идеологии и партии играли второстепенную роль. Здесь, в условиях клерикально-фашистских режимов, возникали консервативно-праворадикальные идеологические гибриды, «в которых доминирующую роль играл традиционный консерватизм, взявший на вооружение некоторые важные элементы фашистской идеологии и политической практики» [Галкин, Рахшмир 1987: 93]. Более того, даже политическое преследование местных фашистов могло с лихвой компенсироваться поддержкой фашистских режимов за рубежом. Это взаимодействие между консерватизмом и правым радикализмом, как бы перенесенное во внешнеполитическую сферу, а потому не всегда очевидное, сегодня весьма актуально во внешней политике целого ряда государств[5].

С учетом указанных выше исторических моментов, не следует абсолютизировать тезис о том, что правые радикалы (в отличие от консерваторов) занимают не столько ре-активную, сколько активную позицию относительно идеологии своих основных политических соперников. Консерватизм тоже может развивать *активную* оборону, ещё больше в этом плане сближаясь с праворадикальным дискурсом. Так, правые консерваторы эпохи тэтчеризма и рейганизма, сохраняя общие черты традиционалистского консерватизма, обнаружили вместе с тем и некоторые новые признаки. Эти консерваторы не ориентировались на осторожное позиционирование и приспособление в идеологической сфере, но преследовали стратегию «социального реванша»; они предпочитали не оборону, а наступление в идеологической сфере. В Британии тэтчеризм был нацелен на модернизацию национальной экономики, а не просто на пропаганду «старой, доброй Англии».

Вместе с тем, резкая критика правыми консерваторами либеральных принципов государства всеобщего благоденствия, сближение либерализма с социализмом и коммунизмом, критика «избытка демократии» (в ущерб его «управляемости») и призывы к «сильному государству», — всё это давало повод даже некоторым консерваторам видеть в тэтчеризме праворадикалистский отказ от основных принципов консервативной идеологии. Но — как мы указывали выше со ссылкой на М. Фридена, — такая оценка объясняется узким пониманием консерватизма как идеологии, направленной исключительно на сохранение статус-кво.

[5]Слепота некоторых западных правительств на «правый глаз» в оценке политического режима, установившегося на Украине после «Майдана -2014», — это лишь один из свежих, но далеко не единственный пример такого рода.

«Необходимо учитывать, — замечали А.А. Галкин и П.Ю. Рахшмир ещё раньше Фридена, — что для консерватизма как типа политики главное — противодействие общественному прогрессу даже ценой изменения статус-кво, если он, на взгляд консерваторов, становится чересчур либеральным или социал-реформистским. Ради этого часть консерваторов готова пустить в ход решительные радикальные методы, занять жесткую бескомпромиссную позицию» [Галкин, Рахшмир 1987: 167]. Исследователи указывают на склонность такого консерватизма к «авторитарному популизму» с расистскими чертами.

Эти моменты получают особое развитие в работах французских «новых правых» (А. де Бенуа, Д. Веннер и др.), а также их российских последователей (А. Дугин, Э. Лимонов и др.), которых многие авторы рассматривают как экстремистскую форму современного правого консерватизма. Хотя среди теоретических авторитетов французских и русских «новых правых» числятся не фашисты, а «интегральные традиционалисты» вроде Ю. Эволы и Р. Генона, они признают своё родство и с представителями обновленческих тенденций в немецком консерватизме периода между мировыми войнами (О. Шпенглер, А. Мёллер ван ден Брук и др.). Критикуя некоторые смежные концепты межвоенного фашизма и национал-социализма (ориентация на плебейскую массу, биологический расизм и проч.), идеология новых правых, тем не менее, сохраняет ядерный праворадикальный концепт этих идеологий — консервативный революционаризм. По словам А.А. Галкина и П.Ю. Рахшмира, главным звеном, объединяющим «новых правых» и их предшественников, является их общая приверженность идеалам «консервативной революции» [Галкин, Рахшмир 1987: 175] как радикальному изменению существующей либерально-демократической системы ради спасения европейского человечества. При этом некоторые концепты классического фашизма не столько маргинализируются, сколько переосмысливаются, как в случае с концептом расы. На место традиционного («дискриминационного») расизма с его идеей высших и низших рас, приходит расизм «дифференциальный» [Taguieff 1990] или «оборонительный» [Steele 2004], охраняющий культурные различия.

Установившуюся на Западе идеологическую гегемонию правых консерваторов следует учитывать и при оценке идеологических процессов, имевших место в России за последние три десятилетия. Идеологическая тропа от горбачевского «нового мышления» через концепт «управляемой демократии» и до понимания России как «нации-цивилизации» пролегает в этом общем неоконсервативном русле, и здесь не так много собственно «русского пути», как это иногда представляется. В известном смысле постсоветская Россия — это страна «победившего тэтчеризма».

Дискуссия о фашизме

После того, как мы бегло позиционировали правый радикализм относительно консерватизма, с которым он близок генетически, теперь мы можем напрямую обратиться к одному из ключевых моментов нашей работы — попытаться определить суть праворадикальной идеологии как таковой. И первейшая теоретическая проблема, которая при этом возникает, это соотношение понятий (терминов) *правого радикализма* и *фашизма*.

Содержание понятия «фашизм», равно как и критерии идентификации фашистской идеологии долгое время оставались дискуссионными и использовались спекулятивно [см., например: Умланд 2003: 2–3]. И если в западных исследованиях после публикаций работ Роджера Гриффина [Griffin 1993], Стэнли Дж. Пейна [Payne 1995], Роджера Итуэлла [см., например: Eatwell 1996] и др. удалось достичь некоторого консенсуса в трактовке данного понятия, то в отечественной науке эта проблема до сих пор не решена[6]. Отсутствие чётких критериев квалификации того или иного комплекса идей в качестве фашистской идеологии

[6]Краткий обзор российских научных исследований, посвящённых данной теме, с соответствующими выводами см.: Умланд 2003.

затрудняет проведение конкретных социологических исследований, которые позволили бы выявить степень распространения этих идей и социальную базу потенциального фашистского движения. В результате складывается опасная ситуация, когда научные исследования не имеют прогностической силы и вынуждены фиксировать распространение фашистской идеологии уже «по факту», по тем эксцессам, которые являются результатом, а не причиной данного феномена[7]. Тем более в сложной ситуации оказываются государственные органы по профилактике и противодействию экстремизму и радикализму. Поэтому крайне важным представляется уточнение, конкретизация и операционализация для социологического исследования того комплекса идей, который следует признавать (про)фашистским.

Решение поставленной задачи осложняется пресловутой «гибкостью» фашистских идеологий, нередко способных сочетать несовместимые идеи. На «беспрецедентный эклектизм» фашизма обращал внимание, в частности, авторитетный отечественный исследователь А.А. Галкин: он отметил, что в этой идеологии сочетаются идеи аристократизма и «народности», национализма и наднациональной общности фашистов, антикапитализма и созидательного характера капитала, автаркии и единого европейского рынка, расистской кастовости и народной общности, презрения к массе и воспевание человека труда и т. д. [Галкин 1989: 283]. Этот эклектизм усложняет задачу экспликации некоего общего ядра фашистской идеологии. Методологически эту проблему очень ёмко выразил Стэнли Джордж Пейн: «…Сведение всех возможных фашизмов к одному-единственному родовому феномену с полностью совпадающими характеристиками неточно, в то время как совершенно номиналистический подход, настаивающий на существенных отличиях между радикальными националистическими движениями в межвоенной Европе, хотя и верен в узко техническом смысле…, имеет противоположный дефект игнорирования характерных отличительных черт» [Payne 1995: 462]. В связи с этим в исследованиях фашизма получила распространение методология идеальных типов М. Вебера, позволяющая фиксировать «родовые» признаки фашизма, независимо от многообразия конкретных его проявлений.

Такой методологии, в частности, следует профессор исторического факультета университета «Оксфорд Брукс» (Oxford Brookes University) Роджер Гриффин. Используя веберовскую методологию, он попытался определить «идеальный тип», «родовую сущность» фашизма. В своей ставшей классической работе «Сущность фашизма» Р. Гриффин предложил следующее определение: «Фашизм — это вид политической идеологии, мифическое ядро которой в его различных модификациях есть палингенетическая форма популистского ультранационализма» [Griffin 1993: 26, 44]. Таким образом, основу фашистской идеологии, согласно Р. Гриффину, составляют два базовых концепта: миф о возрождении (палингенетический миф) и популистский ультранационализм.

Концепт палингенезиса может находить своё выражение в самых разнообразных идеологемах. Р. Гриффин приводит в пример концепцию «Третьего Рима», идеологемы «рассвета новой эры», «нового человека», сценарии планетарной катастрофы в политической философии «зелёных» и даже мечту Джорджа Буша о «Новом мировом порядке». Из утопических мечтаний о «возрождённой Европе» возникло Европейское экономическое сообщество, став-

[7]См., например, публикации Информационно-аналитического центра «Сова», в которых на систематической основе отслеживаются проявления праворадикальных, ультранационалистических идей, расизма и ксенофобии в России. Важность этих исследований трудно переоценить, однако они носят скорее диагностический характер и не всегда фиксируют скрытые тенденции. Грубо утрируя: методологически проблема социологических исследований в данной области заключается в том, что включённое наблюдение требует слишком больших ресурсов, а социологический опрос не всегда способен выявить потенциальных (а не актуальных) носителей праворадикальных идей, поскольку опрашиваемые индивиды сами не осознают себя в качестве таковых; они могут даже стесняться своих взглядов и потому скрывать их, а квалификацию их в качестве фашистских сочтут оскорблением. Поэтому необходимы более тонкие исследовательские инструменты, способные выявить профашистские взгляды на уровне мировоззрения, до того, как они сложатся в идеологию и выплеснутся в публичную политику в рамках массового движения.

шее впоследствии одной из трёх «опор Европейского Союза». Представлениями о «восстановлении эволюционного пути развития России», якобы, прерванного революцией 1917 г., руководствовались реформаторы 1990-х гг. Собственно, сама революция 1917 г. была глубоко палингенетическим событием, осознаваемым как «новое начало», приходящее на смену «до основанья разрушенного старого мира».

Как разъясняет Р. Гриффин, «в основу палингенетического политического мифа положена вера в то, что современники уже переживают или собираются пережить „преображение“, „водораздел“ или „поворотный момент“ в историческом процессе» [Ibid.: 35]. Содержательно палингенетический миф связан с идеей революционного преобразования общества. Однако термин «революция» трактуется не в его первоначальном значении — как возвращение к идеализированному прошлому, что имело место в циклическом ви́дении истории, — но в «радикально не-реставрационном смысле *„второго рождения“, происходящего после периода ощущаемого упадка*» [Ibid.: 36]. Тем самым палингенетический миф воспевает «новое начало» или «возрождение» после кризиса. Крайне характерной для этого мифа является идеологема мессиански осмысленного «нового человека» — «политизированная версия типичного „мифа героя“» [Ibid.: 35]. Вождизм и культ личности, традиционно приписываемые фашистской идеологии, на самом деле не являются её атрибутами, хотя и вытекают из идеологемы о «новом человеке».

Вторым базовым концептом фашистской идеологии является популистский ультранационализм. Палингенетический миф содержится во многих версиях идеологий, не имеющих отношения к фашизму. Только комбинация обоих концептов специфицирует идеологию в качестве фашистской. Термин «популистский» означает опору на массу, на «власть народа», как способ легитимации элит или революционных «авангардов». Термин «ультранационализм» близок по смыслу к «интегральному» или «радикальному» национализму и означает ту форму национализма, которая последовательно отрицает либеральные институты и гуманистическую традицию Просвещения. Тем самым «популистский ультранационализм» отказывается от принципов как абсолютизма, так и плюралистического представительного правления: «В веберовских терминах он [популистский ультранационализм] отвергает и „традиционные“, и „легальные/рациональные“ формы политики в пользу превалирования „харизматических“ форм, в которых сплочённость и динамизм движений зависят почти исключительно от способности их лидеров стимулировать лояльность и действие» [Ibid.: 37].

Популистский ультранационализм связан с понятием нации «как „высшей“ расовой, исторической, духовной или органической реальности, которая охватывает всех членов этического сообщества, которые к нему принадлежат» [Ibid.]. «Нация», воспринимаемая как некий естественный порядок, нуждается в защите от «загрязняющих» её элементов, таких как: смешение рас, иммиграция, анархические склонности, непатриотическая ментальность, либеральный индивидуализм, интернациональный социализм, а также тенденции, развязанные «современным» обществом («восстание масс», крушение моральных ценностей, нивелирование социальных различий, космополитизм, феминизм и т. д.).

Именно соединение в единое идеологическое ядро двух названных концептов специфицирует фашизм и придаёт ему мощную энергию для мобилизации масс: «В определённых условиях фашистское представление о сильной новой нации, вырастающей из разрушения старой системы, может вызвать в восприимчивых умах почти волшебную способность преобразовать безысходное отчаяние в безумный оптимизм и тем самым позволить партии, продвигающей такое представление, завоевать массу последователей» [Ibid.: 39]. И именно поэтому фашизм крайне неустойчив в политическом плане: существуя только в условиях глубокого кризиса, он неспособен обеспечить приемлемую социальную стабильность; он может только поддерживать движущий его импульс и сплочённость, «постоянно ускоряя события, которые, казалось бы, осуществляли обещание непрерывной революции продолжающегося палингенеза» [Ibid.: 40]. Тем самым фашизм оказывается обречён на перманентное воспроиз-

водство кризиса, который только и может быть условием его собственного существования. Этим же обусловлена и необходимость использования тотальной пропаганды и социальной инженерии с целью прикрыть расширяющийся разрыв между утопическими обещаниями и действительностью.

К менее значимым характеристикам «идеального типа» фашизма относятся следующие [Ibid.: 46–50]:

- «творческий нигилизм» как сочетание культурно-исторического оптимизма, — веры в возрождение и очищение нации, — с опорой на насилие и разрушение, когда эта вера не оправдывается реальными событиями;

- «альтернативный модернизм» — фашизм стремится к созданию нового типа общества, заимствуя социально-культурные образцы из прошлого лишь в качестве предпосылки национального возрождения, а не дублирования этих образцов в настоящем. В этом и состоит одно из важнейших отличий фашизма от консерватизма;

- революционный радикализм как способ достижения идеалов национального возрождения;

- примордиалистское понимание нации. Биологический расизм не является атрибутивным признаком фашизма и зависит от целого ряда факторов внешней среды: предшествующей традиции ксенофобии, расовой дискриминации и т. д. Однако, в целом, фашизму свойственно отрицание культурного плюрализма и многоэтнических обществ, что говорит о его крайнем национализме, не обязательно связанном с антисемитизмом и геноцидом;

- империализм также не является атрибутом фашизма. Несмотря на то, что исторически существовавшие формы фашизма были империалистически ориентированы, Р. Гриффин не считает связь между возрождением национального сообщества и потребностью в увеличении его «жизненного пространства» посредством завоеваний. В частности, он указывает на то, что главная тема современного фашизма — «Европа наций» [Ibid.: 49].

- антиконсерватизм, антилиберализм, антисоциализм.

Таким образом, уже в начале 1990-х гг. Р. Гриффином была предложена модель, позволяющая достаточно чётко идентифицировать фашистскую идеологию. Как уже отмечалось выше, схожую концепцию предложил российский исследователь А.А. Галкин. Согласно его определению, «фашизм — это правоконсервативный революционаризм, пытающийся, не считаясь с жертвами, с социальной ценой, снять реальные противоречия общества, разрушив всё то, что воспринимается им как препоны к сохранению и возрождению специфически понимаемых извечных основ бытия» [Галкин 1995: 10]. К признакам фашизма, позволяющим идентифицировать его современных адептов, А.А. Галкин относит следующие: - крайний антикоммунизм; - шовинизм и расизм; - склонность к конспиративным теориям, позволяющим завоевать массы; - апологетика «сильной (антидемократической) власти»; - империализм [Галкин 1989: 351].

Ряд ценностей фашизм заимствует у традиционного консерватизма: - пренебрежительное отношение к личности, представление о греховности человеческой природы, из которого вытекает требование «жёсткой руки» и тотального контроля в управлении людьми; - недоверие к разуму, чрезмерное упование на который провозглашается главным источником бедствий; - оценка нации как основной ячейки и движущей силы общественного устройства, стремление свести историю к межнациональным отношениям [Галкин 1995: 10]. Как специально оговаривается А.А. Галкин, ни одна из перечисленных ценностей сама по себе не является фашистской, равно как их простая совокупность также не определяет фашистскую идеологию. Однако все фашистские идеологии включали перечисленные элементы, поэтому могут использоваться для идентификации этой идеологии.

Прежде, чем сделать выводы, вырисовывающееся концептуальное ядро фашизма следует дополнить результатами ещё нескольких исследователей. Известный итальянский историк Эмилио Джентиле выделил десять ключевых элементов идентификации фашизма:

- массовое движение, основывающее свою идентичность на чувстве товарищества, связывающее себя с миссией национального возрождения и имеющее целью установление «нового» антипарламентского режима;

- «антиидеологическая» и прагматическая идеология, провозглашающая себя антиматериалистической, антииндивидуалистической, антилиберальной, антидемократической, антимарксистской, является популистской и антикапиталистической в тенденции; эта идеология выражает себя более эстетически, чем теоретически, с помощью нового политического стиля и мифов, обрядов и символов; она выступает в роли мирской религии, призванной интегрировать массы с целью создания «нового человека»;

- культура основана на мистицизме и трагическом активизме, на превознесении милитаристской политики как модели жизни и коллективной деятельности;

- тоталитарная концепция примата политики в виде полного слияния личности и массы в мистическом единстве нации как этнического и морального сообщества; дискриминация «врагов» нации или режима;

- гражданская этика основана на тотальной приверженности национальному сообществу, на дисциплине, мужественности, духе товарищества и воинства;

- одна партия, имеющая своей задачей обеспечение вооружённой защиты режима, отбора руководящих кадров и организации масс внутри государства;

- полицейский аппарат, предупреждает, контролирует и подавляет инакомыслие и оппозицию посредством организованного террора;

- политическая система организована иерархически и увенчана фигурой вождя, наделённого сакральной харизмой, который направляет и координирует деятельность партии и режима;

- корпоративная организация экономики, которая подавляет профсоюзы, расширяет сферу государственного вмешательства и добивается на основе принципов технократии и солидарности сотрудничества с «секторами производства» при сохранении частной собственности и классового расслоения;

- внешняя политика вдохновляется мифом о национальном могуществе и величии с целью империалистической экспансии [приводится по: Payne 1995: 5–6].

Не меньшего внимания заслуживает концепция Стэнли Дж. Пейна, сформулированная им ещё в 70-х гг. и получившая своё завершение в работе «История фашизма», которая считается одной из лучших по данной теме. Ст.Дж. Пейн определяет фашизм как «форму революционного ультранационализма, выступающего за национальное возрождение, основанного на виталистской философии, включающего крайний элитизм, массовую мобилизацию и принцип вождизма, положительно оценивающего насилие, а значит, склонного к нормализации войны и/или воинских добродетелей» [Payne 1995: 14]. Соответственно этому определению, типологическое описание фашизма, согласно Ст.Дж. Пейну, включает в себя три группы характеристик:

- идеология и цели фашизма: национализм, положительная оценка войны, империализм, корпоративизм;

- что отрицается фашизмом: либерализм, коммунизм, консерватизм;

- стиль и организация: массовое милитаризованное движение, акцент на эстетике, широкое использование символики, превознесение мужественности, органическое представление об обществе, высокая оценка роли молодёжи, подчёркивание конфликта поколений, тяготение к авторитарному, вождистскому стилю управления [Ibid.: 7].

Однако по мнению Роджера Итуэлла, в рассмотренных концепциях содержится несколько недостатков, которые не снижают эвристической ценности этих подходов, но приводят к неверному расставлению акцентов. Так, одной из проблем подхода Ст.Дж. Пейна является его трактовка идеологии, в которой выделяются частные детали и при этом упускается важность анализа базовых концептов, связывающих идеологию в единое целое [Eatwell 1996:

309]. То есть, методологическая проблема частного и общего, о которой говорилось выше, Ст.Дж. Пейном решается неудовлетворительно. С этим связан и второй недостаток — акцент на том, что отрицается фашизмом. Как утверждает Р. Итуэлл, такое отрицание не специфицирует фашизм как политическую идеологию и использовалось скорее в пропагандистских войнах с другими идеологиями за «место под солнцем». И, наконец, Ст.Дж. Пейн в своих исследованиях сосредоточился на межвоенном фашизме и его модель не может быть универсализирована, поскольку не учитывает особенности послевоенного фашизма.

Ряд критических замечаний Р. Итуэлл высказал и в адрес концепции Р. Гриффина. По его мнению, акцент, который Р. Гриффин делает на мифологических основаниях фашизма, преуменьшает рациональную сторону этой идеологии. Определение идеи возрождения в качестве центральной стирает различия между идеологией и пропагандой. Термин «популизм» не имеет чётких критериев и т. д. Поэтому Р. Итуэлл предлагает своё определение фашизма и четыре критерия его идентификации. Под фашизмом он понимает «идеологию, которая борется за социальное возрождение на основе *холистски-националистического радикального Третьего пути*, хотя на практике фашизм, как правило, делает больший акцент на стиле (особенно на действиях и харизматичном лидере), чем на детальной программе, и участвует в манихейской демонизации своих врагов» [Ibid.: 313]. В соответствии с этим определением, критериями фашистской идеологии Р. Итуэлл полагает следующие: - вера в разделение мира по национальному признаку (при этом господствующей формой является культурный национализм, а не биологический расизм); - холистское представление о том, что целое больше своих частей, а коллектив доминирует над частными правами и интересами; - стремление создать новую политическую культуру, альтернативную форму современности посредством мобилизации и насилия; - попытка найти «третий путь», сочетающий положительные черты капитализма (частную собственность, динамизм развития) и социализма (заботу о сообществе и благосостоянии).

«Родовой фашизм» и «группускулярная правая» Р. Гриффина

Вероятно, под давлением подобной критики Р. Гриффин обратился к методу «идеологической морфологии», предложенной Майклом Фриденом [Freeden 1994], что позволило лучше структурировать концептуальную модель фашизма. Однако это обращение было связано также с определённой идеологической и организационной трансформацией самого послевоенного фашизма — в «постфашистскую эпоху» (Э. Нольте). Вместо массовых движений и партий, фашистская идеология облекается теперь в организационные формы ризоматического типа — группускулы[8]. Поэтому характеризовать данное явление как популистское уже не приходится [Griffin 2008: 192–194]. В связи с этим возникает необходимость говорить о «новом лице фашизма» [Ibid.: 194], корректировать и развивать его концептуальную модель. Теперь Гриффин рассматривает межвоенный фашизм лишь как одну из исторических версий «родового фашизма», современным проявлением которого он считает «праворадикальные группускулы».

В характеристике Гриффином «группускулярной правой» следует акцентировать тезис о двух стратегиях политического выживания правого радикализма в современную эпоху. С одной стороны, это выражается в производстве лингвоидеологических гибридов, когда неофашистские идеи выражаются в квазилиберальных терминах с расчётом на массовую под-

[8]Группускулы характеризуются организационной автономностью, сочетаемой со способностью к объединению, что позволяет им образовывать неиерархическое многоцентровое движение с подвижными границами. «В контексте современной правоэкстремистской политики, — поясняет Р. Гриффин, — группускулы в сущности представляют собой небольшие политические образования…, стремящиеся к реализации палингенетических… идеологических, организационных или активистских задач; их конечной целью является преодоление предполагаемого упадка существующей либерально-демократической системы» [Гриффин 2007: 227].

держку избирателя (феномен правого неопопулизма). Вторая стратегия заключается в создании мелких элитарных организаций по принципу религиозного ордена (секты) в ожидании либерального «конца света».

Вторая особенность менталитета праворадикальных группускул — это безудержный синкретизм, смешивающий в одну кучу всевозможные радикальные политические идеи — не задумываясь, откуда они родом: слева или справа, с Запада или с Востока. Типичным примером такого синкретизма стало возрождение «левого нацизма» (национал-большевистских вариантов «третьей позиции»). Вот как это описывает Гриффин: «Левые культовые фигуры, например, Че Гевара и субкоманданте Маркос вошли в пантеон неофашистов, которые позиционируют себя как национальных революционеров; многие сейчас серьезно пытаются пропагандировать нацимаоизм, основанный на „фашистской диктатуре пролетариата“. Современные фашисты поддерживают Ирландскую республиканскую армию, RAF, Ливию Каддафи и „борьбу палестинского народа против сионизма“. …А еще есть национал-анархизм — возможно, самый странный оксюморон на сегодняшний лень. Национал-анархисты заимствуют фашизм справа и слева. Справа — это индивидуалистский анархизм Штирнера, аристократический радикализм Ницше, революционный консерватизм Юнгера и элитарный традиционализм Эволы. Слева — тайный бунт Бакунина, пропаганда действия Кропоткина, мифическое насилие Сореля и синдикалистский мютюэлизм Прудона. Террористический аспект они берут из заговорщического нигилизма Нечаева и анти-индустриального луддизма Качинского» [Гриффин 2007: 240–241].

Но эклектичность дискурса праворадикальных группускул не означает, что этот дискурс теряет свои ядерные значения, относящие его к группе идеологий под общим именем «правый радикализм» или «родовой фашизм». Стоит согласиться с Гриффином, что в послевоенном (нео-)фашизме стало трудно распознать корневую идею праворадикальной идеологии — «озабоченность национальным упадком и возрождением». И, тем не менее, британский политолог называет, по меньшей мере, три признака того, что «первоначальное» фашистское мышление сохраняется даже в экстремистских национал-большевистских разновидностях группускулярной идеологии. Во-первых, об этом говорит то, что эти разновидности «главным образом беспокоятся о культурном упадке, а не о социальной несправедливости или же неравенстве» [Там же: 250]. Во-вторых, даже когда они критикуют политическую или социальную несправедливость, «они, тем не менее, считают, что причиной упадка современного мира является принцип эгалитаризма, а также размывание культурной и этнической идентичности» [Там же]. В-третьих, признаком классического фашизма у многих современных крайне правых является концепция европейского возрождения как победы арийцев над расово низшими врагами. Гриффин подчеркивает: «Сравнение российских, итальянских, немецких и французских разновидностей европейской (и определенно не тэтчеровской) „новой правой“ подтверждает эту модель» [Там же].

Еще один момент, на который обращает внимание Гриффин, — это перспективы идейно-политического сотрудничества между правыми радикалами и консервативными «новыми правами». Для России, где праворадикальные идеологии и движения часто незаметно (в том числе и на кадровом уровне) перетекают в более умеренные (на словах) консервативные силы, этот момент исключительно важен. Гриффин замечает по этому поводу следующее: «Превращение крайне изолированного итальянского ИСД в „избирабельную“ партию Alleanza Nazionale (Национальный альянс, ит.) Джанфранко Фини было предварено интенсивной группускулярной активностью на периферии основной партии, в результате чего в ней укоренились идеи „французских“ и доморощенных эволаистских „новых правых“. В то же время случай с Александром Дугиным показывает, что даже группускула способна в определенной степени оказывать прямое влияние на правительственные круги и, следовательно, на выработку официальных политических решений» [Там же: 253–254].

Подчеркнем, что анализ «родового фашизма» Р. Гриффин ведёт с опорой на упомянутую выше методологию М. Фридена. Соответственно, он выделяет *определяющие*, неустранимые элементы «родового фашизма», *смежные* с этими элементами понятия и *периферийные* (случайные, зависящие от внешней среды, в которой развивается фашистская идеология). Базовые концепты остаются почти неизменными — палингенетический миф и ультранационализм, который, правда, уже не характеризуется как популистский.

К смежным понятиям относятся:

- антилиберализм (либерализм и, в частности, либеральный индивидуализм, космополитизм и аморализм, рассматривается как одна из главных причин кризиса современного общества; в связи с необходимостью очищения общества от «скверны либерализма» отрицаются конституционные процедуры, плюрализм и гуманизм);
- антиконсерватизм (связан с идеологемами революции, преодоления сложившегося порядка в ситуации кризиса, подчёркнутым антиэлитаризмом);
- антиматериализм и антирационализм («идеализм» рассматривается как потребность в утопических целях и мифах; акцентирование воли, духа, чувственности; «творческий нигилизм», сочетаемый с опорой на насилие и разрушение как средство очищения нации и преодоления кризиса);
- национал-социализм (стремление преодолеть классовые различия в рамках национального единства);
- различные формы расизма (возвеличивание «своей» расы и её исторической судьбы либо отрицание культурного плюрализма и полиэтнических обществ);
- маскулинность (возвеличивание «мужских» принципов героизма, милитаризма и дисциплины).

В (нео)фашизме («группускулярной правой») появляются и новые понятия, отражающие проблематику последних десятилетий. К ним относятся: борьба за национальное или этническое возрождение в международном и/или наднациональном контексте («Европа наций»); метаполитизация фашизма — борьба за восстановление уникальной этнической и национально-культурной специфики, якобы размываемой глобализацией; идеологическая гибкость фашизма, обусловленная его независимостью от массовых движений.

К периферийным понятиям Р. Гриффин относит следующие:

- культ личности (возвеличивание лидера, вождя), сочетаемый с
- харизматическим, ритуальным, театральным стилем политики;
- парамилитаризм, акцентирующий молодёжные движения, власть и моральные достоинства армии;
- масштабные собрания, шествия, стремление демонстрировать единство;
- шовинизм;
- антисемитизм и евгеника;
- корпоративная экономика.

В числе новых понятий фиксируются: проблемы генной инженерии, абортов, иммиграции, экологии и т. д.

Таким образом, концептуальная модель фашизма, разработанная Роджером Гриффином и уточнённая в методологическом контексте идеологической морфологии Майкла Фридена, позволяет идентифицировать некоторую совокупность взглядов в качестве фашистских. Этот эвристический потенциал модели продемонстрировал сам Р. Гриффин, проанализировав идеологию итальянской партии «Национальный альянс» (Alleanza Nazionale) Джанфранко Фини [Griffin 1996].

Подводя итог, можно сказать следующее. Изложенная выше аргументация позволяет операционализировать основные понятия, которые выполняют роль индикаторов фашистской идеологии. Базовыми компонентами такой идеологии являются два концепта:

- радикальный ультранационализм;

- идея посткризисного революционного возрождения (палингенез).

Гораздо более вариативными являются смежные понятия:

- крайне негативное отношение к либеральному индивидуализму, космополитизму и моральной нейтральности;
- критическое отношение к консерватизму за его неприятие революционных изменений;
- «творческий нигилизм» как основа создания новой политической культуры;
- подчёркнутый антиэлитаризм;
- пренебрежительное отношение к личности, подчинение её интересов и ценностей интересам коллектива;
- поиск «третьего пути» между капитализмом и социализмом;
- акцент на действии, превознесение воли и мужских принципов героизма, милитаризма и дисциплины;
- мистицизм как основа культуры.

Менее значимыми представляются периферийные концепты, такие как:

- культ личности и вождистский принцип;
- ритуальный, театральный стиль политики;
- парамилитаризм, акцентирующий молодёжные движения, власть и моральные достоинства армии;
- масштабные собрания, шествия, стремление демонстрировать единство;
- шовинизм;
- антисемитизм, евгеника и др.

Можно сделать вывод, что перечисленные признаки могут быть положены в основу программы социологического исследования, с целью выявления профашистских настроений, способных эволюционировать в массовое фашистское движение. Однако для проведения подобного исследования в России необходимо адаптировать описанную модель к российским социально-культурным и политическим реалиям.

Концептуальная модель правого радикализма в постсоветской России

А.А. Галкин выделяет два основных идеологических течения в российском праворадикальном лагере: 1) западническое, подчеркивающее свою принадлежность международному фашизму; и 2) почвенническое, избегающее идентификации с фашизмом и акцентирующее идею самобытного развития России. Именно второе течение А.А. Галкин полагает наиболее опасным, поскольку оно не подражает прошлому, но пытается находить новые формы воплощения фашистских идей, с учётом современной политической проблематики [Галкин 1995: 14]. Кстати, Р. Гриффин выделяет два аналогичных течения правого радикализма в посткоммунистической России [Гриффин 2007: 241].

Охарактеризуем теперь подробнее концептуальную структуру отечественного правого радикализма.

1. Базовые концепты.

1.1. Радикальный ультранационализм. Нация рассматривается как высшая реальность и ценность, которая нуждается в защите и развитии. К одной из ключевых идеологем, которые специфицируют почвенническое (в терминологии А.А. Галкина) направление русского фашизма можно отнести следующую: «русская нация» чаще всего рассматривается не в примордиалистском смысле (хотя встречается и примордиалистская трактовка), но в культурно-цивилизационном[9]. Объяснить это можно нередко встречающимся парадоксальным сочета-

[9] Важно отметить, что речь не идёт о конструктивистском смысле «гражданской нации»!

нием идей нации и империи, позволяющим экспансионистские устремления. Поэтому цивилизационная идентичность легко сочетается с понятиями: территория, язык, история, традиции, мироощущение и культура. Надо признать, что такая трактовка нации позволяет включить неславянские народы России в понятие «русского народа»[10].

Характерно то, что речь идёт о «трёх ветвях Русского народа» — «великороссах», «малороссах» и «белорусах». При этом любая попытка одной из «братских» ветвей обрести собственную идентичность рассматривается как *предательство*, отступничество от «общей Судьбы»[11]. Для «почвенников» характерно также стремление отмежеваться от европейского фашизма, обосновать уникальный «Третий путь», который имеет не социально-экономические (как в европейских версиях фашизма), но культурно-цивилизационные основания. Нередко в качестве таких оснований выступает православие[12]. Довольно часто также встречается резко негативное отношение к понятиям «россияне» и «советский народ».

Внутренними врагами нации являются иммигранты, мусульмане, кавказцы, левые политические силы, либералы, представители нетрадиционной сексуальной ориентации и др. меньшинств, евреи («понаехавшие», «чурки», «чернож…пые», «обезьяны», «национал-предатели», «пятая колонна», «либерасты», «гомосеки», «жиды» и т. д.). К *внешним врагам нации* относятся: США, страны Европы («Запад»), НАТО, страны Азии, «масоны», «мировое еврейство», «мировое правительство», Украина («пендосы», «гейропейцы», «узкоглазые», «мировая олигархия», «каклы», «бендеровцы» и др.). В качестве *истоков и причин кризиса* в России нередко называются: СССР и «коммуняки»[13], хотя к Сталину нередко отношение позитивное[14]; либералы-реформаторы 90-х гг. («продажные либерасты, плясавшие под дудку пендосов и целенаправленно уничтожавшие русский народ»); иммигранты, кавказцы[15]; внутренние враги.

Можно предположить, что проблематизация тех или иных аспектов национальной идентичности и «врагов нации» зависит от источников социальной напряжённости, характерных для региона. Так, для правых радикалов Юга России, скорее всего, более актуальной будет «проблемы кавказцев, мусульман и либерастов», чем евреев, католиков и «коммуняк». По сути, об этом же говорит и А.А. Галкин, когда предупреждает, что «почвеннический» фашизм в России наиболее опасен по той причине, что он не будет копировать проблематику европейского фашизма, но «будет современным», т. е. сможет найти новые формы воплощения фашистской идеологии, в которых будут выражаться актуальные проблемы.

1.2. Идея посткризисного революционного возрождения (палингенез). К идеологемам, связанным с этим концептом, можно отнести обеспечение «количественного и качественного роста русской нации», возрождение «*Великой России*» (иногда в расовом аспекте: «Белой Расы»), *воссоединение* «искусственно разделённого русского народа» (великороссов, малороссов и белорусов), реализация «*демографического* потенциала русского народа». В качестве иллюстрации можно сослаться на идеологию «Национал-патриотов России» (НПР): национал-патриотизм, согласно его сторонникам, приобретает своё значение во «времена упад-

[10] Не следует забывать, что далеко не все националисты с этим согласны, разделяя народы России на «коренные» и «некоренные»; особенно «проблемными» для них являются кавказцы.

[11] Любопытно, что эта тема играет крайне важную роль в российско-украинском конфликте 2013–14 гг.

[12] В этом случае наблюдается отрицательное отношение ко всем группам «неправославных», включая католиков (особенно поляков), протестантов и мусульман. Похоже, что к буддистам отношение, в основном, безразличное.

[13] Видимо, по причине идеологии интернационализма.

[14] Объясняется это тем, что Сталин, якобы, отстаивал национальные интересы и «очищал» нацию от предателей.

[15] Любопытно, что в данном случае дело заключается не столько в экономических последствиях миграции (в том, что иммигранты занимают рабочие места), но в цивилизационной и/или расовой чистоте, которую эти иммигранты, якобы, нарушают.

ка, разрухи и деградации»; именно это состояние переживает в данный момент «русская нация», что объясняется её разобщённостью и раздробленностью. Поэтому одной из главных задач НПР провозглашается «сплочение нации для возрождения мира в России и духа русского народа»[16].

Политические формы «возрождения России» весьма разнообразны. Здесь и «имперцы» с идеей «возрождения России через возрождение Империи», и сторонники возрождения «православного государства», и монархисты, «возрождающие самодержавие», и борцы за «народный суверенитет», «возрождающие местное самоуправление». Обращает на себя внимание довольно частая апелляция к местному самоуправлению, *земству*. Похоже, что это можно рассматривать в качестве отличия от европейского фашизма, который чаще всего был этатистски ориентирован. Русские праворадикалы тоже много говорят о «Русском государстве», но при этом не отрицают «демократию»[17], парламент и партии, и ностальгируют по земским традициям самоуправления. Впрочем, несмотря на разнообразие взглядов на политическое устройство «возрождённой России», для многих праворадикалов общей ценностью является *территория*. Поэтому, наверное, те или иные формы *империализма* можно считать одной из специфицирующих русский фашизм характеристик. Кроме того, для русских праворадикалов характерны *мессианские* претензии.

С европейским фашизмом отечественных праворадикалов сближает частое употребление биологических аналогий, метафор и т. д. (власть в России «больна», государство нужно «лечить», «элиты разложились», нация «растёт» и «расцветает», «великорусский ствол», «ветви Русского народа» и т. д.).

2. Смежные концепты.

2.1. Антилиберализм. Либерализм рассматриваются как одна из главных причин упадка и деградации современной России, оказавшейся в «глубочайшем системном кризисе, в который её загнали безответственные экспериментаторы». Вместо «либеральной разнузданности», с которой прочно ассоциируются геи, «жиды», гедонизм, культ денег и т. д., провозглашается служение нации, идеалы мужественности. Правовое государство и конституционные процедуры отрицаются в пользу «естественных человеческих прав» на основе традиций.

2.2. Антиконсерватизм также как и в европейских версиях правого радикализма, связан с идеологемами революции, преодоления сложившегося порядка в ситуации кризиса, подчёркнутым антиэлитаризмом.

2.3. «*Творческий нигилизм*» преломляется в виде презрительного отрицания массовой культуры и сочетается с опорой на насилие как средство очищения нации.

2.4. Антиматериализм и антирационализм в российском контексте конкретизируются в идеологемах: «духовная суверенность» России, православие (как «изначально культурообразующая религия»), культурная самобытность России, представление о России как русской традиции-цивилизации, идеалы «социальной правды», симфония светской и церковной власти.

2.5. Холизм находит своё выражение в постулировании традиций общинности и соборности, организмических аналогиях («Нация — это самовозрастающий, способный к сверхплеменной солидарности социальный организм»), провозглашении триединства личности, нации и государства.

2.6. Маскулинность проявляется в культе армии, спорта, здоровья, семьи, национализма и мужественности, самоотверженного служения нации и государству и нации.

---

[16] Официальный Интернет-портал общественной организации «Национал-патриоты России» (НПР), раздел «Идеология». Доступ: http://www.slavrus.net/cs/5/1/. Проверено: 05.10.2014 г.

[17] Правда, в специфическом, неинституциональном понимании.

2.7. Поиск «Третьего пути». В отличие от западных версий фашизма, в которых «третий путь» имел экономическое измерение и полагался между капитализмом и социализмом, в России эта идеологема нередко приобретает экзистенциальный, культурно-цивилизационный характер — как самобытный путь между «Западом» и «Востоком».

2.8. Мистицизм как основа культуры мало чем отличается от западных течений правого радикализма.

2.9. Империализм выражается в популярных геополитических конструкциях, среди которых нередко встречаются идеи «возвращения русским народом утраченных» (во время кризиса) геополитических позиций.

3. Периферийные концепты.

3.1. Культ личности и вождистский принцип не характерен для почвеннической версии фашизма (если и проявляется, то в возвеличивании Сталина)[18].

3.2. Ритуальный, *театральный стиль* политики («русские марши» и т. д.).

3.3. Парамилитаризм (полувоенный характер молодёжных организаций и движений, высокий моральный авторитет армии).

3.4. Масштабные собрания, шествия, *стремление демонстрировать единство*.

3.5. Шовинизм проявляется как по отношению к внутренним «врагам» (кавказцам, иммигрантам, «пятой колонне» и т. д.), так и к внешним (к «пендосам», «гейропейцам», украинцам и т. д.).

3.6. Антисемитизм зависит от трактовки «русской нации». Хотя в целом свойственен почвенническому фашизму.

3.7. Корпоративизм в экономике не столь значим, как в европейском фашизме.

* * *

В заключение заметим, что идентификация структуры праворадикальных идеологий — как бы она ни была сама по себе важна — ещё не позволяет выносить решение о праворадикальном статусе какой-то конкретной политической организации. Чтобы решить этот вопрос правильно, необходим более дифференцированный подход. Так, в западной литературе различают между праворадикальной субкультурой, праворадикальным движением и праворадикальными партиями [Merkl 2003: 4–5]. Но прежде всего, надо отличать фактическое дискурсивное поведение соответствующего политического актора от его идеологической самооценки. В противном случае можно фатально недооценить момент политического (само-)инсценирования. Так, немецкий политолог Т. Байхельт толкует «революционный экспансионизм» (выражение А. Умланда) партии Жириновского буквально в духе правого радикализма. По его словам, националистическая идеология ЛДПР «соединена со значительным элементом фашизма, когда предполагаемое умиротворение „Юга“ методами империалистической политики рассматривается не только как расширение внешней мощи России, но также как средство её духовного возрождения» [Beichelt 2009: 517]. Однако для любого человека, понимающего реальный (коммерческо-шутовской) характер дискурсивного поведения ЛДПР, неадекватность такого суждения очевидна. Этот пример показывает, что без учета всей широты дискурсивного и социального контекста идентификация праворадикальных политических акторов вряд ли возможна. Ведь в этом контексте праворадикальные идеи — при всей грозности своей изолированной трактовки — часто оказываются лишь «своего рода валютой, используемой в торговле позициями» [Вердери 2002: 302].

[18] В этом контексте интересно отношение российских правых радикалов к В.В. Путину: оно варьируется от резко отрицательного до весьма прохладного. Судя по всему, В.В. Путина они считают «слишком европейским политиком», чуждым идей «возрождения величия русской нации».

Агурский М. 2003. *Идеология национал-большевизма*. — М.: Алгоритм. — 320 с. (См. также: http://propagandahistory.ru/books/Mikhail-Agurskiy_Ideologiya-natsional-bolshevizma/. — Проверено: 05.10.2014).

Вейсман А.Д. 1991. *Греческо-русский словарь*. Репринт 5-го изд. 1899 г. — М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина. — 1370 с.

Вердери К. 2002. Куда идут «нация» и «национализм»? — *Нации и национализм*. М.: Праксис. — С. 297–307.

Галкин А.А. 1989. *Германский фашизм*. — М.: Наука. — 352 с.

Галкин А.А. 1995. О фашизме — его сущности, корнях, признаках и формах проявления. — *Полис (Политические исследования)*. — № 2. — С. 6–15.

Галкин А.А., Рахшмир П.Ю. 1987. *Консерватизм в прошлом и настоящем*. — М.: Наука. — 192 с. (См. также: http://propagandahistory.ru/books/Galkin-A--A---Rakhshmir-P--YU_Konservatizm-v-proshlom-i-nastoyashchem/. — Проверено: 05.10.2014).

Гриффин Р. 2007. От слизевиков к ризоме: введение в теорию группускулярной правой. — *Верхи и низы русского национализма: (сб. статей)*. / Верховский А. (сост.). — М.: Центр «Сова». — С. 223–254.

Соссюр Ф. де. 1998. *Курс общей лингвистики*. — М.: Логос. — 296 с.

Умланд А. 2003. Современные концепции фашизма в России и на Западе. — *Неприкосновенный запас*. — № 5(31). — С. 1–10.

Устрялов Н.В. *Национал-большевизм*. — М.: ЭКСМО, 2003. — 656 с.

Beichelt T. 2009. Two variants of the Russian radical right: Imperial and social nationalism. — *Communist and Post-Communist Studies*. — Vol. 42. — № 4. — P. 505–526.

Eatwell R. 1996. On Defining the “Fascist Minimum”: The Centrality of Ideology. — *Journal of Political Ideologies*. — Vol. 1. — № 3. — P. 303–319.

Freeden M. 1994. *Political Concepts and Ideological Morphology*. — Vol. 2. — № 2. — P. 140–164.

Freeden M. 2006. *Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach*. — Oxford: Oxford University Press. — 592 p.

Griffin R. 1993. *The Nature of Fascism*. — London & New York: Routledge. — 251 p.

Griffin R. 1996. The “Post-Fascism” of the Alleanza Nazionale: A Case Study in Ideological Morphology. — *Journal of Political Ideologies*. — Vol. 1. — № 2. — P. 123–145.

Griffin R. 2008. *A Fascist Century: Essays by Roger Griffin*. — Basingstoke: Palgrave Macmillan. — 270 p.

Hilliard R.L., Keith M.C. 1999. *Waves of Rancor: Tuning in the Radical Right*. — Armonk, New York: M.E. Sharpe Inc. — 309 p.

Merkl P. 2003. Introduction. — *Right-wing extremism in the twenty-first century* / P. Merkl, L. Weinberg (ed.). 2nd ed. — London: Frank Cass Publishers. — P. 1–17.

Payne S.G. 1995. *A History of Fascism, 1914–1945*. — London: Routledge. — 632 p.

Sauermann U. 1985. *Ernst Niekisch und der revolutionäre Nationalismus*. — München: Bibliotheksdienst Angerer. — 458 s.

Steele E.J. 2004. *Defensive Racism: An Unapologetic Examination of Racial Differences*. — Sagle, ID: ProPer Press. — 376 p.

Taguieff P.-A. 1990. The New Cultural Racism in France. — *Telos*. — Spring. — № 83. — P. 109–122.

Полицейское общество

СОВЕТСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ КАК ПОЛИЦЕЙСКАЯ НАУКА[1]

А.Ф. Филиппов
Национальный исследовательский университет — Высшая школа экономики

Аннотация: *В статье исследуется советская социология 1960-х – начала 1970-х гг. с точки зрения «полицейской науки» — управленчески-экспертной системы полицейского государства. По мнению автора, социология в СССР не могла быть ориентированной на решение фундаментальных теоретических проблем, поскольку эту функцию сохраняла за собой идеологической бюрократия. Поэтому главной задачей советской социологии стал поиск эффективных методов управления, получение знаний о регуляции поведения, трансформации мотивов и распределении стимулов для достижения общего блага в бюрократическом, социально-полицейском государстве.*

Ключевые слова: *полицейское государство, полициирование, общественное благо, советская социология, семидесятые.*

I.

Эта работа возникла в результате стечения обстоятельств, позволивших мне возобновить работу над старой темой с новых позиций. Немногим менее четверти века назад я собирался написать книгу о советской социологии, небольшую и преимущественно теоретическую, посвящённую разбору некоторых дискуссий, актуальных тогда для нашей науки. Книга не получилась, а статья, вышедшая в 1993 г., отразила состояние умов, ещё не остывших после Перестройки, и мои собственные попытки понять происходящее в терминах распада империи [Filippov 1993]. Самым главным результатом своей работы я считал идентификацию советской социологии как имперской, то есть принципиально соотносящей все свои высказывания с тем большим политическим пространством, которым был Советский Союз и его союзники [см. подробнее: Филиппов 1992]. Я держусь этой точки зрения и до сих пор. Однако тогда я не сумел увидеть самое главное: функциональное место советской социологии. Без этого постановки проблем, исследования и дискуссии оказывались совершенно непонятными. Разумеется, в социологии была идеологическая составляющая, а полностью разделить идеологию и собственно исследовательскую работу очень трудно, если вообще возможно. Но

[1] В статье использованы результаты проекта «Полицейский порядок и ситуативная солидарность: динамика взаимодействия и трансформаций», выполненного в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2013 году.

работы советских социологов отнюдь не сводились к повторению и уточнению формул, придуманных профессиональными идеологами, да и создавать социологию, развивать её только для того, чтобы получать на выходе ту же самую идеологическую продукцию, было бы бессмысленным предприятием. Несмотря на то, что угроза включить социологию в сугубо идеологическое производство существовала всегда, она занимала важное место в конструкции экспертного знания советской эпохи. Социология в СССР сформировалась под влиянием и постоянно испытывала влияние мировой социологии[2]. Разобраться в её устройстве значит отчасти лучше понять Советский Союз того времени, но и наоборот: не понимая, что собой представлял СССР в последние десятилетия своего существования, трудно понять его социологию.

Советская социология, строго говоря, никуда не исчезла и до сих. Живы и, к счастью, продолжают писать многие из тех, кто создавал её полвека назад, не говоря уже о следующих поколениях. В первую очередь, благодаря этому в ретроспективных описаниях её истории господствует (хотя и не является единственным) нарратив «борьбы учёных во имя науки против идеологического контроля». Несмотря на то, что каждое такое описание заслуживает анализа и уточнений, опровержение или дискредитация этого нарратива были бы делом неблагодарным. Вопрос должен ставиться иначе. Не в том дело, сколько науки было в советской социологии, *что* она смогла отвоевать как область свободы от идеологической бюрократии. Дело в том, *что это была за наука*, так или иначе нашедшая своё место в системе общественных наук СССР. Конечно, такая постановка вопроса заведомо предполагает, что речь идёт о некотором единстве, а этот тезис сам по себе был бы не бесспорен. Однако столь масштабная задача здесь и не ставится. Речь идёт лишь о том, чтобы расширить горизонт тематизации *самоописаний* советской социологии, показать в новом свете давно известное и, путём не испробованных ранее аналогий и сравнений, подойти к обретению новых возможностей интерпретации.

Мне кажется осмысленным провести аналогию между советской социологией и *полицейской наукой* в том особом понимании, смысл которого будет раскрыт ниже. Это касается и её функционального места, и отношения к другим обществоведческим дисциплинам, и, что очень важно, самопонимания, которое было свойственно, конечно, далеко не всем, но весьма многим её представителям. Сразу хочу заметить, что в понятие «полицейская наука» я не вкладываю никаких оценочных характеристик. В данном случае «полицейская наука» — это управленчески-экспертная система полицейского государства. Понятие полицейского государства, конечно, тоже нуждается в уточнении и предварительно определяется как система бюрократического управления, использующего монопольное право на насилие для осуществления административных решений, нацеленных на достижение блага и основанных на оценке ситуации и объективной необходимости, а не на длительной, опосредованной правилами и правом, процедуре с неопределённым результатом. СССР последних десятилетий своего существования более всего напоминает в этом смысле полицейское государство, а идея научного управления — полицейскую науку. Социология и является (одной из таких) полицейских наук. Борьба за признание социологии в советские времена — это борьба не только с идеологией, но и с другими управленческими дисциплинами за место в системе экспертного знания.

[2] История советской социологии неплохо документирована и постоянно пополняется новыми исследованиями. См., прежде всего: Батыгин 1999; Фирсов 2012.

II.

Это основное положение я хотел бы представить в виде нескольких простых тезисов, положенных в основу данной статьи. Я попытаюсь развить и частично проиллюстрировать их, однако ими не исчерпывается то, что в этой связи можно было бы сказать о предмете. Иллюстрации суть не более, чем иллюстрации, частные примеры, которые могут быть умножены, но которым — я отдаю себе в этом отчет — могут быть противопоставлены другие примеры. Речь идёт о возможном, но не единственно возможном способе интерпретации одного и того же материала. Тезисы эти таковы.

1. Советский Союз на том отрезке его истории, когда была институционализирована и развивалась социология, был полицейским государством. Точнее было бы назвать его социально-полицейским, однако этот последний термин не конвенциональный, я буду использовать его лишь время от времени, для более точного выражения некоторых мыслей.
2. Как государство Советский Союз был континентальной империей, то есть большим политическим пространством, смысл которого, как фон и горизонт, в более или менее явной форме присутствовал во всех действиях и коммуникациях, совершавшихся на его территории.
3. В течение нескольких десятилетий Советский Союз был *тоталитарным* режимом, и хотя родовые черты тотального господства сохранялись в его устройстве до самого конца, появление социологии как науки практически совпало по времени с его трансформацией[3], заключавшейся в изменении форм, способов и объемов контроля.
4. Социология была задумана как *полезная.* Она была нужна для того, чтобы обеспечить на деле декларируемое идеологами научное управление обществом. Однако стиль социологии как науки мог быть, по большей части, только импортирован.
5. Социология была нужна как эмпирическая наука, но эмпирическое неотделимо от постановки исследовательской задачи, а исследовательские задачи формулируются на языке, который обоснован далеко не эмпирически и может быть в некоторых (но не всех) отношениях плохо совместим с языком господствующей идеологии, обладающим своей внутренней консистентностью.
6. В самом общем виде то решение относительно позиции социологии в советском обществе, которое не просто было навязано сверху, но получено в результате далеко не однонаправленных усилий бюрократов, идеологов и обществоведов, можно охарактеризовать в двух словах как «полицейскую науку».
7. «Полицейская наука» — это не уничижительная характеристика. Речь идёт отнюдь не об оправдании или техническом совершенствовании политического контроля, политической полиции и т. п. *Такая* — «тайно-полицейская» — социология в СССР тоже существовала, но её история — отдельная тема. Мы же будем говорить о том, что дают нам аналогии между социологией и той дисциплиной (или группой дисциплин), которая возникла некогда в Европе как область наук об управлении страной, находящейся под централизованным господством, не опирающемся на правовые процедуры как основной принцип[4].

[3] Движение в сторону создания в стране социологии начинается, как свидетельствуют историки, через несколько лет после смерти Сталина, однако ключевые события происходят лишь в конце 50-х гг.: идеологические сановники отправляются на Запад для участия в социологических конгрессах, в Москве в 1958 г. проходит Международное совещание социологов по вопросу о мирном сосуществовании. Однако до институционализации советской социологии ещё далеко.

8. Уподобление социологии полицейской науке не означает *отсталости*. Скорее речь может идти об очень сложном процессе, в ходе которого некоторые старые и кажущиеся изжитыми феномены обретают не только новую жизнь, но и новый вид, какого они не могли бы иметь в прошлом.
9. Социология в СССР не была однородной и не была всё время одной и той же. Тезис о том, что она была полицейской наукой, поневоле огрубляет ситуацию. Разумеется, это высказывание имеет смысл лишь применительно к институционализированной социологии, однако к борьбе школ внутри неё оно не имеет никакого отношения. Всё остальное надо доказывать через анализ документов, не исключая с самого начала, что часть из них будет свидетельствовать не в пользу, а против выдвинутой гипотезы.

Я начну с самой сжатой характеристики полицейской науки и сопоставления её с социологией на разных этапах существования последней. Затем я приведу несколько положений из работ советских социологов, которые могут подтвердить мою точку зрения. Более доказательное и подробное развитие её я оставляю для последующих, обширных работ.

III.

История полиции столь же стара, как история государства. Это суждение может показаться очевидным, но очевидность обманчива, а суждение двусмысленно. Политические образования разного рода, которые мы привычно именуем государствами, действительно существуют издавна, но государство в современном понимании — феномен не столь уж древний. То же самое относится и к полиции. Одно дело — те или иные средства принуждения к порядку, другое — регулярные полицейские силы. Первые известны с древности, вторые относительно новы. Дополнительную путаницу может внести ещё и то, что слово «полиция» появляется раньше, чем возникают эти регулярные силы, но при этом означает оно не столько органы государственного принуждения, сколько сам порядок как таковой, причём взятый во всей совокупности, как строй социальной жизни. За последние тридцать лет, благодаря многочисленным исследованиям, посвященным полиции[5], старое немецкое выражение для обозначения такого строя «gute Ordnung und Policey» — «добрый порядок и полиция» — стало широко известным, а выдержки из документов, относящих к полиции общественную гигиену и добронравие, мало-помалу теряют свою экзотичность даже в глазах широкого круга читателей [см., напр.: Neocleous 2002. Police and… 2008]. Наверное, в нашей стране и специальных разысканий не требовалось, чтобы вспомнить русскую историю. Изданный Екатериной Второй «Устав благочиния, или полицейский» называется так потому, что в светском (нецерковном) смысле слова благочиние (полиция) как раз и есть тот самый «добрый порядок».

В это время в самом распространённом понимании полиция всё ещё остается скорее синонимом совокупного управления социальной жизнью, чем названием одних только регулярных сил принуждения и охраны порядка, новейшую историю которых принято отсчитывать с конца XVII в. «Полиция в старых немецких государствах означала, прежде всего, помощь; а для осуществления на деле этой помощи, — прежде всего, в эпоху после тридцатилетней войны, когда началось становление современной политики, — не было нужды вообще ни в

[4] О различии принципов управления в полицейском и правовом государства см.: Luhmann 1973: 88–106. Целевое программирование решений в полицейском государстве, говорит Луман, предполагает возможность политического (обусловленного целесообразностью) вмешательства на уровне отдельных решений, в то время как в правовом государстве программирование *кондициональное*: воздействие идёт через изменение правовых процедур.

[5] См., прежде всего, лекции Мишеля Фуко, центральное место среди которых в нашем случае занимает курс «Безпасность, территория, население» [Foucault 2007]. Существующий русский перевод трудно рекомендовать ввиду существенных ошибок в передаче терминологии.

каком принуждении. Кроме того, не следует упускать из виду этический характер заботы о благополучии и в политической теории просвещённого абсолютизма.… Как «принуждение» полиция выступает лишь на фоне автономии индивида и ставшего совершенно самостоятельным гражданского общества…» [Meier 2009: 325]. При том именно в XVII–XVIII вв. получает развитие *наука о полиции* или *наука полиции*, целью которой является отыскание наилучших средств для государственного управления хозяйственной и моральной областями жизни ради всеобщего блага. Она, писал знаменитый немецкий полицеист фон Юсти, «состоит в познании того, как из наличного состояния общественной жизни (gemeinen Wesens) вывести разумные меры для сохранения и преумножения совокупного достояния государства в его внутренней конституции, а также делать оное достояние, как в целом, так и в отдельных частях его всё более пригодным и полезным для счастья и благоденствия общественного» [Justi 1782: 9]. Хорошая, счастливая жизнь отдельного человека немыслима без хорошей, счастливой жизни сообщества, а полиция блюдёт в первую очередь нравственное состояние подданных, а затем уже заботится об их гражданском состоянии (способности подданных быть полезными членами общества) и о предотвращении несправедливости и злобы [Ibid.: 14]. Юсти «пропагандирует набор государственных мероприятий, центр тяжести которых смещается от набора запретов в старых полицейских порядках к комбинации стимулирования, поддержки и гарантий безопасности» [Stolleis 1988: 381]. В общем, как говорил М. Фуко, суммируя свои впечатления от трактатов о полицейской науке, речь идёт о *безграничной регуляции поведения подданных*, именно в этом суть полицейского управления [Foucault 2008: 7–8].

Задача способствовать устроению общественной жизни для преумножения достояния государства и всеобщего счастья формулировалась в контексте *камерализма* — скорее комплекса прикладных дисциплин, нежели отдельной науки, — которые в ретроспективе иногда слишком узко рассматриваются как сугубо экономические[6]. В Германии камерализм и полицейская наука составляли единую полицейски-камералистскую программу [Wakefield 2009: 74][7]. Несомненно, камералисты плотно занимались экономическими вопросами, но только в связи с вопросами более общего рода. Вот, например, несколько пунктов из программы раннего немецкого камералиста Ф.Л. фон Зеккендорфа, который предлагал, чтобы поданные не испытывали нужды ни в чем жизненно необходимом, уделять внимание: 1. Фундаментальному обеспечению, под которым он понимал воспитание молодежи; 2. Производству жизненно необходимых продуктов; 3. Равномерной поддержке всякого рода простых занятий, например, подённой работе; 4. Регуляции цен, отмене ростовщичества, упорядочению мер и весов; 5. Регулированию расходов на празднества и наряды; 6. Ограничениям на пользование иностранными товарами, вроде одежды и пищи; 7. Борьбе с паразитическими группами: игроками, фокусниками, мошенниками; 8. Справедливому управлению доходной собственностью общин [Small 2001: 82][8]. Добрые намерения, добрые нравы, содействие верховной власти в установлении «хорошей полиции» через соответствующие законы учреждения — характерные черты камералистского проекта, инициаторы которого предлагали разные способы централизованной социально-экономической и нравственной регуляции в своих землях. Достижение общего блага через благо отдельных элементов общества, ориентация на особый

[6] А. Смолл ещё сто лет назад указывал на узость такого понимания. См.: «Пусть это прозвучит парадоксально, но камерализм теорией и практикой не экономики, но политики. … Камерализм … не поднимал никаких фундаментальных вопросов чистой экономики. Он был в первую очередь теорией и техникой правления. … Государство было главным. Камералисты были служителями государства» [Small 2001: 19, 20].

[7] Практика камерализма, утверждает Уэйкфилд, совсем не походила на теорию. В теории был отрегулированный порядок. На практике — ложь, обман, охота за доходными позициями в преподавании и управлении.

[8] Всего в программе Зеккендорфа было 12 пунктов, я свёл вместе некоторые из них для удобства изложения.

характер отдельных общественных групп, координация действий этих групп — вот что находится в центре внимания.

Не теоретический, но практический характер полицейской науки не означал отсутствия амбиций. Однако и амбиции были практического свойства. Камералисты обещали успехи и процветание. В конце концов, отсутствие того и другого стало слишком заметным! Камералистский проект провалился, а идеология полицейского государства уступила место идеологии государства правового. Между тем, развитие социального знания идёт своим чередом. Полицеистика, даже та, что сохранилась после краха камерализма, отступает на задний план. В разных странах судьба её складывалась по-разному. Россия первоначально ориентируется на европейские образцы, по большей части французские и немецкие. Во Франции век полицейской науки оказался короче, чем в Германии, но и в Германии она полностью выдыхается к середине XIX в. (на чём история, правда, не кончается)[9]. Причины этого разнообразны и лежат по большей части не в научной плоскости. Полицейская наука не выполняет главного обещания. Ведь она ориентирована не на получение нового знания как такового, а на выработку методов эффективного управления. Но в части экономической бюрократическое управление со стороны центральной власти уже сильно дискредитировано, а то, что мы бы назвали социальным управлением, превращается в полицейский контроль в смысле принуждения и репрессии. Противостояние революциям оказывается насущной полицейской задачей, а гармонизация отношений между устойчивыми, унаследованными с давних времён группами общества — совершенно неактуальной. Полиция перестаёт быть способом попечения и заботы и становится исключительно полицией безопасности, в том числе и политической. К этому времени интерес к ней в Европе исчерпан, вниманием просвещённой публики завладевают новые интеллектуальные предприятия, одним из которых является социология.

Социология исторически представляет проект, совершенно отличный от полицейской науки и прямо не связанный ни с ней, ни даже с её критикой. Социология — это новое *теоретическое знание*, автономное от политической практики. Она предлагается как новая наука об обществе, иначе говоря, всё прежнее объявлено ненаучным, донаучным. Во Франции она формируется (в противоположность социализму, предполагавшему революционное преобразование мира) как способ соединения порядка и прогресса на основании знания, которое позволяет видеть, чтобы предвидеть[10]. Она полезна, но пользу приносит лишь постольку, поскольку преследует теоретические цели. В Германии на смену полицейской науке приходит теоретическое «государствоведение» (Staatslehre), также противостоящее французскому социализму. Социология в точном смысле в Германии появляется сравнительно поздно, бюрократы её путают с социализмом, учение о государстве считается достаточным для разумного бюрократического управления. Так же обстоят дела и в России — с той только разницей, что всё там идёт с некоторым временным запозданием, а после Октябрьской революции, по мере укрепления нового государства, шансов у социологии остается всё меньше. После 1933 г. Германию за рубежом, особенно в либеральных Великобритании и США, стали всё чаще называть полицейским государством. Это же слово, ещё до того, как была придумана концепция тоталитаризма, прилепилось и к Советскому Союзу [Thomson 1950]. В либеральном мире почти совершенно забыли о полицейской науке и о самом изначальном смысле полицейского государства. Социология, как считалось, было не нужна и даже вредна для полицейского го-

[9] Несколько попыток сохранить полицейскую науку как науку правового государства делались в Германии в середин XIX в. В начале XX в. там же её попытались восстановить как науку о всеобщем администрировании. В России в середине XIX — начале XX вв. теоретики полицейского права рассматривали свою дисциплину в первую очередь как науку об управлении, основанном на результатах более частных дисциплин, в том числе социологии и экономики.

[10] «Порядок и прогресс», «видеть, чтобы предвидеть» — формулы Огюста Конта.

сударства. В самом деле. Социология представляла собой инстанцию истинного знания относительно устройства социальной жизни. Для тоталитарных режимов это было в принципе неприемлемо, причём в случае СССР это усугублялось тем обстоятельством, что высшие инстанции власти и научного знания совпадали по определению. Таким образом, социология как отдельная от официальной идеологии наука просто не могла существовать. Знание же было одновременно и фундаментальным (знанием о том, как на самом деле всё устроено) и технологичным (как всем этим управлять, чтобы получать необходимый эффект). Разумеется, весь тот огромный блок полицейского контроля, без которого немыслимо тоталитарное устройство, не мог быть публично описан и обоснован в «научной идеологии»[11]. Он был и даже после начала размывания тоталитаризма до самого завершения советской истории оставался тайной технологией власти, arcanum imperii, умолчание о котором бросало тень на все обществоведческие дисциплины. Однако даже и прочие части социального устройства не нуждались в публичном (доступном дискуссии и критике) описании, сколько-нибудь напоминающем язык конвенциональной социологии как академической дисциплины западных стран. Эти описания в свою очередь не были нужны, потому что социальная реальность считалась пластичной, поддающейся в любой момент целенаправленному действию с предсказуемым результатом. Со времён Вико было известно, что мы лучше всего знаем то, что создаём. Создавая и пересоздавая всё с нуля и обращая созданное в ничто, тоталитарная власть, по идее, не оставляла пространства тому, что невозможно пересоздать и, таким образом, познать в полной мере.

IV.

Всё это вещи хорошо известные, и тем более важно видеть, что произошло, когда социология в СССР всё-таки появилась. Социология 70-х гг. — это продолжение и развитие 60-х, в некотором роде (обусловлено как внешними, так и внутренними обстоятельствами) завершение того, что в 60-е было только намечено.

Начнем с очевидного. Размывание, трансформация контроля в более мягкие формы с середины 50-х гг. в СССР приводят — и не могут не привести — к появлению множества всё более неподконтрольных, непредсказуемых событий. Это и появление нового рода мотивов, точнее говоря, изменение самого *словаря мотивов*[12], увеличение горизонтальной мобильности, немыслимой в прежние годы, и многое другое в том же роде. Отказаться от ключевой идеи о том, что социальная реальность при коммунизме имеет целиком научно сконструированный и потому вполне прозрачный для конструкторов характер, было, разумеется, идеологически невозможно, но и потребность в знании о происходящем необходимо было учесть. Помимо разного рода ухищрений, представляющих в историческом плане большой интерес,

[11] Необходимость в получении дополнительных сведений, дать которые могла, помимо статистики и полицейских донесений, эмпирическая социология, в общем, осознавалась даже и в это время. История такого рода исследований при тоталитарных режимах является в данном случае, однако, побочной темой.

[12] См. более подробно: Фирсов 2008. См., в особенности, главу третью «От коллективного ослепления к индивидуальному прозрению». Возможно, одной из важнейших работ, зафиксировавших это изменение словаря мотивов стала — правда, уже несколько позже — знаменитая книга И.С. Кона «Социология личности». В самом начале книги Кон аккуратно, но твёрдо объясняет, что положение о сущности человека как совокупности общественных отношений, высказанное Марксом в «Тезисах о Фейербахе», имеет смысл лишь применительно к «родовому понятию» человека, но не к каждому человеку по отдельности. Разумеется, действия человека определяются его социальным положением и его интересами, носящими объективный характер. Но мотивы — другое дело. «*Мотив* обозначает субъективное отношение человека к своему поступку, сознательно поставленную цель, направляющую и объясняющую поведение. … Мотивы зависят как от особенностей индивида, так и от конкретной ситуации и могут быть противоречивыми и непоследовательными» [Кон 1967: 27]. Термин «ситуация» нам ещё встретится ниже.

но выводящих нас за пределы нашей темы, были сделаны также усилия по встраиванию принципиально эмпирической по характеру социологии в систему марксисткой идеологии.

Один из выходов был найден в знаменитой трёхчастной схеме, с большим или меньшим успехом просуществовавшей в социологии до конца советской власти и ставшей предметом длительных, хотя и не всегда продуктивных дискуссий. То, что дискуссии эти (время от времени прерывавшиеся утверждениями разных начальников о том, что вопрос давно решён и не нуждается в обсуждения) постоянно возобновлялись, имеет, конечно, характер симптоматический. Просуществовавшее несколько десятилетий сочетание советского истмата с импортированной социологией требовало всё новых усилий для сохранения его как содержательного, а не просто декларированного единства. Трёхчленная схема, скорее, не была целиком придумана на месте, но перекочевала к нам из западной социологии. Роберт Мертон ещё в конце 40-х гг. предложил сосредоточить основное внимание социологов не на общей теории, а на теориях «middle range». В те годы их начали у нас называть «теориями среднего значения», потом — «среднего ранга», а затем уже окончательно устоялось название «теории среднего уровня». Применительно к отечественной социологии часто говорили также о «специальных социологических теориях», но, в общем, существа дела это не меняло[13]. Известно было, что западным (буржуазным) учёным можно, как писал Ленин, доверять в специальных вопросах, но нельзя верить ни единому слову в общих. Но как раз специальные вопросы и рассматривались теориями среднего уровня! Это помогало решить часть вопросов импорта науки. Считалось, что есть высший этаж социологического знания — общая теория. Ниже располагаются специальные социологии, вроде социологии труда, науки, свободного времени и т. п. Ещё ниже — «эмпирические», или «прикладные» социологические исследования. На раннем этапе существования социологии в ходу было также понятие «конкретного исследования», и даже институт Академии наук, созданный в 1968 г., назывался Институтом конкретных социальных исследований (ИКСИ). Долгие споры о том, называть ли «конкретные исследования» социологическими или социальными, сводить ли конкретное к эмпирическому, не опасно ли намекать на абстрактный характер прочих исследований, заслуживают здесь не более чем беглого упоминания.

Задавая границы и формулируя задачи социологии, один из ведущих идеологов, академик АН СССР Ф.В. Константинов, в 1962 г. вошедший в состав исполкома Международной социологической ассоциации, писал: «Конкретные социологические исследования означают творческое применение марксизма как метода познания и объяснения новых социальных явлений и процессов, структуры и механизма действия законов общественного развития» [Константинов 1965: 29]. Именно исторический материализм был объявлен общей социологической теорией, что можно было, конечно, интерпретировать по-разному. В более благоприятных для науки случаях, речь могла идти о том, что (марксистско-ленинская) социология едина, и учёный, занимающийся работой с данными эмпирических исследований, в принципе, может дойти до высших уровней социального знания и внести свой вклад чуть ли не в исторический материализм. В менее благоприятных — о том, чтобы ставить интерпретацию социологических данных под контроль философов, хранителей истины истмата.

В период становления советской социологии, позиции были оформлены по-другому, не менее резко, но в каком-то смысле более рационально. Вот что говорил один из интеллектуальных лидеров тогдашней социологии Ю.А. Левада: «Попытки „пристегнуть“ эмпирические исследования общества к ряду данных, полученных иначе, — в рамках передовой исторической науки или передовой философии, или, в частности, социальной философии, — всегда оказываются чем-то искусственным и неудачным» [Левада 1969: 13]. Здесь, конечно, следует

[13] О подходе Мертона и его переосмыслении в советской марксистской социологии см.: Андреева 1970; Ядов 1972: 12–13.

обратить внимание на слова «передовая философия» и «социальная философия». Левада обособлял социологию от той социальной философии, которая официально признавалась в СССР высшим этажом социального знания. Дальнейший ход его мысли подтверждает это. «…Как и всякая эмпирическая, опытная, конкретная наука, социология имеет и свою теорию, строит свои гипотезы, в том числе и весьма абстрактные схемы (теперь говорят — модели) для изображения определённых сторон общественных процессов. Эта теория непосредственно опирается на систематическое наблюдение и эксперимент, проверяется ими, поэтому мы можем сказать, что это — эмпирическая теория» [там же: 20]. Теория чего? Можно было бы предполагать, что речь идёт о частной теории, основанной на систематических наблюдениях одной из сторон общественной жизни. Однако это не так. «В отличие от других общественных наук, социология рассматривает не отдельную сферу деятельности общества, а нечто более целостное: общественную жизнь как систему отношений и отдельные сферы как части этой структуры» [там же: 15]. Это значит, что социология, с одной стороны, автономная эмпирическая наука, а с другой — единственная наука, предметом которой может быть общество в целом, а не отдельные его сферы. Социологические теории отдельных областей социальной жизни не отменяют того, что и высший этаж социологического знания занят теорией, построенной на тех же принципах, что и теории среднего уровня. Эта точка зрения была несовместимой с официальной трактовкой трёхуровневой схемы.

Академик П.Н. Федосеев, куратор (с перерывом на несколько лет) в ранге вице-президента АН СССР всех социальных и гуманитарных наук страны с середины 60-х гг., практически одновременно с «Лекциями» Левады писал: «Мне представляется, что исторический материализм составляет теоретическое содержание социологии. Нет и не может быть социологии вне или над историческим материализмом. … Исторический материализм представляет общую теорию общественного процесса, определяющую основное направление социальных преобразований, а конкретные социологические исследования являются теми прикладными знаниями, через которые общая теория воздействует на практику и рекомендации которых непосредственно используются в повседневной практической деятельности» [Федосеев 1968: 8, 9]. Разумеется, между учёным и высокопоставленным аппаратчиком не могло быть собственно научной дискуссии. Характерной особенностью ситуации было и то, что постоянно маячило на горизонте как реальная возможность: *ultima ratio* идеологов были не аргументы, а насилие[14]. Однако, даже вне всякой возможной дискуссии, все, кто высказывался о структуре социологии, принадлежали, тем не менее, к одному дискурсивному порядку. Вопрос о том, как обращаться с фактами, которые могут быть — в принципе — столь упрямы, что опрокинут самую продвинутую теорию, основанную на «единственно верном» учении, должен был найти какое-то разрешение. «Опыт многих социологических исследований показывает, — писал один из отцов-основателей советской социологии Г.В. Осипов, — что, как бы ни была совершенна их методика, они оказываются безрезультатными и бесплодными, не имеют научного значения именно в силу пренебрежения общей теорией социального развития» [Осипов 1965а: 46]. Эти слова необходимо читать правильно, не столько в контексте мировых дискуссий о теории и эмпирии, сколько в контексте не прекращавшейся борьбы за социологию[15]. Признание социологической теории принципиально эмпирической, признание теории самостоятельной и первенствующей по отношению к фактам, утверждение о социологиче-

[14] «Лекции по социологии», как известно, обернулись для Левады многообразными репрессиями, в том числе увольнением из ИКСИ и многолетним запретом на публикации.

[15] В это время существовали также и в высшей степени изощрённые, усложняющие общую схему попытки соотнести факты и теории. Это в особенности хорошо удавалось специалистам по методологии исследований, акцентировавшим в большей мере то, *как* должно быть построено правильно исследование, нежели то, *что* оно, собственно, сможет получить в итоге. См. один из первых опытов такого рода: Андреева, Никитин 1965.

ской теории как теории социального развития позволяют, примерно, реконструировать точку зрения, согласно которой социологи, в общем, не отказывались от участия в идеологической работе, сосредоточивали внимание на тех областях истмата, которые допускали большую свободу толкования, а самое главное — позволяли формулировать теоретические основания эмпирических исследований. Именно поэтому формулы «Рабочей книги социолога», подготовленной в середине 70-х гг., звучат не просто догматически, но далеко не безобидно именно для социологов-эмпириков: «Представляя собой общую социологическую теорию, исторический материализм вместе с тем является методологией социального познания вообще, конкретного социологического исследования — в частности. … Теория научного коммунизма… есть незыблемая теоретическая основа социологических исследований любых явлений, процессов и сфер жизнедеятельности социалистического общества» [Рабочая книга социолога… 1976: 9, 11][16].

V.

Но что двигало социологами, кроме естественной для человека жажды познания? Обоснование необходимости социологии в их трудах представляет для нас особый интерес, именно здесь, как мне кажется, находится «исток и тайна советской социологии». «Конкретные социологические исследования, — пишут авторы некогда знаменитой, хотя и „спрятавшейся“ под нарочито скромным названием книги, — имеют не только теоретическое, но и непосредственно практическое значение, так как они способны внести полезные коррективы в различные сферы коммунистического строительства и тем самым ускорить темп общественного развития в целом. Но эти исследования могут иметь практическое значение лишь в том случае, если они основываются на правильной методологии и научно разработанной методике» [Осипов, Козырев и др. 1963: 17]. Очевидно, что здесь декларируется нечто большее, чем просто намерения. Речь идёт о том, что в реальности совершается некое развитие, что знание о развитии должно быть получено особым методом и что на основе этого знания в самоё развитие могут быть внесены коррективы. Но что ещё есть в реальности, кроме развития? *События и ситуации*, говорят авторы [там же: 18]. «Во взаимодействии с общей волей, действующей при социализме по единому плану, воли отдельных людей не оказываются равными нулю. Каждая воля участвует в формировании исторических событий» [там же: 19]. Ситуации могут складываться позитивно или негативно, и даже в «нашей жизни» бывают иногда конфликтные ситуации. Однако «для социалистического общества особенно характерно образование ситуаций положительного характера, в которых гармонически взаимодействует материальное и духовное, общественное и личное. Это прямой результат сознательного воздействия людей на развитие исторического процесса» [там же: 20].

Хорошим дополнением к этим рассуждениям может служить другой важный текст — написанное Г.В. Осиповым предисловие к переводной книге «Социология сегодня. Проблемы и перспективы» [Социология сегодня… 1965]. Такие тексты сегодня надо уметь читать. Они совсем не про то, как плоха западная социология по сравнению с марксизмом. Они — про наши проблемы и наши задачи, только сформулировано всё очень иносказательно и деликатно. Речь идёт, конечно, не о том, что влиятельные социологи были скрытыми агентами за-

[16] Разумеется, далее речь идёт и о специальных социологических теориях, и об эмпирических исследованиях. Однако следует обратить внимание и на то, что значительная часть текста посвящена изложению исторического материализма, в частности, концепции общественно-экономической формации. Так шла борьба. Социологи испытывали давление истматчиков и переносили свои усилия на их поле, объявляя истмат социологической теорией и методологией. Это, в свою очередь, вынуждало их вбирать темы и постановки проблем в истмате в свои собственные конструкции.

рубежной социологии. Однако, повествуя о её достижениях, они, несомненно, предполагали принести пользу социалистическому обществу в случаях, которые могли быть похожи на те, что считали проблемой западные коллеги. Буржуазная социология, пишет Осипов, в XIX в. развивалась в общем русле философии, не имела практического применения, обходилась без рассуждений об обществе и социальном прогрессе. Этот сомнительный, с точки зрения истории социологии, заход служит ему для того, чтобы противопоставить социологии XIX в. социологию века XX. В XX в. «перед социологией была поставлена задача разработки действенных средств поддержания и сохранения существующей системы капитализма. Теоретические исследования дополнились эмпирическими… . Проводя эмпирические исследования и выясняя настроения трудящихся, западные социологи разрабатывают систему практических мероприятий, которые позволяют затушевать и приглушить противоречия капиталистического общества» [Осипов 1965b: 6]. Это, продолжает автор, позволяет даже привести к временному «смягчению» (кавычки автора!) социальных противоречий [там же: 9]. Социология помогает сохранять группы, невзирая на конфликты, поддерживать их сплоченность, подчинять господству «государственной власти монополий» и т. п. Наиболее примечательно, между тем, что когда Осипов переходит к общей характеристике структурного функционализма (на позициях которого стояли авторы книги), критический пафос у него практически пропадает. Он говорит о том, что функционалисты характеризуют общество как систему, что проблемы, которые они рассматривают, действительно серьёзные научные проблемы. Сухо и внятно он объясняет, что солидарность, альтруизм, легитимность (в то время её ещё называли «законностью») институтов не выводятся непосредственно из общей культуры. Если члены общества и его групп разделяют одни и те же ценности и нормы, отсюда отнюдь не следует их лояльность институтам, склонность к альтруизму и готовность избегать конфликтов. Стоит лишь немного продолжить эту мысль автора, чтобы понять, *что* он старается донести до читателя. Заменим культуру на «идеологию» — и обнаружим, что не ставящаяся социологами (как и любым публикующимся в СССР автором) под сомнение приверженность советских людей коммунистической идее не гарантирует сама по себе мирных и лояльных отношений ни между собой, ни к государству. Это не данность, а проблема, о которой надо знать заранее и решать её при помощи социологии.

Посмотрим на дело с другой стороны. Например, уже в программной статье сборника «Количественные методы в социологических исследованиях», сыгравшем большую роль в становлении исследовательских программ советской социологии, А.Г. Аганбегян и В.Н. Шубкин, решительно связывали социологические исследования с народно-хозяйственным планированием и прогнозированием. Так, для планирования жилищного строительства в городах нужна информация и прогноз об изменениях состава семей на перспективу. Для налаживания торговли нужны сведения о потребительском поведении и т. п. «Каковы потребности различных социальных групп в разных районах страны? Как, под влиянием каких факторов и в каких направлениях эти потребности меняются? Какова величина спроса на различные товары? Каковы тенденции?» [Аганбегян, Шубкин 1964: 13]. Конечно, продолжают авторы, тут мы ступаем на зыбкую почву субъективного, но лучше уж так, чем никак, ведь «социалистическое и коммунистическое производство — не самоцель. Оно должно быть подчинено человеку с его потребностями» [там же: 14]. Другая проблема — это эффективное управление трудовыми ресурсами. Здесь тоже приходится вторгаться в область субъективного. А поскольку работать приходят люди с определённым образованием, приходится изучать не только трудовую мотивацию, но и ситуацию в образовании. «Поэтому нужно постоянно знать, кого готовить, какой уровень образования требуется для работы по данной профессии на перспективу, в какой мере нужны знания, которые получили выпускники, для практической работы, насколько эффективна данная форма обучения» [там же: 16]. Среди первостепенных задач авто-

ры указывают ещё движение населения, а также специально акцентируют планирование социальных изменений. «Объектом социального планирования являются общественные отношения. Поскольку человек есть продукт определённых общественных отношений, постольку социальное планирование включает в себя направленное изменение самого человека как через изменение его социальной среды, так и через воспитательную работу» [там же: 19]. Социология, по мысли авторов, нужна именно «сейчас, когда ставится задача создания огромной, охватывающей все отрасли и предприятия системы информации…» [там же: 22]. Несколько более сдержанно о задачах социологии пишет Г.В. Осипов: «…Первая основная социальная функция марксисткой социологии — конкретное исследование важнейших жизненных процессов и явлений; вторая — научно обоснованное воздействие на развитие общества; третья — разработка научных основ планирования социальных отношений; четвертая — всестороннее развитие человеческой личности» [Осипов 1965а: 52].

Мы видим здесь важную, постоянно акцентируемую тему: целенаправленное воздействие на общество является ключевой задачей социологии, работающей для управленческих институтов, партийных и государственных. Мотивы действующих людей представляют собой для социологов зону неопределённости. «Самое богатое и сложное социальное образование, наименее понятное и наиболее трудно управляемое — индивид; самое простое, легко предсказуемое и легче управляемое — общество на социетальном уровне» [Левада 1969: 55]. Несмотря на то общее, что производится через социальное положение, общую идеологию и прочее, унификации индивдов здесь нет и, по идее, не должно быть. В число декларируемых идеологических приоритетов советского общества входит всестороннее развитие личности. Но развитие означает более высокую индивидуализацию, а это, в свою очередь, означает неопределённость, причём не сущностную, как сказали бы тогдашние марксисты, а неопределённость на уровне конкретных ситуаций и конфигурации событий. Это является ещё одним аргументом в пользу массовых опросов[17].

Управленческий пафос социологов находит себе много приложений. Во всяком случае, они делают ставку не на простые решения, предполагающие примитивные формы контроля и репрессии. «Любое общество всегда — явно или скрыто, жестко или гибко — навязывает отдельным членам и группам свои ценности и нормы. Из этого не следует, что отдельный человек или группа всегда суть марионетки, и поэтому общество отвечает за их дела. Различие форм контроля весьма существенно» [Левада 1969: 77]. При этом одной из важнейших областей исследования, контроля и планирования оказывается *время*. Свободное время — это те немногие часы, когда человек не занят ни на производстве, ни перемещениями из дому на работу и обратно, не восстанавливает силы и т. п. Это время также должно быть сферой изучения, планирования, контроля, целенаправленного воздействия. Пожалуй, своеобразным апофеозом планирования является книга В.Н. Шубкина «Социологичекие опыты». Цель социального планирования, пишет Шубкин, — «решение конкретных социальных задач, достижение всё большей социальной однородности, обеспечение социального равенства и свободы, ликвидация препятствий, которые ещё мешают гармоническому развитию человека, сочетание интересов индивида с интересами коллектива, общества в целом» [Шубкин 1970: 40]. В ретроспективе это суждение кажется набором идеологических штампов и — кто знает — специально, быть может, сконструировано автором для защиты от цензоров. Однако внимательное чтение позволяет видеть в нём специфическое для перелома от 60-х к 70-м понимание задач социологии. «Свобода» и «гармоническое развитие» — это ещё наследие предыдущей эпохи. «Социальная однородность» — это лозунг текущего момента, одна из главных забот социологов 70-х – 80-х гг. Она возникает благодаря социальной мобильности (перемеще-

[17] Значение исследований общественного мнения постоянно подчеркивается в 60-е гг. В 70-е тема перестаёт быть центральной, зондажи общественного мнения производят закрытые социологические службы.

ниям индивидов между местами жительства и работы, изменениям в положении детей по сравнению со положением родителей и т. п.) и, в перспективе, становится настолько большой, что при коммунизме не будет уже никаких классов и слоев[18]. Но что остаётся неизменным, так это идея научного управления. Планирование и управление предполагает «конкретное познание общества» [Шубкин 1970: 43][19].

Таким образом, советская социология внятно определяет себя как дисциплину — при всех теоретических амбициях — конкретную, эмпирическую, прикладную. Она *полезна*. Польза её состоит в том, что она отслеживает массовые процессы, проистекающие из многообразия волений и действий, открывает, опираясь на статистку и опросы, «законы-тенденции» и создает ресурсы для целенаправленного преобразования того, что складывается «само собой», в целенаправленное развитие. При этом всём исследовательским предприятиям были положены внятные пределы. Определения основным целям развития давало партийное руководство. Их можно было в известных рамках интерпретировать, но не ставить под сомнение. Кроме того, само политическое устройство страны принималось как данность. Оно не могло быть не то что поставлено под сомнение, но просто не могло быть изучено как социальный факт. Деятельность отдельных институтов управления могла становиться объектом изучения[20] именно для того, чтобы управление было более эффективным, и такого рода исследования могли проводиться в интересах и по заказу партийных инстанций. Но сам способ устройства СССР как однопартийного режима с очень сложным переплетением административной и идеологической составляющих, при несомненном ни для кого огромном значении тайной полиции не мог, разумеется, становиться предметом обсуждения. Большими усилиями и с утверждениями о несомненной пользе научного управления социологи смогли выгородить для себя области[21], где сама допустимость научной, в том числе эмпирической работы не ставилась под сомнение. Конечным ориентиром для неё (в 60-е — более внятным, в 70-е и далее становившимся всё более пустой идеологической формулой) было *благо*[22].

Советская социология, по крайней мере, в некоторое время и в некоторой части была не столько теоретической, сколько практической дисциплиной, наукой о регуляции поведения, трансформации мотивов и распределении стимулов для достижения общего блага в бюрократическом, социально-полицейском государстве. В этом смысле она и была полицейской наукой. Её видение социального мира, её конструкции, её внутренние конфликты, успехи и неудачи, её связь с историей «социального государства»[23] требуют специального, многостороннего и куда более тщательного изучения. На этом пути мы сделали пока что лишь самые первые шаги.

[18] Ср. также: «…Управление процессом социальных перемещений, как и изменение социальной структуры вообще, представляет собой особую область управления обществом, со спецификой которой надо считаться. Если этими процессами не управлять со знанием дела, в том числе опираясь на конкретные исследования, в них могут получить преобладание стихийные моменты» [Руткевич, Филиппов 1970: 249].

[19] Собственно, планирование и прогнозирование — это центральная тема всей книги, особенно её первой главы.

[20] См., например: Подмарков 1973. Особенно главы I и IX (о социальном планировании на предприятиях).

[21] Последовательность их появления, значение тех или иных тенденций в западной социологии для их формирования, образование зон большей или меньшей свободы в отечественной социологии — всё это представляет отдельный исследовательский интерес.

[22] Известный слоган тех лет «Всё во имя человека, всё для блага человека» должен быть прочитан прежде всего философски.

[23] Подобно тому, как история камерализма связана с историей западного социального государства.

Аганбегян А.Г., Шубкин В.Н. 1964. Социологические исследования и количественные методы. — *Количественные методы в социологических исследованиях* / Под ред. А.Г. Аганбегяна. — Новосибирск.

Андреева Г.М. 1970. Марксистская социология и её задачи. — *О структуре марксистской социологической теории*. — М.: Издательство Московского университета. — С. 25–34.

Андреева Г.М., Никитин Е.П. 1965. Метод объяснения в социологии. — *Социология в СССР*. — М.: Мысль. — С. 124–144.

Батыгин Г.С. (ред.) 1999. *Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах*. — М.: РХГИ.

Кон И.С. 1967. *Социология личности*. — М.: Издательство политической литературы.

Филиппов А.Ф. 1992. Наблюдатель империи. — *Вопросы социологии*. — № 1. — С. 89–120.

Константинов Ф.В. 1965. Социологические исследования — исторический материализм в действии. — *Социальные исследования*. — М.: Наука.

Левада Ю.А. 1969. Лекции по социологии. — Научный совет АН СССР по проблемам конкретных социальных исследований. Советская социологическая Ассоциация. Институт конкретных социальных исследований. АН СССР. *Информационный бюллетень* № 6(21). М.

Осипов Г.В. 1965a. Основные черты и особенности марксистской социологии. — *Социология в СССР*. — М.: Мысль.

Осипов Г.В. 1965b. Предисловие. — *Социология сегодня. Проблемы и перспективы* / Сокращенный перевод с английского / Общая редакция и предисловие проф. Г.В. Осипова. — М.: Прогресс.

Осипов Г., Козырев Ю., Колбановский В., Айвазян М. 1963. Задачи и методы конкретно-социологических исследований. — *Вопросы организации и методики конкретно-социологических исследований*. — М.: Росвузиздат.

Подмарков В.Г. 1973. *Введение в промышленную социологию*. — М.: Мысль.

Рабочая книга социолога… 1976. *Рабочая книга социолога* / Отв. ред. Г. В. Осипов. — М.: Наука.

Руткевич М.Н., Филиппов Ф.Р. 1970. *Социальные перемещения*. — М.: Мысль.

Социология сегодня… 1965. *Социология сегодня*. Проблемы и перспективы / Сокращенный перевод с английского / Общая редакция и предисловие проф. Г.В. Осипова. — М.: Прогресс.

Федосеев П.Н. 1968. Социологические исследования в СССР. — *Социальные исследования*. Выпуск 2. — М.: Наука.

Фирсов Б.М. 2008. *Разномыслие в СССР. 1940–1960-е гг.: История, теория и практики*. — СПб.: Издательство ЕУСПб.

Фирсов Б.М. 2012. *История советской социологии: 1950–1980-е годы. Очерки*. 2-е изд., исправленное и дополненное. — СПб.: Издательство ЕУСП.

Шубкин В.Н. 1970. *Социологические опыты*. — М.: Мысль.

Ядов В.А. 1972. *Социологическое исследование. Методология, программа, методы*. — М.: Наука.

Filippov A.F. 1993. A final look back at Soviet sociology. — *International Sociology*. — Vol. 8. — № 3. — P. 355–373.

Foucault M. 2007. *Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France 1977–1978* / Ed. By M. Senellart. — L.: Palgrave Macmillan.

Foucault M. 2008. *The birth of biopolitics. Lectures at the College de France*. — Houndmills etc.: Palgrave Macmillan.

Justi J.H.G. v. 1782. *Grundsätze der Polizeiwissenschaft*... Dritte Ausgabe. — Göttingen.

Luhmann N. 1973. *Zweckbegriff und Systemratinalität*. Neudruck. — Frankfurt/M: Suhrkamp.

Meier H. 2009. *Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre*. — München: Beck.

Neocleous M. 2002. *Fabrication of social order. A critical theory of police power*. — London etc.: The Pluto Press.

Police and… 2008. *Police and the liberal state* / Ed. by Dubber M. D., Valverde M. — Stanford, Cal.: Stanford University Press.

Small A. 2001. *The Cameralists. The Pioneers of German Social Polity*. (1909). — Kitchener, Ont.: Batoche Books.

Stolleis M. 1988. *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*. 1. Band. — München: Beck.

Thomson Cr. 1950. *The Police State: what you want to know about the Soviet Union*. — N.Y.: Dutton Publishers.

Wakefield A. 2009. *The Disordered Police State: German Cameralism as Science and Practice*. — Chicago & London: The University of Chicago Press.

ВОЕННЫЙ ЦИНИЗМ: РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ И КОНЦЕПТ ПЕТЕРА СЛОТЕРДАЙКА

В.П. Макаренко,
Д.Н. Протасеня
Южный федеральный университет

Аннотация: *В основу статьи положена концепция военных цинизмов Петера Слотердайка. Авторы анализируют духовно-политическую ситуацию в современной России и приходят к выводу о том, что историю российских и советских войн следует рассматривать не столько под углом зрения героизма и победы, сколько как практическое воплощение трусости и наёмничества. Тот же вывод относится к группам, культивирующим агрессивный менталитет.*

Ключевые слова: *военные цинизмы, коллективная шизофрения, параноидальные системы, милитаризм.*

В современном российском обществе сложился тотальный цинизм, а во властно-управленческой иерархии возник путинизм — преобладание военных и представителей спецслужб на всех уровнях властно-управленческой иерархии [Гудков 2005; Гудков 2009; Травин 2009]. Взаимосвязь между данными явлениями нуждается в исследовании. Наш подход к проблеме определяется ранее сформулированными концептологическими посылками и исследованиями специфики российского милитаризма [Макаренко 2009а; Макаренко 2013]. Главная цель данной статьи — вписать этот подход в общую социально-философскую концепцию. Начнем с кино.

Раскопка аргументов

Фильм «Семнадцать мгновений весны» был хитом советской телепродукции и популярен до сих пор. Его политическая идея известна со школьных учебников: Штирлиц занят разрушением возможностей закулисного сговора между гитлеровской Германией и США в последний период второй мировой войны. Однако недавно опубликована записка бывшего советского журналиста и разведчика Эрнста Генри. Он эту идею отвергает. Называет её «продуктом творчества Вышинского по заданию Сталина». Однако фильм про Штирлица знают все. Он даже вошёл в анекдоты, сработанные по шаблону анекдотов про майора Пронина. Нынешний интерес к теме советского внешнего и внутреннего шпионажа подогревается политикой ностальгии по СССР [Ганюшкина 2014: 170–179]. Тогда как публичных дискуссий о

записке Э. Генри нам не попадалось. Между тем в ней тоже есть сюжет для шпионского сериала.

Э. Генри написал записку в апреле-октябре 1966 г., но послал её не в международный трибунал, а занёс в ЦК КПСС. Там записку на пятьдесят лет положили под сукно. Советских бонз устрашила главная идея записки: вся внешняя политика Сталина — сплошной провал. Эта идея становится актуальной на фоне стремления политических сил из «Единой России» полностью оправдать сталинскую политику, особенно во время войны[1]. Значит, не мешает покопаться в аргументах заслуженного шпиона, да ещё с фамилией Ростовский.

Однофамилец нашего города показывает, что у Сталина были устарелые представления о механизмах выработки политики. В 1944 году он запретил проводить революцию во Франции. Заключил сделку с Черчиллем и Рузвельтом о процентном соотношении влияния Британии и СССР в Румынии, Греции, Югославии, Венгрии, Болгарии для того, чтобы предотвратить вспышку гражданской войны в ряде стран. Но «предотвратить в ряде стран гражданскую войну», — считает Генри, — означало предотвратить социалистическую революцию. «Зная об известных всем нам теперь сделках Сталина с Гитлером, — пишет Генри, — „принципиально“ отметать возможность его сделки с Черчиллем примерно на тех же началах не приходится». При заключении «процентного соглашения» с Черчиллем и Рузвельтом Сталин «продолжал изобретенную им политику, которую, надо думать, он считал гениальной, выдержанной на уровне самого Талейрана, — политику перекройки карты мира не путём революций, как это предвидел Ленин и как этого ожидало международное рабочее движение, а путём тайного, закулисного сговора с империалистами» [Генри 2007: 33].

Иными словами, Э. Генри подсказывает нынешним кинопродюссерам идею: создать фильм о сделке между Сталиным, Черчиллем и Рузвельтом по образцу Мюнхенского сговора 1938 года и советско-германского пакта 1939 года, послуживших толчком к развязыванию второй мировой войны.

Отправные точки для будущего киносценария таковы. Сталин отдал Париж за Варшаву. Между тем летом 1944 года именно столица Франции была главным международным рычагом, с помощью которого социализм действительно мог «перевернуть континент». Ум Сталина был натренирован в тактике подспудной внутрипартийной борьбы с помощью репрессивных органов. В области международных отношений этот ум был разновидностью восточного талейранства. Сталин был утилитарен и слабо образован. Это объясняет ограниченность его политического зрения. Реальным во внешней политике Сталин считал только то, что лежало поближе к его огороду, то есть, к государственным границам СССР. Сталин подходил к мировой политике по-хуторянски, хотя в середине XX века прежние измерения политической мощи и безопасности великих держав на основе ситуации у их непосредственных границ уже были аннулированы военной и политической техникой. Вместо большой международно-революционной политики он проводил малую великорусскую политику царей. Он не верил в рабочий класс, а верил только в себя, вооруженные силы, хитрость и репрессивные органы. «Полицейская точка зрения, — констатирует Генри, — всегда имела немалое значение в отношении Сталина к вопросам и людям международного коммунистического движения» [там же: 73].

Эрнст Генри описывает региональные и страновые следствия полицейского мышления Сталина. А в заключение подводит итоги внешней политики Сталина с 1944 года[2]. В ре-

[1] Примером могут служить книги В.Р. Мединского [Мединский 2014].

[2] В актив он записывает: 1. Возникновение восьми новых социалистических государств в Европе, на территориях, уже оккупированных Красной Армией, или связанных с ней вооруженными силами. 2. Оттеснение германского милитаризма за Эльбу — по ту сторону оккупированной советскими войсками территории. 3. Возникновение в Азии КНР — новой социалистической великой державы, благодаря разгрому Квантунской армии советскими восками и вопреки расчетам Сталина на сделку с чанкайшистами. 4. Возникновение двух других социалистических государств в Азии: Северной Кореи (на территории, уже оккупированной Красной армией) и Северного Вьетнама (на территории, граничащей с Китаем). 5. Колоссальное усиление военно-политической

зультате сталинской внешней политики СССР попал в двойную осаду: антисоветский блок на Западе; антисоветский социализм в Азии. Никакой объективной необходимости попасть в такую осаду не было. Туда завела только внешняя политика Сталина, которую Генри называет социалистическим цезаризмом [там же: 103–104]. Но нетрудно увидеть, что упущенные возможности, о которых пишет Генри при критике Сталина, привели бы к многократному усилению этого цезаризма. Поэтому критика статус-кво со стороны действующих или отставных шпионов всегда должна восприниматься с подозрением[3].

Итак, внешняя политика Сталина базируется на полицейском мышлении, от которого несвободны и разведчики, критикующие Сталина на основе использования идей Троцкого. Тема генезиса полицейского мышления на вершине государственной иерархии уже поставлена в литературе. Например, в записках бывшего работника ЦК КПСС читаем, что заведующий международным отделом ЦК КПСС Б.Н. Пономарев отличался полицейско-пропагандистским образом мысли и действия, для которого характерны: разврат и практика эксплуатации чужих мозгов; абсолютное пренебрежение к реалиям социально-политических процессов; политический оппортунизм и циничное самодержавие [Черняев 2008: 510, 520]. Эти феномены А.С. Черняев связывает с отсутствием механизмов выявления кадров для государственной деятельности и общим процессом старения государства: «КГБ не то место, где вырабатывается … доверие как политическое качество государственного деятеля… При Брежневе и после мы гальванизируем память о войне. И это, скорее всего — старение государства, которому необходимо (сознательно или нет) эксплуатировать память о „величии“» [там же: 528, 604].

Политический идиотизм и феномен старения государства

Де Голль в 1957 г. сказал, что эпоха гигантов в политике прошла. Эйзенхауэра, Хрущева и Макмиллана он назвал идиотами [Гриневский 1998: 255]. В современных словарях термин

мощи Советского Союза, вызванное победами Красной армии и достижениями советской науки в области атомной физики и ракетостроения. 6. Территориальное расширение СССР на Западе и Востоке. Но пассив намного внушительнее: 1. Запрет на народно-демократическую революцию во Франции. В результате — спад революционной волны по всей западной части европейского континента после разгрома фашизма. 2. Восстановление буржуазных режимов во всех находившихся в руках Гитлера европейских странах за пределами зоны советской оккупации. 3. Стремительное возрождение реваншистского германского милитаризма за Эльбой. 4. Заключение военного союза между Западной Германией и великими державами капиталистического мира. 5. Неудача попытки овладения Западным Берлином. 6. Спад послевоенной революционной волны в Италии и Греции, утрата важнейших позиций у Адриатического и Эгейского морей. 7. Распространение политики культа личности на новые социалистические государства в Европе. В результате — сотрясения внутри новой социалистической системы в последующие годы: мятежи в Берлине и Венгрии, волнения в Польше, разрыв с Югославией, осложнения с Румынией, переход Албании в китайский антисоветский лагерь. 8. Прекращение сотрудничества военных лет между СССР и США, Англией, Францией, переход к длительной и изнурительной «холодной войне». 9. Распространение культа личности на Азию, поощрение маоцзедуновской диктатуры внутри китайской компартии. В результате — возникновение нового антисоветского лагеря в Восточной Азии и раскол мирового коммунистического движения. 10. Безуспешная атака на национальную буржуазию в Индии, Индонезии, Бирме, Малайе, на Филиппинах. В результате — отсрочка сближения между СССР и азиатским нейтрализмом. 11. Безуспешная атака на буржуазию Турции и Ирана. В результате — присоединение стран Ближнего Востока в антисоветскому Багдадскому пакту (ныне СЕНТО). 12. Безуспешная атака на японскую буржуазию. В результате — дальнейшее сближение Японии с США. 13. Безрезультатная война в Корее, способствовавшая новому сплочению антисоветских сил в капиталистическом мире. 14. Объединение всех империалистических государств в мировой антикоммунистический блок НАТО-СЕНТО-СЕАТО-АНЗЮС, вслед за окончательным провалом попыток антианглийских кругов в Вашингтоне договориться во Сталиным о прямом американо-советском соглашении относительно Германии. 15. Систематическое дальнейшее ухудшение советско-американских отношений. 16. Спад окрепших в годы войны просоветских настроений среди широких масс капиталистического мира в результате внутренней и внешней политики СССР.

[3] Свежим примером может служить книга генерал-лейтенанта Н.С. Леонова «Лихолетье» [Леонов 1997], в которой те же шаблоны политического мышления.

идиот имеет двоякий смысл: частное лицо, не участвующее в общественной и политической жизни; человек с глубокой умственной отсталостью. Какой из этих смыслов более применим к теме нашей статьи?

Для ответа возьмем пару книг О.А. Гриневского. Он изнутри наблюдал советскую политику «мирного сосуществования» при Н.С. Хрущеве и политику «разрядки» при Л.И. Брежневе. Приведём несколько эпизодов.

Хрущев во время первого визита в США дал Джону Кеннеди визитную карточку с припиской: «Дорогой Джон… Может быть, эта карточка поможет вам выбраться из тюрьмы, когда произойдет революция» [там же: 54]. Его речи перед бизнесменами, конгрессменами и политиками были однообразны: «Из выступления в выступление он на разные лады назойливо разыгрывал один и тот же спектакль: вы капиталисты, а мы коммунисты — давайте дружить и мирно соревноваться, а потом мы вас всё равно закопаем» [там же: 55]. Когда американцы предположили, что русские начнут строить огромный подводный флот (в ответ на его призывы к снятию крейсеров), Хрущев тут же отреагировал: «Как раз наоборот. Мы сейчас начинаем приспосабливать подводные лодки под ловлю селедки» [там же: 76].

Хрущев специально сорвал встречу в верхах: «Хрущев в это время отдыхал, принимая ванну, в резиденции советского посла. Накануне Виноградов (посол СССР во Франции, — *В.М., Д.П.*) рассказал ему историю, как русский император Александр III ловил рыбу в пруду и кто-то из свиты прибежал к нему со срочным обращением от германского кайзера. Однако царь даже не обернулся. „Пусть Европа подождет, пока русский царь рыбу ловит“, — бросил он через плечо. Хрущеву эта история понравилась. Теперь, лежа в ванне, он кричал: — Пусть весь мир подождет, пока Первый секретарь ЦК КПСС помоется!» [там же: 290].

Эти факты позволяют усомниться не только в нормальности первого секретаря ЦК КПСС, но и всей российской традиции отношения к другим европейским государствам. В этой традиции ужение рыбы и посещение бани первыми лицами империи ставятся выше мировых событий. Но такая шкала ценностей частично определяется спецификой политического общения и риторики: «Нет ничего более банального и серого, чем беседы политических лидеров. И Хрущев отнюдь не отличался ни игрой ума, ни изяществом» [там же: 75]. Причины данной банальности и серости надо объяснить, поскольку здесь существует сходство между США и СССР.

Эйзенхауэр жаловался Хрущеву: «Наши военачальники приходят ко мне и говорят: „Господин президент, нам нужны такие и такие суммы денег на такие и такие программы. Если мы не получим их, то отстанем от Советского Союза“. Я вынужден соглашаться. Так они вытаскивают из меня деньги. А затем требуют ещё, и я даю снова. А теперь расскажите, как это происходит у вас? — Точно так же. Военные из министерства обороны приходят и говорят: „Товарищ Хрущев, посмотрите, американцы разрабатывают такую-то и такую-то систему. Мы можем разработать такую же, но это будет стоить столько-то и столько то“. Я отвечаю, что денег нет, они все уже распределены. Тогда они говорят: „Если вы не дадите денег, то в случае войны противник будет иметь преимущество“. Разговор продолжается, я сопротивляюсь как могу, но в конце концов приходится отдавать военным то, что они просят» [там же: 94–95].

Значит, при суждении о нормальности руководителей государства надо учитывать влияние на них военно-промышленного комплекса. Чем больше это влияние, тем больше шансов правоты у покойного де Голля[4].

[4] Например, в результате влияния военно-промышленного комплекса потерпела крах советская политика «мирного сосуществования», которую пытался проводить Хрущев. Главной причиной краха было недовольство данной политикой со стороны военно-промышленного комплекса. Этот гигантский спрут охватывал восемьдесят процентов промышленных предприятий Советского Союза. Поэтому политические инициативы превращались в пропагандистские акции. Ни в Генштабе, ни в Министерстве Обороны, ни в научных институтах никогда не делалось детальных проработок сокращения и ликвидации вооружений. Это Хрущев знал. «Поэтому для

О.А. Гриневский показал, что главный секрет холодной войны состоял в том, что СССР далеко отставал от США по ракетно-ядерным вооружениям, хотя советские руководители и СМИ всё преподносили наоборот. В этих условиях Министр Обороны Д.Ф. Устинов развернул производство ракет и боеголовок. Производители оружия стали самыми уважаемыми и преуспевающими людьми в СССР. Но дипломатия и военно-промышленный комплекс оказали роковую услугу стране. Малоэффективная советская экономика под гнётом гонки вооружений и силовой политики оказалась на грани краха. Непроизводительные военные расходы поглощали 15–20% ВВП страны ежегодно, тогда как в США они составляли всего 6% [Гриневский 2000: 7–9].

Ум Л.И. Брежнева был не менее банален, чем ум Хрущева. Каждый день Брежневу готовили 1–2 страницы всей мировой информации. Из неё отбирался десяток событий по темам: кто на кого напал; где случилось землетрясение или катастрофа; кто куда поехал, какой скандал с кем приключился. Генсек реагировал только на элементарные житейские ситуации и сердился на любые умные и глубокие обобщения [там же: 128, 14]. На этом фоне приобретали значение личные и институциональные отношения между Министерством иностранных дел, Комитетом госбезопасности и Международным отделом ЦК КПСС. С 1950-х гг. МИД конфликтовал с международным отделом ЦК КПСС по причине личной неприязни между Громыко и Пономаревым, а с шефом КГБ Андроповым Громыко дружил [там же: 162]. При таких условиях Политбюро ЦК КПСС прикрывалось Генсеком и превратилось в большое боярское гнездо, где каждый владел и управлял своей вотчиной. Согласие строилось на круговой поруке: ты не лезешь в мои дела — я не лезу в твои. На этой основе принимались главные политические решения. В этом боярском синклите никто друг другу не доверял. Лишь Андропов, Устинов, Громыко держались вместе и определяли военно-политический курс государства.

Политические взгляды этой «тройки» были таковы: Устинов занимал левый радикальный фланг, уповая только на силу, а разговоры о разоружении, политических и дипломатических средствах укрепления безопасности считал пустой болтовней для научных симпозиумов; Громыко занимал правый либеральный фланг, полагая, что безопасность должна строиться на сочетании военных и политических акций; Андропов находился в центре. Практически это выглядело так: Громыко выступал генератором идей достижения компромисса с Западом, но при выработке конкретных позиций никогда не шёл на конфликт с военными, особенно если видел, что Андропов на их стороне. В то же время поощрял заместителей на бескомпромиссность в отношениях с Министерством обороны и КГБ. Если не удавалось выработать совместную позицию, он соглашался с военными, полагая, что на них лежит главная ответственность за оборону страны. А Брежнев их слушался [там же: 333–334]. В конце книги О.А. Гриневский ссылается на беседу с Огарковым, который говорил: «Бога надо благодарить, что при таком боярском правлении случился только Афганистан. А ещё ведь могли быть и Польша, и Ближний Восток или даже … страшно подумать — ядерная война… И такое обсуждалось» [там же: 334].

Стало быть, феномен политического идиотизма связан со старением государства и спецификой мышления профессиональных полицейских, военных и идеологов. Для анализа дан-

---

него всеобщее и полное разоружение было прежде всего красивой пропагандистской идеей, которая придаст новый привлекательный облик социализму, станет противопоставлением безудержной гонке вооружений, которую разжигают империалисты». Военные выступали за всеобщее и полное разоружение. Но за этим крылась хитрость. Она позволяла выступать против любых частичных мер в области сокращения или ограничения ядерных и обычных вооружений (которые предлагало Министерство иностранных дел СССР). По этим причинам пропаганда всеобщего и полного разоружения велась агрессивно, с шумом и бранью, так, что вызывала к себе инстинктивное недоверие и отторжение. Для среднего западного человека призывы СССР к борьбе за мир звучали так же абсурдно, как призывы трахаться во имя сохранения девственности. В выступлении перед учеными Хрущев говорил: «Вы должны понять, что мы просто обязаны вести политику с позиции силы. Мы не говорим этого вслух, но это так!» [Гриневский 1998: 306–308, 358].

ной специфики оттолкнемся от констатации Петера Слотердайка: «Современная политика приучила нас считать гигантское взаимопровоцирующее безумие вершиной реалистического сознания. Тот способ, каким две или более державы в хитроумном и изощрённом взаимодействии доводят друг друга до безумия, формирует у человека нашего времени его модель действительности. Тот, кто приспосабливается к сегодняшнему обществу, приспосабливается в конечном счете к параноидному реализму» [Слотердайк 2009: 349–350]. В состав такого реализма входит военный цинизм, который детально описан в капитальном исследовании Слотердайка.

Элементы реконструкции

Концепт военного цинизма можно разбить на четыре относительно самостоятельные проблемы: военный цинизм в контексте общих трактовок цинизма; критика героической этики; армия как социальная шизофрения; фашизм и атомная стратегия как формы параноидного реализма. Кратко рассмотрим эти темы.

Контекст военного цинизма. Петер Слотердайк оперирует тремя общими трактовками цинизма: как модернизированной формы просвещённого ложного сознания; как констант истории и типичных форм полемического сознания низов и верхов [там же: 333]; как продукта противоположности между официальной и неофициальной точками зрения на факты и события социального бытия. Третья трактовка цинизма входит в состав феноменологии полемических форм сознания. Циническое мышление проявляется только тогда, когда возможны официальный и неофициальный взгляд на вещи. Первый стремится завуалировать истину с позиции героя, второй желает её видеть во всей наготе с позиции камердинера. «В культуре, в которой регулярно лгут, возникает желание знать не просто истину, а неприкрытую истину, истину во всей её наготе» [там же: 334].

Феноменология кардинальных цинизмов — это анализ спорных форм сознания с кинической точки зрения. Таких форм шесть: военная, политическая, сексуальная, врачебная, религиозная и познавательная (теоретическая). Кардинальные цинизмы задают контуры истории войн в сфере духа. Слотердайк разрабатывает духовное оружие для этой цели.

Его *критика героической этики* базируется на определенных антропологических представлениях и включает анализ трёх типов мужского характера, трёх стилей ведения войны и трёх позиций сознания. Военный цинизм появляется тогда, когда в обществе возникают три типа мужских характеров: «герой», «склонный выжидать» и «трус». Формируется иерархия ценностей, на вершине которой находится герой; такими, как он, *должны* быть все; геройство становится качеством, присущим мужчинам цивилизации, ориентированной на борьбу и войну. Но в силу этого возникает необходимость в дрессуре человека с целью получить не существующее в природе распределение военных темпераментов. Трусость должна быть переработана в геройство или в склонность выжидать. Эту противоестественную алхимию представляют собой все виды воспитания солдат. Культ агрессивного, победоносного воина проходит красной нитью через всю историю устных преданий и письменных источников. До сегодняшнего дня героика остается доминирующим культурным фактором.

Социальный смысл указанных типов характеров состоит в репрезентации трёх стилей ведения войны. Герои считают нападение лучшим видом обороны. Склонные выжидать составляют массу «разумной середины», которая вступает в борьбу только при крайней необходимости. Трус иногда может спастись, когда все прочие обречены на гибель. Однако говорить об этом открыто не дозволяется. Уделом труса должно быть презрение, потому что в противном случае не подействует алхимия превращения трусов в агрессивных воинов. Образ героя навязывается как образец для подражания всем мужчинам.

По отношению к этому идеалу возникают три позиции сознания, избираемые в зависимости от того, кем являешься ты сам. Герой сознает и чувствует себя блестящим и уверен-

ным в себе человеком, способным исполнить собственные мечты и мечты общества. Римляне устраивали возвращающемуся из похода победоносному полководцу триумфальное шествие через свой город, где он мог быть специальным государственным решением объявлен богоподобным, а вместе с ним и народ, который таким образом приучался «любить удавшееся». Этот апофеоз победителя, *культ успеха*, культ военного божества и культ удавшегося принадлежит к социально-психологическому наследию человечества. Сегодня этот опыт инсценируется на спортивных аренах, вплоть до чествования победителей олимпиад.

Вторую позицию занимает относительный герой, склонный к выжиданию. Он исполняет требования героической морали, но сражается и гибнет по необходимости. В современных армиях солдат воспитывается как воин, склонный выжидать. Только в определённых военных и политических группировках сохраняется агрессивный менталитет — таковы «ястребы», герои гонки вооружений, те, кто тоскует по гегемонии.

Третью позицию занимает трус. «В сознании труса содержится толика военного кинизма — и в то же время толика высокого критического реализма!» [там же: 340]. Трус не может ни признаться, ни освободиться от своей трусости. В нём начинает копиться критический потенциал, направленный против героической этики. Поскольку трус вынужден притворяться сам, он становится более чувствительным к притворству других. Когда герои и склонные выжидать гибнут под ударами превосходящего противника, выживает только убежавший трус. Отсюда сарказм: лошади — это то, что остаётся от героев.

Армия как институт коллективной шизофрении. На основе этих рассуждений Слотердайк предлагает учитывать военные иерархии, которые соответствуют классовой структуре общества. В структуре феодальной армии сложились группы рыцарей-героев, наёмников, слуг. Каждая из этих групп имеет свою особую боевую мораль, разновидности которой соответствуют трём военным темпераментам.

Рыцарь сражается за определённые материальные интересы, социальный статус и собственный образ аристократа. Поэтому в его боевой морали особую роль играет мотив «чести». Наёмники превратили войну в профессию. Наёмный солдат (итальянское *soldi* означает «деньги») смотрит на войну как на рабочее место, а не как на арену, где надо проявлять геройство. Наёмники — это профессиональные «выжидатели», они ведут войну, потому что война кормит их, и рассчитывают выйти живыми из боев. На низшей ступеньке иерархии стоит слуга-оруженосец, воюющий прежде всего потому, что ему волею случая выпало родиться крепостным рыцаря. Оруженосцы — это военный пролетариат, невидимый труд которого включался в победы господ. У слуги не было никакого «собственного» мотива сражаться, кроме стремления сохранить свою собственную жизнь. Для него реалистично трусить всем сердцем.

Возможность для появления и развития военного цинизма открывается на самой нижней позиции. Его первый представитель — Санчо Панса. Этот маленький умный крестьянин знает, что имеет право на трусость, точно так же, как его бедный господин Дон Кихот исполняет долг быть героем. Санчо Панса видит сумасбродство и слепоту героического сознания. Это дерзкое военное Просвещение, которое неумолимо осуществляет Сервантес, позволяет постичь, что древняя страсть к героическим подвигам есть анахроническая дрессура и что все представляющиеся благородными поводы для вступления в борьбу — не что иное, как чистые проекции, исходящие из рыцарской головы. Тогда ветряные мельницы оказываются великанами, проститутка — дамой, заслуживающей любви героя. Чтобы оказаться в состоянии увидеть это, самому рассказчику нужен реалистический, пехотный, плебейский взгляд, а также социальное дозволение говорить на языке, который соответствует этому «взгляду».

Устройство армии вплоть до нынешнего времени обнаруживает парадоксальное переворачивание изначальной взаимосвязи между военной моралью и родом оружия. Античные и феодальные герои сражались один на один. Новый способ ведения войны обесценивает бой в одиночку; победа достигается благодаря строю и массовым передвижениям. Современная ор-

ганизация войск резко понижает значение героических функций — отчаянной атаки, удерживания любой ценой занимаемой позиции, боя один на один. Это значит, что требования быть героем предъявляются всё чаще и больше к выжидающим или трусам. В современной пехоте приходится прибегать к шизоидной муштре, призванной воспитывать героев. Эта дрессура приучает к анонимной и неблагодарной храбрости перед лицом смерти. Высшие офицеры подвергаются меньшей опасности и всё более перекладывают геройский риск смерти на солдат.

Эту модификацию Слотердайк называет циническим королевским реализмом. Властям предержащим известно, что у бедняг в военной форме не может быть никаких героических мотивов; но они всё же должны быть героями и смотреть в лицо так называемой геройской смерти. Поэтому возникшие регулярные армии — «это первые социальные органы, которые методично практиковали шизофрению как коллективное состояние» [там же: 343]. В этом состоянии солдат есть не «он сам», а Другой — частица героической машины. Фридрих II говорил прусским солдатам: «Собаки, вы что же, собрались жить вечно?». «Здесь мы слышим речь просвещённого господского сознания на второй ступени его развития, — замечает Слотердайк. — Оно разоблачило надувательство с героизмом, но до поры до времени нуждается в героической смерти как в политическом инструменте ради славы Пруссии. И потому солдат должен сдохнуть красиво! С этого момента такое циническое самоопровержение сводит на нет все благородные анонсы сражений» [там же: 344].

Современное развитие видов вооружений сильно повлияло на противоречие между сознанием героя и сознанием труса. В целом верно правило: чем губительнее действует оружие на расстоянии, тем трусливее может быть тот, кто им вооружен.

После Средневековья возрастает значение видов оружия, убивающего на расстоянии, и превращение их в системы, предрешающие исход войны. С помощью ружья пехотинец без всякого риска мог уложить наиблагороднейшего из рыцарей; в этом причина всемирно-исторического выбора в пользу огнестрельного оружия; при помощи пушки можно разнести в клочья толпу пехотинцев. Это и определило стратегический приоритет артиллерии, то есть «научного» вида вооружений, который, в наилучшей шизоидной манере, с закрытых позиций и на большой дистанции способен произвести наикошмарнейший эффект. Сегодняшние военная авиация и ракетные системы — это развитие идеи артиллерии. Война, начиная с Первой мировой, идет под знаком артиллерийских сражений. Так возникает загадка шизофрении «безымянного героя», который переносил ужасы войны и был больше техником и чиновником, чем бойцом и героем.

Буржуазия унаследовала из феодальной эры частицу героизма, чтобы нести её в широкие патриотически настроенные массы. Но возможен ли буржуазный героизм? По мнению Слотердайка, ответ на вопрос содержится в солдатских традициях последних столетий: милитаризованная буржуазия ставила на карту всё, чтобы развить собственную героику; а неокинические буржуазно-пролетарское течение пыталось утвердить свой собственный взгляд, прямо противоположный этому. В наполеоновскую эру в Европе начинается беспрецедентная милитаризация масс. Буржуазное общество возникает не только как следствие распространения капиталистических форм торговли и производства, но и как следствие широкого, «патриотически» мотивированного саморекрутирования общества в армию. Нация становится вооружённым отечеством, превращается в род супервооружения и сверхвооружённый род, который сплачивает политические Я. В революционных войнах девяностых годов XVIII столетия впервые появились прототипы национальной добровольческой армии и массовый героизм.

Национализация масс означает не только идеологическое, но и величайшее военно-историческое событие Нового времени. При этом коллективная шизофрения достигает нового исторического уровня; целые нации сами приводят себя в движение в своих внешнеполитических войнах. Отсюда возникает тенденция к тотальной войне, в которой вся обществен-

ная жизнь может стать средством для ведения войны — от университетов до госпиталей, от церквей до фабрик, от искусства до детских садов. На этой ступени кинизм труса и цинизм героя-буржуа вступают в ещё более сложные и запутанные противоречия. «Трусливое» желание остаться в живых нашло в национальном государстве новые формы выражения: эксплицитно оно выступило в форме пацифизма или интернационализма (социалистического или анархистского типа), имплицитно — как принцип Швейка, как исполнение своего долга спустя рукава, как симуляция и уклонение от службы. Тот, кто в Европе между 1914 и 1945 годом хотел представлять «партию собственного выживания», неизбежно должен был воспринять что-то от социалистов, пацифистов или Швейка.

Параноидный реализм: от фашизма к атомной стратегии. Иллюстрацией описанных феноменов для Слотердайка служит ситуация в Германии после Первой мировой войны. Здесь были представлены все типы характеров: солдаты-националисты — как герои, которые не желали видеть, что война проиграна; партии Веймарской республики — как выжидающие, которые желали предотвратить худшее; «спартаковцы», коммунисты, экспрессионисты, пацифисты, дадаисты и т. д. — как перешедшая в наступление «трусливая» фракция, проклинавшая войну вообще и требовавшая нового общества, построенного на новых принципах. Эти коллизии помогают понять, как немецкий фашизм обрёл своё историческое качество. Гитлер — это адепт мелкобуржуазного героизма, который приобрел остроту в стычках с германскими «трусами» переломного времени между 1917 и 1919 годом. Этот героизм превратился в фашизм, который был результатом прогресса военного цинизма. Фашизм — это реакция демобилизованных немецких солдат на совокупность «разрушительных» реализмов тогдашних швейков, пацифистов, «проклятых штатских», социалистов, «большевиков». Фашистский военный цинизм — это последняя глава книги «Буржуа как герой». Он имеет своей предпосылкой высокий уровень шизоидных извращений, приведших к тому, что даже мелкие буржуа типа Гитлера смогли уцепиться за образ героя.

Данный процесс отражает полную дезориентацию стремления сохранить свою жизнь. Это стремление связывает себя с милитаризованными национальными государствами, от которых на деле исходит наибольшая угроза надежде на жизнь. В шизоидном обществе индивиды часто утрачивают представление о том, как они могут следовать своему собственному и подлинному интересу жить, и сами превращают себя в составляющую оборонительно-разрушительной государственной и военной машинерии. Движимые желанием создать для себя защиту и безопасность, они связывают себя с военно-политическими механизмами.

Однако солдатский фашизм превзойдён военным цинизмом в эпоху атомной стратегии. Появление глобальных средств массового уничтожения превращает героизм в иллюзию. Противоречие между героями, «выжидателями» и трусами вступает в фазу хаоса. Приоритет обороны признаётся теперь всеми. Каждая из ядерных сверхдержав включает в свои стратегические расчёты героические, выжидательные и трусливые мотивы другой. Противники строят свою стратегию в расчёте на трусость другого. Но это трусость вооруженная, которая располагает готовым к бою героическим оружием. Трусливо-героические «выжидатели» не спускают друг с друга глаз, при этом отчаянно и стремительно вооружаясь. Место героя остаётся вакантным. Сегодня каждый знает о реальной и неизбежной трусости противника. Мир ещё жив потому, что и Восток и Запад считают друг друга трусливыми, вооружёнными до зубов швейками, у которых на уме только одно: как бы ещё немножко пожить на этой земле. Но с тех пор как военный процесс спустился на дно долины героически-трусливых «выжидателей», вся прежняя система ценностей рассыпалась в прах. Противоречие разрешилось в равноценность всех темпераментов. Геройство — дело хорошее, но склонность к выжиданию ничуть не менее хороша, а трусость ещё лучше. Прежнее негативное стало позитивным, а прежнее позитивное — негативным. Неужели теперь, когда военная эскалация достигла пика, действительная война стала излишней? — так ставит вопрос Слотердайк. По его мнению, на

этот вопрос не смогут ответить одни военные, особенно в эпоху, которая провозгласила иллюзорное главенство политики над военным делом.

Ответ германского философа таков. Опасность будет расти до тех пор, пока политические системы порождают средства, цели и идеи для военной конкуренции и соперничества в борьбе за гегемонию. Динамика вооружений в стратегической и научной сферах доказывает, что ситуация не изменилась к лучшему. Каждая из сторон по-прежнему фантазирует, что способность выжить — это способность защитить себя с оружием в руках; то, что именно готовность защищать себя с оружием в руках стала наибольшей угрозой для выживания, до сих пор ясно не видят. Каждый исходит из того, что только равновесие прогрессирующего устрашения может обеспечить так называемый мир. Это убеждение одновременно *и* реалистично, *и* абсолютно параноидно; реалистично, потому что сложилось как отражение взаимодействия параноидных систем; параноидно, потому что в перспективе и по сути своей полностью нереалистично. Каждый оказывается впутанным в современный военный цинизм — если он только не противостоит ему отчётливо и сознательно. Повседневные миры стали параноидными системами.

В заключение Слотердайк формулирует главный вопрос духовно-политической терапии. Как субъекты власти могут понизить свою деструктивность и использование образа врага, если взаимодействие в данных системах до сих пор доказывало, что проявление слабости перед лицом противника всегда использовалось как удобный случай для нанесения удара? В такой структуре снижение напряженности и разрядка невозможны *a priori.* В условиях, когда все помешаны на обороне, «реалистично» оставаться в напряжении и в готовности к войне. Ценой больших усилий противники вынуждены добиваться создания территории, на которой становится возможным нечто вроде самоограничения. Иначе говоря, возникает возможность проявить слабость при сознании своей силы, чувствуя свою несгибаемость и непреклонность. Эта крохотная территория самоограничения до сих пор остаётся единственным плацдармом разума в военно-циническом процессе. От его расширения будет зависеть всё. Когда-то человеку было трудно научиться сражаться. Всё, чего он достиг на сегодняшний день, он достиг как борец. Но научиться не бороться ещё труднее по причине принципиальной новизны. Военная история будущего будет писаться на совершенно новом фронте борьбы за прекращение всякой борьбы. Решающими ударами станут ненанесённые. Они-то и сокрушат наши стратегические субъективности и наши оборонительные идентичности.

Злая тупость государства

Идеи Слотердайка позволяют развить ранее сформулированные одним из авторов этой статьи положения о феномене достижений и успехов и концепте когнитивного сопротивления [Макаренко 2009b; Макаренко 2012]. Историю российских и советских войн надо писать не столько под углом зрения героизма и победы (как гласит официальная точка зрения), сколько как практическое воплощение трусости и наёмничества. То же самое относится к группам, культивирующим агрессивный менталитет. Армия является институтом коллективной шизофрении. Чем губительнее действует оружие на расстоянии, тем трусливее является тот, кто им обладает. Первая мировая война заложила основу для шизофрении «безымянного героя» и трактовки нации как вооружённого отечества, в котором реализуется коллективная шизофрения. Фашизм есть результат военного цинизма. От милитаризованных национальных государств исходит наибольшая угроза надежде на жизнь, поскольку индивиды связывают себя с военно-политическими механизмами. Военный цинизм в эпоху атомной стратегии культивирует вооружённую трусость Востока и Запада. Эта эпоха провозгласила иллюзорное главенство политики над военным делом. Большинство людей впутано в современный военный ци-

низм. Поэтому повседневные миры стали параноидными системами. Главная проблема состоит в отчётливом и сознательном противостоянии данным системам.

Духовно-политическая терапия населения современной России может вдохновляться не только идеями германского философа Слотердайка, но и констатациями советского писателя, который зафиксировал феномен «злой тупости государства»: «Почти все советские люди — психические больные. Их неспособность слушать, тёмная убеждённость в кромешных истинах, душевная стиснутость и непроветриваемость носят патологический характер… Идёт великое мировое оглупление. Идиоты не только у нас, они завладели миром» [Нагибин 1996: 414, 418, 440]. В этой ситуации анализ ныне популярных кромешных истин, а также групп и институтов, их культивирующих и навязывающих всему остальному населению страны, приобретает практическое значение.

Ганюшкина Э.А. 2014. Дискурсивная борьба с «травматическим прошлым» образа российских спецслужб. — *Конфликтология*. — № 2.

Генри Э. 2007. *К вопросу о внешней политике Сталина (записка). Прометей*. — М.: Русский раритет.

Гриневский О.А. 1998. *Тысяча и один день Никиты Сергеевича*. — М.: Вагриус.

Гриневский О. 2000. *Тайны советской дипломатии*. — М.: Вагриус.

Гудков Л. 2005. Цинизм «непереходного» общества. — *Вестник общественного мнения*. — № 2(76).

Гудков Л. 2009. Природа «путинизма». — *Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии*. — Т. 101. — № 3.

Леонов Н.С. 1997. *Лихолетье*. — М.: Терра.

Макаренко В.П. 2009a. Политическая концептология: первые итоги разработки. — *Полис (Политические исследования)*. — № 6.

Макаренко В.П. 2009b. Феномен достижений и успехов. — *Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований*. — № 3.

Макаренко В.П. 2012. Проблема когнитивного сопротивления. — *Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований*. — № 2.

Макаренко В.П. 2013. Современный российский милитаризм. — *Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований*. — № 3–4.

Мединский В.Р. 2014. *Война. Мифы СССР. 1939–1945*. — Второе издание. — М.: ОЛМА Медиа Групп.

Нагибин Ю. 1996. *Дневник*. — М.: Книжный сад.

Слотердайк П. 2009. *Критика цинического разума*. — Екатеринберг: У-Фактория, М.: АСТ.

Травин Д.Я. 2009. *Путинская Россия: от рассвета до отката*. — СПб.: Дело.

Черняев А.С. 2008. *Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991 годы*. — М.: РОССПЭН.

Компаративистика иерархий

СТРАНЫ БРИК: ЭЛИТООБРАЗОВАНИЕ И ВНУТРИЭЛИТНЫЕ РАСКОЛЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ХАРАКТЕРА, НАПРАВЛЕНИЙ И СКОРОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ

О.В. Гаман-Голутвина
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ

Аннотация: *В данной статье рассматриваются особенности организации властных элит в странах БРИК. Автор выделяет ряд сходных черт в процессе модернизации государств БРИК в конце XX – начале XXI вв. и проводит подробный сравнительный политологический анализ их модернизационных стратегий.*

Ключевые слова: *БРИК, ротация и рекрутирование политических элит, внутриэлитная борьба, модернизация, модернизационные стратегии.*

Предметом рассмотрения в рамках данного текста станут особенности организации властных элит в странах БРИК. Внимание к данному феномену естественно и определено тем, что именно элиты представляют собой ключевой элемент системы управления, который играет определяющую роль в любом состоянии системы, а тем более на стадии ее существенной трансформации. Именно существенной трансформацией в государствах БРИК стали процессы модернизации в конце XX — начале XXI вв., результатом которых явилось значительное возрастание экономической мощи и политического влияния стран данной группы. Представлению об определяющей роли элит, на наш взгляд, не противоречит тот факт, что в ряде из перечисленных стран (прежде всего, Российской Федерации и Бразилии) процессы модернизации в той или иной мере частично пересекались с процессами демократизации: несмотря на действительно имевший место факт б*о*льшей вовлеченности массовых групп в политику в России и Бразилии по сравнению с предшествовавшим модернизации периодом, именно элиты были и остаются субъектом принятия стратегических решений. Более, сами импульсы модернизации во всех странах группы России и Бразилии (так же, как и в КНК и Индии) были инициированы сверху.

Каковы особенности рекрутирования и ротации политических элит, позволившие им стать ключевыми акторами модернизации?

Необходимым условием валидности процедуры и результатов данного анализа является методологическое обоснование принципиальной возможности сопоставления политических элит стран БРИК: общая для сравнительной политологии проблема сравнимости обретает

особую остроту в связи с неочевидностью оснований и критериев сопоставления в данном случае.

Государства-члена по БРИК чрезвычайно разнятся по историческому генезису и социальному опыту, моделям политического развития и социальной структуре, экономическому развитию и внешнеполитическим приоритетам. Не случайно о данной группе стран порой говорят, что их не объединяет ничего, кроме аббревиатуры БРИК… На наш взгляд, последнее суждение неточно: хотя автор термина [O'Neill 2003] в 2001 году не предполагал какого-либо интеграционного измерения данной группы стран, рассматривая её скорее, как список быстро развивающихся экономик, в настоящее время ясно, что БРИК — это объективная геополитическая реальность.

Можно назвать целый ряд общих для всех членов БРИК характеристик, которые включают два блока показателей. Первый характеризует статичные показатели: значительные масштабы территории (все члены группы входят в категорию наиболее обширных по территории стран мира) и населения (в этом отношении особое место занимают Китай и Индия, суммарное население которых составляет более трети населения всего мира); все члены группы обладают значимыми (хотя и различными по объёму и роли в экономическом развитии) природными ресурсами (выделяется Россия, на территории которой находятся около 30 % мировых запасов полезных ископаемых мира), что даёт основание исследователям для определения данной группы стран как *стран-гигантов*.

Второй блок показателей характеризует динамику эволюции членов группы: все страны БРИК, имея средний уровень доходов на душу населения между самыми богатыми и самыми бедными государствами, демонстрируют высокую динамику догоняющего роста (темпы роста ВВП равны или превосходят среднемировые), осуществляют масштабные институциональные и структурные преобразования, способствующие их активному включению в мирохозяйственные связи (глобальные ТНК осваивают рынки стран БРИК, а местные компании выходят на внешний рынок), обладают значительным потенциалом роста в средне- и долгосрочной перспективе [Vercueil 2011: 9–10].

Как правило, всех членов группы относят к категории стран догоняющего развития, приступивших на исходе XX в. к осуществлению масштабных модернизационных преобразований и настойчиво стремящихся преодолеть периферийный статус, нарастить свое политическое влияние в мировой международной системе и стать полноценными субъектами мировой политики первого ряда (в случае России — сохранить политическое влияние). Правда, реформы в Китае начались в конце 1970-х гг., а в Индии, Бразилии, России — в начале 1990-х. гг., хотя процессы демократизации в последних двух случаях начались в 1985 г. в условиях разнонаправленных тенденций: в Бразилии имел место экономический рост — в течение 1970–80 гг. ВВП Бразилии увеличился на 50 %, причём этот рост был достигнут в условиях режима военной диктатуры). В СССР, несмотря на политическую модернизацию (демократизацию), имело место замедление темпов развития.

Таким образом, применительно к странам БРИК уместно говорить о переплетении военных, политических, экономических и культурных факторов. Именно такой случай представляет собой БРИК, группа, в которой страны дополняют друг друга, позволяя системе приобрести качества ранее недоступные отдельным членам, и, следовательно, выйти на принципиально иной уровень, уровень глобального центра силы.

Полагаем, что рассмотрение соотношения «веса» каждой из стран внутри группы БРИК может подсказать логику анализа их политических элит.

Наиболее динамично развивающейся экономикой из стран БРИК является Китай, который по совокупному национальному богатству в долларовом выражении, при учёте нынешних темпов развития, к 2020 году может выйти на второе место в мире. Уже сейчас Китай по

объёму ВВП располагается на втором месте в мире. Учитывая чрезвычайно дешёвые человеческий ресурс и общую невысокую стоимость жизни, экономика Китая уже к середине века будет крупнейшей в плане потребления. Примерно к этому времени Китай может достичь по уровню дохода на душу населения уровня развитых стран (в том числе за счёт внешней торговли, объем которой, подкрепляемый протекционистскими мерами, с 2002 года в среднем увеличиваются на 20% ежегодно).[1] Следует упомянуть так же ещё один немаловажный сюжет — укрепление банковской системы Китая и накопление им колоссальных валютных резервов. С учётом коммерческих банков КНР и Гонг-Конга валютные резервы составляют более половины всех циркулирующих за пределами США активов. Народный Банк Китай является одним из основных инвесторов в ценные бумаги США. Это может означать, что курс доллара будет во многом зависеть от экономической политики данного региона.[2] Также с некоторых пор Китай стоит на первом месте среди стран, с которыми США имеют дефицит торгового баланса США, который в 2006 г. приблизился к 100 % отметке и составил порядка 30 % от всего торгового дефицита США.

К экономической составляющей добавляется постепенно усиливающаяся военная и научная мощь государства. В Китае стремительно растёт количество защищённых докторских диссертаций[3] и одновременно сокращается количество аспирантов защитивших докторские диссертации в США. Данный факт свидетельствует об успешном противодействии «утечке умов» и накоплении серьёзного научно-исследовательского потенциала. Так же не стоит забывать, что Китай является легитимным обладателем ядерного оружия, располагает средствами его доставки, а с 2003 года ещё и собственным космическим комплексом[4]. Ко всему прочему Китай является постоянным членом Совета Безопасности ООН, что позволяет ему играть важную роль на мировой арене.

Одновременно с Китаем восходит звезда другой древнейшей цивилизации — Индии. Уже к 2020 году экономика Индии будет сопоставима с экономикой крупных европейских стран, при этом весьма вероятны более высокие темпы роста в сравнении со своими азиатскими соседями, в том числе при удачном стечении обстоятельств Индия способна развиваться даже быстрее Китая. При сохранении среднегодового темпа роста в 6.2 % в ближайшие несколько десятилетий вполне вероятен выход на третье место в мире по уровню ВВП.

При сохранении существующих тенденций развития, объем экономики Индии уже к 2025 может достигнет 60 % объёма экономики США. Весьма выгодное положение занимает государство и среди стран группы БРИК. Данный факт объясняется большим резервом трудоспособного населения Индии, и тем, что его средний возраст снижается незначительно.

На данный момент по объёму золотовалютных резервов Индии занимает 5 место в мире после КНР, Японии, Евросоюза и России. Успехи Индии не прошли незамеченными. Так аналитики Goldman Sachs в отчете «India's Rising Growth Potential» отметили что влияние Индии на мировую экономику следует пересмотреть, с учётом новых факторов её развития[5]. В отчёте отмечаются общий тренд на модернизацию, урбанизацию[6], наращивание научного потенциала. Для этого власти организовали практически с нуля вторую в мире IT-индустрию в окрестностях города Бангалор, сопроводив данное решение введением фактически оффшорных зон.

[1] по данным РИА Новости http://www.rian.ru/ric/news/20070412/63545432.html

[2] инвестиционный банк Goldman Sachs http://www2.goldmansachs.com/careers/index.html

[3] в Китае число защищенных докторских диссертаций с 1986 г. по 1999 г. увеличилась на 5400%. http://www.chelt.ru/2008/4-08/supyan_408.html

[4] 16 октября 2003 г http://news.bbc.co.uk/hi/russian/sci/tech/newsid_3192000/3192698.stm

[5] http://www.usindiafriendship.net/viewpoints1/Indias_Rising_Growth_Potential.pdf

[6] В Индии расположено более трети крупнейших городских агломераций, население которых должно увеличиться ещё на 700 миллионов человека к 2050 году. см там же.

В дополнение к вышесказанному, Индия является обладателем ядерного оружия и не входит в систему договоров по нераспространению. Так же в последнее время активизировались программы по наращиванию вооружений, в рамках которых Индия успешно взаимодействует с Россией.

Третьим звеном группы БРИК является Бразилия. Эта страна, возможно, наиболее неоднозначно оценивается большинством аналитиков. С одной стороны это государство с уровнем ВВП в более 2 триллионов по ППС занимает 9–10 место по величине экономики[7]. По величине золотовалютных резервов (более 200 млрд. долларов) Бразилия находится на 7 месте в мире. С другой стороны темпы развития Бразилии и как следствие инвестиционная привлекательность находится на последнем месте среди стран группы БРИК. Бразилия по подсчётам независимых экспертов, несмотря на рост капитализации рынка, уступает Мексике, которая по совокупным показателям стабильности и роста вплотную приближается к России[8].

Несмотря на указанные сомнения, Бразилия остаётся самой развитой страной латиноамериканского региона, с наиболее диверсифицированной экономикой и высоким потенциалом. Бразилия обладает достаточным количеством трудовых и природных ресурсов, крупным промышленным и банковским сектором, является основой экономического объединения Меркосур и в целом претендует на роль регионального лидера, к тому же активно лоббирует реформу ООН, с тем, чтобы войти в Совет Безопасности на правах постоянного члена.

В последние годы в Бразилии активно растёт наукоемкое производство, осваиваются спутниковые технологии. Бразилия активно сотрудничает с Россией в осуществлении космической программы (прежде всего в области консультирования научного персонала, и модернизации ракетоносителей), потенциально готова к использованию российской спутниковой системы ГЛОНАС. К приобретению ядерного потенциала страна не стремится.

Исходя из приведённых данных, очевидно, что страны БРИК обладают достаточным экономическим, военным, демографическим и научно-техническим потенциалом для успешной конкуренции с ведущими западными экономиками и прежде всего США. Осталось ответить на последний, возможно наиболее важный вопрос: каково место современной России в этой группировке?

Изначально в момент конструирования термина, и вплоть до начала кризиса 2008–2009 гг. объективность включения России в группу БРИК вопросов не вызывала. С 1998 года средние темпы роста ВВП составляли более 6.7 % в год, средний прирост инвестиций на 10 % в год, удалось справиться с инфляцией[9]. К августу 2008 года федеральные резервы составили внушительную величину практически в 600 млрд. долларов.[10] Экономическую эйфорию поддерживал небывалый рост цен на нефть, выросший с менее, чем 50 долларов за баррель в 2006 году, до более 120 долларов в середине 2008. Пиковые же значения колебаний на мировой финансовой бирже достигали 140 долларов за баррель[11].

Однако по итогам кризиса 2008–2009 гг. позиции России как в мировом масштабе, так и в рамках группы БРИК несколько ослабели, снизились темпы роста[12], была израсходована значительная часть федеральных резервов[13]. Свой отпечаток накладывает и падение цен на

[7] по данным МВФ http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/01/weodata/weorept.aspx?sy=2008&ey=2008&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=213%2C223%2C299&s=NGDPD%2CNGDPDPC&grp=0&a=&pr.x=27&pr.y=10

[8] по данным «РБК daily» http ://www.rbcdaily.ru/2008/07/10/focus/360027

[9] по данным CIA https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html

[10] по данным Bloomberg.com http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=RUREFEG%3AIND

[11] см. например Google.finance http://www.google.com/finance?q=LON%3AOILB

[12] по данным CIA https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html

[13] по данным Bloomberg.com http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=RUREFEG%3AIND

нефть до уровня двухлетней давности, которая привела к необходимости пересчёта доходной части бюджета.

В условиях мирового кризиса 2008–2009 гг. отечественная экономика продемонстрировала крайнюю уязвимость и неустойчивость. По сопоставимым данным Международного валютного фонда, рост ВВП в 2008 году на уровне 5,6 % сменился в России в этом году падением с темпом 6,5 %. Другими словами, относительный спад превысил в России минус 12 %, что является абсолютным мировым рекордом для крупных экономик. Для сравнения: в США относительный спад составляет всего минус 3,7 %, в Китае — 1,5 %, в Индии — 1,9 %. В еврозоне относительный спад составляет минус 6,5 %, в Бразилии — 6,4 %, а в странах СНГ (за исключением России) — минус 9,3 %. Другими словами, в мире нет ни одной крупной экономики, которая могла бы сравниться с Россией по темпам падения после начала кризиса [Сергеев 2009].

Некоторые рейтинговые агентства поспешили сделать из сложившейся ситуации довольно резкие выводы вплоть до отделения России и Бразилии от Китая и Индии в прогнозировании развития мирового хозяйства.[14] Однако аналитики не учли всего комплекса сложившихся связей между государствами группы и сильного потенциала входящих в него экономик. Несмотря на значительные расходы федеральных резервов, серьёзный кризис удалось преодолеть, не была допущена дезорганизация банковской системы, с помощью плавной девальвации рубля повысилась конкурентоспособность российских экспортных предприятий. К тому же мировой кризис повлиял не только на Российскую Федерацию, относительный спад почувствовали все серьёзные мировые игроки. Соединенным Штатам не оставалось иного выхода кроме выкупа государством просроченных долговых обязательств крупнейших инвестиционных банков страны.

Вместе с тем Российская Федерация по-прежнему сохраняет 7 место по совокупному объёму экономики в мире, она располагается на 4 месте по уровню золотовалютных резервов, на 3 месте по уровню инвестиционной привлекательности из всех развивающихся экономик. Немаловажен и военный аспект: Россия обладает одним из крупнейших ядерных потенциалов в мире, развитым военно-промышленным комплексом, космическими и спутниковыми технологиями. В данной области проводится тесное партнерство, прежде всего, со странами БРИК: совместные космические программы с Китаем и Бразилией, поставки новейшего вооружения всем странам — партнёрам, проведение совместных военных учений[15]. Поддержка России может оказаться весомым аргументом в обсуждении реформы ООН, и потенциально возможном расширении состава Совета Безопасности.

Таким образом, очевиден тот факт, что *по объективным показателям* Российская Федерация занимает одну из ведущих позиций в группе БРИК, и получает от сотрудничества значительные выгоды. Однако с точки зрения *соотношения, с одной стороны, стартовых позиций и потенциала модернизации, а с другой стороны, — достигнутых результатов* Россия предстаёт «слабым звеном» БРИК: стартовые условия модернизации РФ в начале 1990-х гг. были несопоставимо более сильными, чем аналогичные показатели КНР, Индии и Бразилии (о чем свидетельствует хотя бы такой показательный и «многосоставный» индикатор, как унаследованный от СССР сверхдержавный статус), однако качественные характеристики и динамизм достигнутых результатов в их относительном выражении значительно уступают партнёрам по БРИК. Это даёт основания предположить, что истоки относительной слабости

[14] например агентство Standard&Poor´s, по данным rb.ru http://www.rb.ru/topstory/economics/2009/02/05/182517.html

[15] на пример совместные учения «ИНДРА», регулярные учения российских и китайских пограничников. РИА новости http://www.rian.ru/defense_safety/20090226/163229236.html

России как развивающейся экономики определены недостаточной эффективностью субъективного фактора, то есть неэффективностью управленческой деятельности элит, чтобы провести сопоставление особенностей российской модернизации с характеристиками реализации аналогичных проектов в трех других странах БРИК для выявления истоков низкой эффективности российской модернизации в ее субъектном измерении.

Опыт модернизаций в Бразилии и России

Наибольшее число сходных черт прослеживается в случае сопоставления российского и бразильского случаев.

Бразилия, как и Россия, имеет авторитаризм в недавнем прошлом: в 1964–1985 гг. у власти в Бразилии находились установившие режим репрессивной диктатуры военные. Даже начало масштабных политико-экономических сдвигов в нашей стране России и Бразилии совпадают: в 1985 г. в СССР началась перестройка, а в Бразилии — было сформировано первое после военного режима гражданское правительство, как совпадает и время старта рыночных реформ: в обеих странах они начались в 1991–1992 гг.

Среди сближающих процессы модернизации в России и Бразилии характеристик наиболее значимыми являются следующие.

Импульсы модернизации и в России, и в Бразилии исходили сверху: и в СССР в середине 1980-х гг., и в Российской Федерации в начале 1990-х гг. инициаторами демократизации явилось высшее политическое руководство страны.

Традиционными пулами рекрутирования политических элит в Бразилии, как и в пореформенной России были государственный аппарат, региональные администрации, политические партии и общественно-политические движения, крупный бизнес — федерального и регионального уровня, университетская среда; в Бразилии до 1985 г. — важнейшим институтом рекрутирования политического руководства была армия. Достоинством существующей системы рекрутирования и ротации является режим реальной политической конкуренции, в рамках которой существенное значение имеют позиции крупного национального капитала и транснациональный бизнес. Наиболее значимыми механизмами карьерного продвижения являются конкурентные выборы, в ходе которых особое значение имеют имиджевые технологии, основанные на медиатизации имиджа лидера (примером может служить избирательная кампания 1989 г., которая принесла успех малоизвестному до того провинциальному предпринимателю Ф. Коллору); публичная политическая деятельность; общественная популярность (особенно в случае обладания харизмой, как это было с Лулой); профессиональная компетентность (как в случае Кардозу, осуществившего обуздавшего гиперинфляцию знаменитый План Реал), но также механизмы негативной селекции, как протекционизм и коррупция.

Главные черты сходства модернизационных процессов в двух странах определялись совпадающими концепциями и стратегиями модернизации: и в Бразилии, и в России начала 1990-х гг. методологической рамкой осуществления модернизации стал неолиберальный экономический курс в формате «шоковой терапии». Российские реформаторы не раз отмечали, что важнейшей целью ускоренной приватизации была не экономическая эффективность, а цели социально-политического характера, а именно: создание социальной базы новой политической власти. Как и в России начала 1990-х гг., политика «шоковой терапии» в Бразилии была продиктована установками элиты на осуществление эпохальных перемен одномоментно, что воскрешает в памяти попытки Н. Хрущева построить коммунизм за двадцать лет. Эти попытки были определены западными наблюдателями как попытки «перепрыгнуть пропасть

в два прыжка», как новое издание известной из китайского опыта «политики большого скачка».

Идентичными в обеих странах были и методы реализации «шоковой терапии» — преимущественно директивными авторитарными методами (в случае России достаточно упомянуть расстрел в Москве в октябре 1993 г. здания отечественного парламента, депутаты которого, реагируя на потребности массовых групп в смягчении последствий радикальных экономических реформ, не согласились в концепцией радикального реформирования, продвигавшегося президентом РФ Б. Ельциным). В обеих странах использование силовых методов проведения политики экономической либерализации проистекали из стремления элит осуществить демократический транзит недемократическими методами и представляли собой своего рода «большой скачок», что «весьма показательно для обществ, не имевших длительного демократического опыта и характеризовавшихся сильной традиционалистской установкой», отмечает известный российский исследователь-бразилианист Л.С. Окунева [Окунева 2008: 347].

Предсказуемо *совпали в обеих странах и результаты «шоковой терапии»*: в ходе проводившейся президентом Ф. Коллором в 1991–1992 гг. масштабной и форсированной политики «шоковой терапии» стало резкое усиление социальной поляризации, увеличение доли традиционно бедных и появление феномена «новых бедных», маргинализации целых социальных слоёв и пауперизация ряда социальных групп, численное увеличение категории «социально исключённых» (беднейших из беднейших). Эта политика ущемила экономические интересы не только массовых бедных групп, но также средних слоёв, включая предпринимателей. Если учесть, что удельный вес живущих за чертой бедности в Бразилии колеблется между 40 % и 60 % (в зависимости от методики подсчёта), то ущемление интересов средних слоев привело к значительному сужению социальной базы режима, политической дестабилизации, переформатированию внутриэлитных отношений и резкому их обострению.

Осуществление рыночных реформ усилило размежевания в среде и бразильских, и российских элит. Линии элитных расколов в обеих странах были разнообразными; большинство их в двух странах совпадали. Прежде всего, это раскол по линии ветвей власти. В России этим конфликтом было отмечено начало 1990-х гг. В Бразилии выражением усиления этого раскола стал при президенте Ф. Коллоре конфликт исполнительной и законодательной ветвями власти — президента и парламента: «Правительство и парламент превратились в два конфронтационных лагеря: президент правил с помощью актов временного действия («декрет-законов»), а Конгресс при любом удобном случае налагал на них вето [там же: 348].

Данный конфликт стал не последним по значимости обстоятельством, способствовавшим импичменту президента Ф. Коллора: в сентябре 1992 г. 441 депутат при 38 голосах «против» проголосовали за отстранение Коллора от власти. И хотя главной причиной импичмента были коррупционные обвинения — за два с половиной года у власти Коллор и его ближайшее окружение погрязли в коррупции, факты которой были публично доказаны, — предшествовавшие коррупционному скандалу конфликты в отношениях президента и парламента не способствовали политическому выживанию Коллора.

Конфликт президента и парламента в России был ещё более острым и завершился, как было отмечено выше, расстрелом здания парламента.

Другим значимым расколом внутри бразильских элит, как и в России, стала линия центр-регионы. Правда, есть и отличие: в России усиление влияние региональных лидеров носило кратковременный характер (оно существенно возросло в 1990-е гг., что стало уникальной особенностью данного период: исторически российское государство было централизованным): уже в начале 2000-х гг. центральная власть вернула себе утраченный было приоритет в отношениях с региональными руководителями. В Бразилии значительные на протя-

жении всего XX в. обширные полномочия региональных властей оставались константой и были непоколебимы даже в условиях военной диктатуры. В условиях политической и экономической турбулентности 1990-х гг. влияние региональных элит ещё больше возросло и сопровождалось в Бразилии (как и в России) усилением центробежных, а порой и сепаратистских тенденций. Нередкими были открытые конфликты региональных и федеральных властей, причём эти конфликты обретали такую остроту, что региональные руководители (а иногда и муниципальные власти) говорили с центром исключительно посредством ультиматумов, что способствовало повышению их популярности в своих провинциях и городах, но дестабилизировало политическую ситуацию в стране. Наиболее значимым проявлением раскола элит по линии центр-регионы в Бразилии стал возникший в январе 1999 г. конфликт между губернатором штата Минас-Жерайс И. Франку и федеральным правительством, когда губернатор приостановил выплату налоговых платежей федеральному центру. Этот конфликт не только вызвал серьёзный экономический кризис внутри страны, но даже вышел за ее пределы, вызвав международный финансовый кризис. В России наиболее острым проявлением противостояния региональных и федеральных властей стал конфликт в Чечне, вылившийся в две полноценные военные кампании[16]. Таким образом, в России конфликт уровней власти — как и противостояние ветвей власти — также сопровождался использованием военной силы.

В упомянутых конфликтах ветвей и уровней власти *проявились незрелость политической культуры элит обеих стран — неготовность к компромиссу и неразвитость культуры диалога*. Исследователи отмечают, что в позициях бразильских парламентариев «превалировали не общенациональные, а региональные устремления, защита интересов отдельных кланов и групп, личных интересов депутатов» [там же: 374]. Аналогичной выглядит характеристика и российских депутатов. Проведённое под руководством автора этих строк исследование эволюции и персонального состава депутатского корпуса РФ в рамках общеевропейского проекта «Парламентское представительство в Европе: рекрутирование и карьеры законодателей» [Best, Cotta 2000, 2007; Gaman-Golutvina; Semenova, Edinger and Best 2014] показало, что соотношение национальных, региональных и личных интересов в законотворческой деятельности не было оптимальным: личные и корпоративные интересы депутатов нередко брали верх по отношению к общенациональным [Гаман-Голутвина 2006a, 2006b][17].

Ещё одним значимым расколом в среде элит — на сей раз экономических, — который составляет сходство противоречивых процессов модернизации в России и Бразилии, стали *размежевания между национально ориентированным бизнесом и компрадорскими силами.* Кроме того, в обеих странах *совпадает конфигурация факторов экономического успеха* — условием бизнес-успеха являются покровительство политического руководства: «Вместо децентрализации и создания свободной и конкурентной экономики в латиноамериканском и российском случаях сложился такой тип капитализма, когда «успех той или иной кампании всецело зависит от ее политических связей наверху», — отмечает перуанский исследователь А. Варгас [Варгас 2006: 109]. Неудивительно, что в условиях данной системы коррупция становится повседневной практикой. Причём характерно, что победить эту болезнь в Бразилии не смогли ни правые, ни левые: не только Коллор в 1992 г. был отстранён от власти в результате коррупционного скандала, но и в период президентства Лулы неоднократно вспыхивали коррупционные скандалы (в 2004 г. разгорелось «дело Валдомиру», затронувшее влия-

[16] Впрочем, чеченские войны не правомерно рассматривать только как противостояние центра и регионов: конфигурация конфликтов и коалиций имела более сложные траектории.

[17] Гаман-Голутвина О.В. Российский парламентаризм в исторической ретроспективе и сравнительной перспективе // Гаман-Голутвина О., Пляйс Я., отв. ред . Парламентаризм в России и Германии: История и современность — М.: Росспэн, 2006; Гаман-Голутвина О.Российский парламентаризм: историческая традиция и персональный состав депутатского корпуса // ПОЛИС. 2006. № 2–3.

тельные фигуры правительства Лулы; в 2005–06 гг. коррупционные скандалы относительно привлечения голосов оппозиционных депутатов парламента посредством ежемесячных им выплат повлекли отставки ключевых политиков правительства Лулы). Коррупция является проявлением более общей проблемы — обширного в обеих странах неформального сектора экономики и системы теневых отношений, в том числе откровенно криминальных.

Устойчивость теневых отношений определена не в последнюю очередь рядом присущих бразильским и отечественным бизнес-элитам особенностей сознания и поведения, находящих особенно заметное отражение в их поведении в периоды кризисов. В частности, исследователи бразильского опыта фиксируют феномены «инфляционистского сознания» и «инфляционистской культуры», которые означает «возможность процветать не за счёт предпринимательского риска, производственных инвестиций, а за счёт манипулирования обусловленной высокой инфляцией разницей в курсах валют, за счёт биржевых спекуляций, игры на финансовой неразберихе» [Окунева 2008: 374–375]. Аналогичные явления имели место в России в 1992–1994 гг., 1998 г., 2008–2009 гг. В частности, в 2008–2009 гг. наибольшие суммы бюджетных средств были выделены правительством РФ для спасения отечественной банковской системы, тогда как средства для поддержки реального сектора экономики были несопоставимо более скромными. Но даже эти ограниченные средства не доходили до реальных предприятий — они использовались банками для игры на финансовом рынке. Таким образом, феномены «инфляционистского сознания» и «инфляционистской культуры» равно характерны и для Бразилии, и для России. Можно предположить, что феномены «инфляционистского сознания» и «инфляционистской культуры» являются элементами более общей проблемы, а именно — неразвитости политического сознания и политической культуры экономического класса, всецело зацикленного на узкопартикулярных сиюминутных интересах и «коротких» целях. И в этом видится существенный ограничитель полноценных процессов модернизации и демократизации в обеих странах.

Но главный раскол в среде бразильских элит — *это раскол относительно повестки модернизации, ее приоритетов и направлений, а также по вопросу соотношения модернизации и демократизации.* Данные расколы имели формат вызова: возможно ли совмещение неолиберальной политики с реализацией активной социальной политикой? Поскольку в качестве главного инструмента смягчения негативных последствий неолиберального курса рассматривалось государство, это определило смещение в центр общественных дискуссий вопроса о роли государства в условиях глобализации, о трансформации его полномочий и функций, о роли в процессах модернизации и демократизации, о конфигурации способствующего модернизации политического режима.

Подчеркнём специфическую конфигурацию данного раскола. Как известно, в Бразилии, как и в большинстве стран региона, размежевание между правыми и левыми флангами политического спектра является одной из наиболее значимых демаркационных линий, что определено наличием мощных левых сил: не случайно на рубеже XX и XXI в Латинской Америке произошёл знаменитый «левый поворот». Раскол в бразильских элитах не повторяет буквально раскол между правыми и левыми, он сложнее: так, придя к власти, Лула не смог отказаться оказаться проведения экономического курса, близкого по содержанию к тому, что проводил его предшественник у власти Кардозу. Известный отечественный исследователь-бразилианист Л. Окунева называет это «драмой левых у власти»: придя к власти, убеждённый сторонник левых идей Лула вынужден был проводить политику, не вписывающуюся в каноны левых экономических теорий.

Различные лидеры страны давали отличные ответы на эти «проклятые» вопросы бразильской модернизации. Если Ф. Коллор (1989–1992) делал упор на приватизацию, монетарные реформы в экономике и переход от политики импортозамещения к политике привлече-

ния иностранных инвестиций, то Ф.Э. Кардозу уделял первостепенное внимание жизненно необходимому в условиях гиперинфляции (ее уровень в начале 1991–1992 гг. составлял 15–20 % в месяц, а в 1993 г. достиг годовой отметки в 2600 % [Vercueil 2011: 82]) оздоровлению финансовой системы (введение в действие в 1994 г. ещё в бытность министром финансов «Плана Реал»), интеграции Бразилии в глобальную финансово-экономическую систему и демократизации политической системы. Введению национальной валюты — бразильского реала — Кардозу рассматривал в качестве основного инструмента модернизации и стремился найти оптимальное баланс между проведением экономически эффективного курса и смягчением наиболее острых социальных последствий рыночных реформ. Однако в последние годы его президентства экономический либерализм стал отчетливо доминировать по отношению к социальной политике. Разочарование в этой политике массовых групп и части среднего класса открыло возможность прихода Л.И. де Силва (Лулы) на пост президента. Победа Лулы в 2002 г. после четырёх неудачных попыток (троекратного поражения в 1989, 1994 и 1998 гг. на президентских выборах и поражения 1982 г. на губернаторских выборах в штате Сан-Паулу) стала возможной в результате отторжения большинством населения курса Кардозу, в котором рыночная составляющая стала приоритетной по отношению к социальному измерению его политики. Лула стал персонификацией этого отторжения и олицетворением курса, в основе которого лежало новое сочетание сходной по содержанию с линией Кардозу экономической политики и реализация широких социальных программы, усиление регулирующих и социальных функций государства. Ликвидация нищеты, сокращение бедности, борьба с голодом и развитие образования — основные приоритеты политики Лулы, которое обеспечили ему победу на президентских выборах 2002 г. и 2006 г. Это было неудивительно в стране, порядка половины который имело уровень жизни за чертой бедности, что определяло симпатии значительной части населения в пользу социально-ориентированного курса. Его поддержал национальный капитал, средний класс, часть интеллектуальной элиты.

Нахождение оптимального баланса между рыночными мерами и эффективной социальной политикой стало фирменным знаком правления Лулы и обеспечило успех политики модернизации на рубеже XX и XXI вв. Известный французский экономист Ж. Веркей называет это преимуществом «уровновешенного развития». В данном отношении наиболее заметно проявляется действие фактора, обеспечившего успех модернизации в Бразилии. Успех модернизации стал результатом отказа руководства страны от неконтролируемого дерегулирования и способности руководства осуществлять управление модернизацией «в режиме реального времени», вовремя устраняя диспропорции, с которыми сталкиваются страны с быстро развивающейся экономикой.

Прежде всего, речь идёт о глубоком социальном неравенстве. В Бразилии при Луле за короткий срок была реформирована системы медицинского обеспечения; усилена больничная система; введена единая система бесплатного медицинского страхования, на которую расходуется 4 % госбюджета; принят федеральный закон, позволивший снизить стоимость лекарств. Были введены пособия для наиболее обездоленных семей на условиях их включения в общественные программы охвата школьным обучением, вакцинации и питания. Начали осуществляться пенсионные программы и программы строительства социального жилья. В результате в период между 1992 и 2008 гг. доля населения, находящегося на ниже черты бедности, сократилась с 35 % до 18 %. Отягощавший экономику страны с конца 1970-х гг. внешний долг был выплачен благодаря развитию внешней торговли. Привлечение иностранных инвестиций позволило осуществить программы развития ряда современных отраслей промышленности. Именно активная и гибкая управленческая политика в 2000 гг. позволила Бразилии оперативно преодолеть последствия экономического кризиса и восстановить темпы экономического роста на уровне 5 % в год уже к 2010 г. [Vercueil 2011: 84–98]

Бразильский опыт показал, что «новые правящие элиты как один из важных социальных агентов перемен, состоящие из современных, технократически обученных и мыслящих кадров, способны — при опоре на современные сектора — могут вывести экономику из кризиса, эффективно реализовать потребности ее ускоренного развития. И наоборот — неспособность элит разработать пути и формы дальнейшей эволюции на основе анализа и чёткого осознания специфики бразильского опыта совместить институциональные формы государственной организации с «гетерогенным, дифференцированным и неравномерным характером социального устройства Бразилии представляла собой серьёзную политическую проблему» [Окунева 2008: 352].

Если обратиться к отечественным реалиям, то можно констатировать, что в среде отечественных элит на протяжении последнего двадцатилетия также существовало (и существует) размежевание относительно стратегии модернизации: на протяжении двадцати лет сосуществовали две позиции в осуществлении политики модернизации. Приверженцы первой линии придерживаются монетарных установок, тогда как их оппоненты выступают за проведение более социально ориентированного экономического курса. Практически весь финансово-экономической блок и нынешнего состава правительства представляет собой относительно сплочённую группу сторонников данной линии. В качестве оппонентов этой политически влиятельной стратегии в разное время выступали различные силы. Так, в начале 1990-х гг. депутаты российского парламента в период острого конфликта с президентом Б. Ельциным выступали за более умеренный вариант реформ. В конце 1990-х гг. за более сбалансированное сочетание рыночных реформ с социальными программами выступали такие политики, как Е. Примаков и Ю. Лужков (который на практике в Москве стремился к проведению взвешенной социальной политики); в настоящее время к немногочисленным сторонникам данного курса можно отнести нынешнего советника президента РФ С. Глазьева. При этом практически на протяжении всего двадцатилетия в структуре российской политической элиты доминирующие позиции занимали сторонники монетарной экономической стратегии, рассматривающие финансовую стабильность в качестве главной цели стратегии модернизации.

Однако раскол относительно повестки и стратегии модернизации не был в России главной линией раскола элит: абсолютное большинство внутриэлитных конфликтов — порой ожесточенных — разгоралось не по политико-концептуальным сюжетам, но по мотивам борьба за доступ к эксклюзивным ресурсам. Но даже в ходе сущностных конфликтах можно обнаружить элемент партикулярных интересов. Об этом свидетельствует рассмотрение наиболее значимых внутриэлитных конфликтов последнего двадцатилетия. Среди последних следует назвать следующие: в 1993 г. — конфликт президента и парламента; в 1994–1995 гг. — по поводу конфликта в Чечне; 1996 г. в ходе президентских выборов, когда из высших эшелонов власти была удалена группа Коржакова, ранее — наиболее влиятельный элитный сегмент; осенью 1998 г. после августовского дефолта; 1999 г. — серия сложносоставных внутриэлитных конфликтов, в ходе которых в мае была инициирована попытка процедура импичмента, а в декабре президент Б. Ельцин досрочно ушёл в отставку.

Победивший в ходе президентских выборов В. Путин осуществил масштабное переформатирование властного Олимпа посредством конфигурации «властной вертикали», что означало ликвидацию существовавших ранее автономных центров влияния. Анализ субъектного поля российской политики показывает, что после избрания В. Путина Президентом РФ в этом поле произошли существенные изменения. Ведущими субъектами российской политики при Ельцине обоснованно считались три игрока — федеральная и региональная бюрократия и крупный бизнес. Итоги избирательного цикла 2003–2004 гг. свидетельствуют, что его безусловным победителем стала центральная исполнительная власть, которая не только добилась победы над «право-левой» оппозицией с разгромным счётом, но и обеспечила себе несо-

мненное преимущество по отношению к своим «младшим партнёрам» — региональной исполнительной вертикали и бизнесу. По итогам избирательного цикла 2003–2004 года сложилась моноцентрическая политическая конструкция, центром которой является Президент Российской Федерации.

Траектория служебной и политической карьеры Путина конкретизировала адреса кадрового пула, из которого черпались кадры. Это органы КГБ и мэрия Санкт-Петербурга. Скорость карьерного продвижения В.В. Путина обусловила дефицит квалифицированных управленцев в его команде. Положение аутсайдера в среде московской и федеральной элиты (Путин прибыл в Москву с должности заместителя мэра северной столицы, и срок его работы в федеральных органах власти к моменту выдвижения на высший государственный пост не превышал трех лет), безусловное доминирование доставшихся в наследство от Ельцина кадров и стремление в условиях острой внутриэлитной борьбы опереться на надёжных и лично преданных людей определило массовый приток в федеральную политическую элиты сослуживцев Путина по работе в КГБ и питерской мэрии. Именно эти обстоятельства определили наиболее заметную тенденцию обновления политической элиты при Путине — возрастание численности бывших и действующих сотрудников военных и специальных ведомств. В этой связи следует отметить, что принципиальной новацией эта тенденция не была — вхождение силовиков во власть началось ещё при Ельцине (достаточно назвать упоминавшиеся выше фигуры А. Коржакова, М. Барсукова, П. Грачева и других, достаточно влиятельных военных ельцинской поры). Однако именно при Путине вхождение военных в структуры гражданского управления приобрело массовый характер.

Активное вхождение во власть бывших и действующих военных побудило публицистов выдвинуть тезис о формировании в путинской России нового правящего слоя — «милитократии».

Однако тезис о засильи милитократии представляется неадекватным по целому ряду причин. Во-первых, политический курс бывших военных не определяется автоматически их предшествующей профессиональной биографией. Зачастую пришедшие во власть военные, как правило, не являются лоббистами ВПК, а довольно быстро осваивают новую для себя роль лоббистов коммерческих структур. Если в США консерваторы-«ястребы» в составе администрации Дж. Буша (их политический оппонент генерал К. Пауэлл назвал их chickenhawks — «куриными ястребами», в связи с тем, что большинство из них не служили в армии) пролоббировали увеличение военного бюджета с 3 до 3,8 % ВВП (что составляет огромную сумму, учитывая объем ВВП США), то в РФ, несмотря на заметное присутствие «силовиков» во власти, существенного роста военных расходов произошло лишь в 2013 г.

Во-вторых, экспансия «силовиков» — лишь внешняя сторона кадровой политики Путина, не вполне адекватно отражающая изменения в источниках рекрутирования элит. По оценке экспертов, темпы вхождения во власть представителей бизнеса заметно опережают аналогичные показатели военных. Быстрый рост удельного веса предпринимателей, заметно опережающий приток бывших военных в состав элиты, определяет наиболее существенные тенденции эволюции персонального состава политической элиты в течение первого десятилетия нового века.

Таким образом, наиболее значимыми *социальными категориями* рекрутирования элиты при Путине стали военные и предприниматели. Основными *клановыми источниками* пополнения элитного пула при Путине были «семья» — наиболее могущественный элитный клан при Ельцине; сослуживцы Путина по работе в КГБ; сотрудники Путина по Санкт-Петербургской мэрии. Характер элитной ротации при Путине определялся постепенным вытеснением «семейных» ставленников за счёт расширения двух последних категорий: если в течение первого срока ключевые посты главы Администрации Президента РФ и главы Правительства РФ

занимали ельцинские кадры, то, начиная со второго президентского срока, команда Путина уже практически полностью состояла из его выдвиженцев.

При этом следует отметить значительную неоднородность питерской команды Путина. Собственно такой команды как единого целого не существует вследствие значительной разницы идеологических пристрастий, политических установок, ментальности, типа карьеры путинских выдвиженцев из Санкт-Петербурга. Эти различия определили неизбежность конфликтов не только между «семейной» и «питерской» группами, но также внутри питерского сообщества: зачастую питерские «силовики» противостоят питерским «либералам». Сосуществование различных элитных групп объясняется сосуществованием различных экономических и политических установок в политике самого Президента Российской Федерации, а сдерживающим фактором конфликтов субэлитных групп являются их подконтрольность и безусловная лояльность главе государства.

Анализ *внутренней структуры* путинской элиты обнажает черты ее сходства и различия по отношению к ельцинской. Ни в 1990-е гг., ни в настоящее время федеральный центр не был гомогенным монолитным образованием. Трансформация советской номенклатуры в постсоветскую элиту сопровождалось диверсификацией системы интересов, уровней и субъектов подготовки и принятия решений. В ельцинский период и на федеральном, и на региональном уровнях политики существовало множество центров принятия решений, каждый из которых вёл борьбу за упрочение своих позиций и расширение ресурсов влияния. Действия этих структур были часто не просто не скоординированы, но прямо противоречили друг другу. Как отмечалось выше, особенностью ельцинских кланов было сосредоточение политических и экономических ресурсов в одних руках и формирование на этой базе политико-финансовых олигополий, стремившихся обрести максимальную полноту функций и превратиться в замкнутые самодостаточные автономные образования. В конце 1990-х гг. началось образование «вертикально интегрированных» политико-финансовых структур, включавших в себя федеральных и региональных акторов (представителей органов власти, финансово-промышленных групп, политических партий и движений, СМИ). В 2000-е гг. и на федеральном уровне, и в регионах политико-административная бюрократия активно участвовала в процессах перераспределения экономического и политического влияния между административной вертикалью и крупными финансово-промышленными группами.

Традиционные для постсоветской политики глубокие внутриэлитные размежевания не исчезли, но изменили конфигурацию. В течение первого срока наиболее заметными внутриэлитными конфликтами были противоречия между «семейными» ставленниками и питерскими выдвиженцами. Характер этих конфликтов определялся борьбой за доступ к эксклюзивным ресурсам. По мере укрепления власти Путина внутриэлитные расклады стали меняться. Во-первых, тесная связь между бизнесом и властью утратила статус приоритетного основания внутриэлитной консолидации. Во-вторых, групповые противоречия были дополнены идеологическими и политическими. Наиболее значимым идеологическим основанием конфликтов стало отношение к роли государства в экономике и политике. В этом контексте очевидна дихотомия позиций государственников, выступающих за активную государственную политику, и антиэтатистов, стремящихся снизить участие государства в экономике и политике. В свою очередь, в рамках «государственного» лагерей наблюдатели выделяют приверженцев де-приватизациии и неодирижистов, а в среде антиэтатистов — умеренных и радикальных противников усиления роли государства.

Таким образом, картина внутриэлитных раскладов при Путине существенно сложнее, чем при Ельцине. Эта картина многомерна, полиаспектна и характеризуется пересечением различных оснований дифференциации. Однако отличны не только основания внутриэлитной дифференциации, но также модель отношений между субэлитными группами. Знамени-

тая ельцинская система «сдержек и противовесов» была выстроена в формате «демократии беспорядка» по формуле «борьба всех против всех». Путинская «вертикаль власти» означат безусловное подчинение субэлитных групп Президенту РФ. Уже к началу второго президентского срока Путина автономия существовавших при Ельцине центров влияния (Администрация Президента РФ, Правительство РФ, Государственная Дума и Совет Федерации ФС РФ, региональные группы влияния) была ликвидирована.

Выдвижение Д. Медведева в качестве президента РФ стало проявлением подавляющего преимущества Путина как лидера государства. Взятый им на вооружение лозунг модернизации стал центральным концептуальным стержнем его президентства. Одним из результатов его президентства стало создание инограда «Сколково». Однако пока говорить об эффективности данного проекта пока преждевременно.

Наиболее заметным конфликтом второго десятилетия стали массовые выступления осени 2011 и зимы 2012 гг. в разгар федерального избирательного цикла. Анализ данных сюжетов показывает, что наряду с концептуальными политическими противоречиями в данных выступлениях содержался также элемент внутриэлитной борьбы как выражение соперничества по поводу обретения и удержания власти. Таким образом, в наиболее значимых конфликтах двух последних десятилетий неизменно присутствовал элемент борьбы за доступ к властным позициям. Причём борьба между различными фракциями отечественной элиты носила порой столь острый характер, что предложенный автором этих строк в публикации в «Независимой газете» термин «террариум единомышленников» [Гаман-Голутвина 1999] для определения отечественного сообщества элит неожиданно для автора термина вошёл в активный оборот.

Тот факт, что в центре внутриэлитной борьбы находятся не столько вопросы стратегии развития страны, сколько борьба за доступ к ресурсам, характеризует уровень мышления, мировоззренческие установки, ценностные ориентации отечественных элит.

В контексте обсуждения сходных черт модернизации и Бразилии и России следует обратить на ещё одну неслучайную характерную особенность, аналогичную для Бразилии и России. Фирменным знаком современного латиноамериканского стиля лидерства выступает харизматический стиль, популизм. Лидерами-популистами в разное время были президент Бразилии Ф. Коллор, Перу — А. Фухимори, Аргентины — К. Менем [Окунева 2008: 369]. Суть этого феномена в том, что лидеры латиноамериканских стран, будучи в большинстве случаев выходцами из высших страт общества, стремятся позиционировать себя как отцов всей нации, как лидеров «над схваткой», обращаясь напрямую, минуя партии, к народу.

Успех провинциального предпринимателя Ф. Коллора, ставшего президентом Бразилии в 1989 г., весьма характерен для обществ периода демократического транзита. Как и в России, избиратели которой интересовались не программами кандидатов, а их речами, действуя порой по принципу «обмануть меня не трудно — я сам обманываться рад», в Бразилии часто достигался методами медиатизации имиджа кандидата-аутсайдера. Исследователи подчеркивают поразительное сходство стиля В. Жириновского и Ф. Коллор, которые на считанные месяцы избирательных кампаний (1991 и 1989 гг. соответственно) превратились из малоизвестных третьеразрядных фигур в политиков первого ряда.

Значение харизматического популизма в латиноамериканском политическом процессе амбивалентно: с одной стороны, популизм, став инструментом рыночной экономической политики (приватизация, транснационализация) выступил как фактор, благоприятствовавший модернизации как это было в Бразилии в эпоху Ф. Коллора и в Мексике при К. Менеме. С другой стороны, популизм может означать «не только демократизацию, включение масс в политический процесс, но и — на примере Бразилии начала 1990-х гг. — показать свое “автори-

тарное лицо”» [там же: 368], то есть торпедировать демократизацию, которая призвана быть значимым элементом модернизационного курса.

Аналогичной выглядит ситуация в России: во второй половине 1980-х гг. популистом был М. Горбачев, полное повторов говорение которого длилось часами. В начале 1990-х гг. популистскую эстафету приняли Б. Ельцин и В. Жириновский, ставшие на стезю харизматического популизма: звонкие, но неконкретные лозунги; апелляция к прямой связи с народом (использование Жириновским своей партии ЛДПР это не отменяет); фантастические по своему содержанию, но принципиально невыполнимые обещания — этот стиль вполне соотносится со тем, что известен по латиноамериканскому опыту. И так же, как в Бразилии этот стиль лидерства привлекал массовые симпатии и выгодно смотрелся после лаконизма и закрытости советских руководителей преклонного возраста.

Рассматривая феномен харизматического лидерства, следует отметить, что апелляция к прямой связи с народом являлась элементом традиционной для России модели отношений в треугольнике «верховная власть — аристократия-массовые группы», которая существовала на протяжении длительного исторического периода — начиная с 15 в. и вплоть до середины XX в. Эту модель И. Солоневич определял как «народную монархию», призванную обеспечить социальную поддержку верховной власти со стороны массовых групп населения в период модернизаций, нередко сопровождавшихся в России репрессиями в адрес управленческого слоя (как это было в периоды правления И. Грозного, Петра Великого и И. Сталина). Репрессии были призваны обеспечить максимальную эффективность управленческого слоя и обеспечить социальную опору верховной власти в ее противостоянии с боярством, аристократией, номенклатурой. Если же обратить к современным примерам исхода XX в., то очевидно, что в случае Ельцина и Жириновского это сходство было формальным и носило сугубо имиджевый характер.

Сходство лидерского стиля в Бразилии и России дополняется *близостью характеристик массового сознания и поведения в обеих странах*, где накануне шоковой терапии наблюдалось состояние эйфории, ожидание чуда, одномоментного вхождения в рыночный рай, восприятие лидера страны в качестве мессии, который одним махом осчастливит всех обездоленных.

Наличие отмеченных выше сходных черт не отменяет *отличий бразильского и российского опыта.*

Во-первых, стоит отметить *разносоставность повесток модернизации в России и Бразилии* [Linz, Stepan 1996]: если первом случае важнейшей модернизационной задачей исторического масштаба была трансформация государственного социализма и его преобразование в систему рыночных отношений, то во втором случае речь шла о лишь расширении сферы рыночных отношений сил за счёт урезания полномочий государства [Гаман-Голутвина, Пляйс 2006].

Вторым существенным различием Бразилии и России является *отличия алгоритмов модернизации*: если в России заданный ориентированный с начала 1990-х гг. преимущественно на монетарные императивы вектор экономической политики не претерпел существенных изменений на протяжении всего последнего двадцатилетия, то в Бразилии первоначальная монетарная модель не стала догмой и в начальный план были внесены существенные коррективы в пользу диверсификации и расширения повестки. Бразильская модель экономического роста отличалась от тех, что стали основой экономического успеха Китая и азиатских тигров. «Экономический подъем Бразилии стал возможным диверсифицированному характеру экономического роста, опиравшемуся одновременно на иностранный капитал, развитие внутреннего рынка и завоевание внешних рынков», отмечает Ж. Веркей [Vercueil 2011: 80–90].

Существенно *отличался в двух странах и темп модернизации*: в Бразилии был реализован реформистский, а не революционный; умеренный, а не радикальный алгоритм преобразований: «Отличительной чертой именно бразильского варианта переходного периода явился постепенный характер этого перехода: не путём резкого разрыва с прежним политическим устройством, а посредством плавного перевоплощения одного качественного состояния в другое — в полном соответствии с бразильской политической традицией нерадикального разрыва с прошлым», — отмечает Л. Окунева. Причём умеренные алгоритмы проведения политического курса характерны и для периода демократического транзита (1985–1994 гг.), и для «эры Кардозу» (1995–2002 гг.), и для «эпохи Лулы» (с 2003–2010 гг.) [Окунева 2008: 351, 761–764]. Стоит отметить, что, несмотря на авторитарное наследие военной диктатуры, даже в условиях острых конфликтов между ветвями и уровнями власти, между различными политическими фракциями внутри федеральной элиты[18] данные конфликты не обретали формата войны. Стороны конфликтов не прибегали к силовым стратегиям: ни один из президентов не прибегал к крайним репрессивным или насильственным мерам. Примером цивилизованного разрешения конфликта может служить отстранение президента Ф. Коллора от власти в 1992 г. в результате коррупционного скандала посредством процедуры импичмента. Даже Лула, заметно отличавшийся по своим политически ориентациям от своих предшественников, форсируя социальную составляющую своего курса, не совершал резких политических виражей.

Приверженность согласительным способам разрешения конфликтов стала проявлением свойственной Бразилии традиции неконфликтного расставания с историческим прошлым: никакой из исторических периодов, включая период репрессивной диктатуры военных, не квалифицируется в качестве «чёрной дыры» истории [там же: 399]. Даже проводившееся при Кардозу расследование судеб репрессированных и пропавших без вести в период правления военных не сопровождалось демонизацией этого периода.

Но главное отличие модернизации в Бразилии и в России, являющееся несомненным следствием реализуемых элитами двух стран различных политик модернизации, предстают результаты этих политик и траектории эволюции двух политий: если Бразилия уверенно движется по траектории движения от традиционного к современному обществу, то в России фрагментарная (по ряду значимых параметров было зафиксировано существенное ухудшение[19]), модернизация отдельных отраслей и территорий сопровождается частичной архаизацией ряда социальных сегментов.

Содержательная коррекция приоритетов модернизации стала возможной благодаря такой особенности Бразилии, которая роднит ее с азиатской (китайской и НИС), но существенно отличает от российского опыта. Аффилиированные с отечественным государством элитные группы не смогли (или не захотели) осознать значимые перемены в концептуальном арсенале и практиках модернизации начала XXI в., основанных на концепции knowledge based economy. Невостребованность современных моделей модернизации в России и слабость го-

[18] В данном случае уместно, упомянуть предложенную Д. Сартори дихотомию «политика как войны» и «политика как торг». Конфликты бразильской элиты не обретали формат «политики как войны».

[19] В России в январе 1992 г. инфляция составила 250%; а в целом за год достигла отметки 2500%,падение ВВП составил 15–20%, а за период 1992–1998 гг. ВВП сократился на 40%, объем инвестиций — на 80%. В 1994 г. около трети населения получали доход ниже прожиточного минимума. В 1992–1994 гг. наблюдался двукратный рост убийств; число самоубийств увеличилось на 43%; смертность от потребления алкоголя — на 183% (веркей С. 114– 118) э «В отличие от Бразилии, Китая и в некоторой степени Индии Россия не смогла до сих пор ни диверсифицированно интегрироваться в мировую экономику, ни в достаточной степени укрепить совй внутренний рынок» (Vercueil J. Op. Cit. P. C. 121–122). В России и единственной из всех стран БРИКС наблюдался не рост, а падение производительности труда. В ходе приватизации предприятия начали сбрасывать социальную сферу, в результате чего, в условиях вакуума государства, населении лишилось доступа к социальным услугам (Vercueil J. Op. Cit. P. C. 153, 163).

сударственных институтов в качестве модернизационных агентов взаимно обусловливают друг друга: поскольку являющееся основой knowledge based economy развитие человеческого потенциала является исключительной прерогативой государства, вне целеполагающей и целереализующей роли государства реализация.

Несмотря на то, что уровень экономического и социального развития Бразилии на старте модернизации серьёзно уступал российскому, главное достижение Бразилии состоит в том, что в течение последних 15 лет удалось перейти от доминировавшей в период военной диктатуры 1970–80-х гг. формулы «*рост без развития*» к формуле «*рост плюс развитие плюс благосостояние населения*» [там же: 757]. Причём инструментом достижения столь впечатляющих качественных результатов стало использование современных концепций модернизации и опыта наиболее экономически развитых стран, который показывает, что ключевым механизмом развития выступает *развитие человеческого потенциала*. При этом следует отметить роль фактора квалифицированного управления, который позволял скорректировать приоритеты модернизационного процесса: если в начале 1990-х гг. важнейшим приоритетом была либерализация, то в начале нового века концепция изменилась в пользу более социально-ориентированной модели. Следует особо подчеркнуть, что данный поворот был обусловлен не только стремлением преодолеть вызванные ускоренным ростом диспропорции, но также стал результатом осмысления современных концепций модернизации — модели knowledge-based economy, основанных на развитии человеческого потенциала.

В развитых странах развитие человеческого капитала является ресурсом и фактором создания knowledge-based economy; в развивающихся обществах — инструментом преодоления бедности и разрыва порочного круга «бедность—необразованность—бедность», что отличает современные модернизации от их классических догоняющих версий, основанных, как известно, на представлениях о первоочередности экономического по отношению к социальному: «Сегодня мы наблюдаем инверсию социального и экономического по сравнению с периодом индустриализации: социальное выдвигается на первый план, экономическое подчиняется его императивам» [Гаман-Голутвина, Олейник 2008].

Таким образом, развитие человеческого потенциала посредством форсированных инвестиций в развитие человеческого капитала стало ключевым механизмом достижения модернизационных успехов. Достижения Бразилии в области образования, в частности, включали введение обязательного среднего образования, программы повышения квалификации учителей; оснащение государственных школ компьютерной техникой в расчете один компьютер на одного ученика. Причём именно инвестиции в сферу образования рассматривались в качестве инструмента преодоления бедности: семьи, дети которых не посещали школу, не получали государственной материальной поддержки. Именно меры по развитию человеческого потенциала позволили Бразилии разорвать порочный круг *бедность-необразованность-бедность*[20].

В данном отношении авторы бразильской модернизации в полной мере извлеки уроки из историй успеха наиболее успешно развивающихся стран (включая такие столь различные страны, как США и Сингапур). Это опыт показал, что одной из ведущих технологий обеспечения конкурентоспособности стало создание и эффективное функционирование knowledge based economy — «экономики знаний». Ключевое условие, предпосылка и инструмент создание экономики знаний — качество человеческого потенциала. При этом развитие человеческого потенциала является исключительной прерогативой государства. Примером успешных

[20] Впечатляющих особенно с сопоставлении со стартовыми позициями — порядка половины населения балансировало на уровне прожиточного минимума; ограниченный сегмент лиц с высшим образованием и невысокий процент имеющих среднее образования, неоптимальная структура экономики; наличие значительного сегмента ручного неквалифицированного труда, гигантская социальная поляризация и т.п.

усилий по достижению успехов в этом направлении может служить политика США по созданию новой экономики посредством инвестирования в человеческий потенциал. В этом контексте заслуживают упоминания усилия администрации Б. Клинтона, заявившей о необходимости «изобрести государство заново» и предпринявшей усилия по пересмотру функций государства. Ключевым направлением реформ госуправления (наряду с созданием электронного правительства; сокращением и удешевлением содержания госаппарата) стали меры по стимулированию новой экономики посредством усилий по развитию человеческого потенциала. В частности, эксперты констатируют увеличение ассигнований на эти цели в течение последних пятнадцати лет. Если в 1990 г. совокупные расходы, в той или иной мере затрагивающие социальное развитие составляли 49,4 % федерального бюджета США, то к 2000 г. этот показатель достиг 62 % [Политическая система США… 2000: 133–134]. Администрация Дж. Буша (увеличившая военные расходы до 3,8 % ВВП), вместе с тем увеличила также расходы на социальные цели в контексте политики «сострадательного консерватизма». Нехарактерный в целом для традиционной политики республиканцев рост доли федерального бюджета в ВВП США с 18,5 % в середине 1990-х гг. до 20,3 % к 2004 г. отчасти обусловлен увеличением гражданских программ бюджета, которые возросли на 36 % [Рогов 2005: 54]. Газета Los Angeles Times констатировала в феврале 2005 г.: «Республиканцы сегодня не спорят с демократами о том, какое правительство необходимо США: большое или маленькое. Они спорят о том, каким должно быть большое правительство» [Hook 2005]. Иракская кампания и ряд иных неблагоприятных обстоятельств побудили администрацию Буша снизить социальные расходы, однако их доля в бюджете по-прежнему остаётся весомой.

Подобные установки существенным образом отличает современную государственную политику от стандартов ушедшей эпохи. До конца XIX в. доля государства в ВВП практически не превышала 10 %, из которых социальные расходы в течение пятидесяти лет, предшествовавших Первой мировой войне, составляли около 1,5 %. Картина начала меняться в межвоенный период, и существенно изменилась после Второй мировой войны, когда начался резкий рост госбюджета практически во всех странах Запада. В Великобритании, Франции, Германии, Италии к 1960 г. госрасходы превысили 30 % ВВП, в США — 27 % ВВП.

При этом рост социальных расходов в развитых странах существенно опережал соответствующую динамику в странах государственного социализма.

Характерно, что рост доли госбюджета в структуре ВВП отмечается также в странах третьего мира, и, хотя это соотношение отличается от стандарта развитых стран, тем не менее, оно выше, чем было в развитых странах в начале XX в. [Рогов 2005: 56–57] Упомянутая тенденция набрала силу к 1990 гг., когда в западноевропейских странах госрасходов в структуре ВВП достигла 58 % в Швеции, 54 % во Франции, 47 % в Италии, 47 % в Германии, 33 % в Японии, 33 % в США. При этом социальные трансферты составили 28 % ВВП во Франции, 25 — в Италии; 21 % в Германии и Швеции, 15 в Великобритании, США и Японии. В среднем за 1960–1996 гг. госрасходы в странах Запада выросли с 27 до 48 % ВВП. Таким образом, рост госрасходов в странах Запада был обусловлен увеличением именно социальных расходов.

Важной причиной увеличения доли государственных расходов в ВВП стала новая роль государства в сфере социального обеспечения и перераспределения доходов с помощью системы налогов и трансфертов. Общемировые государственные расходы в 2000 г. составили примерно 25 % ВВП, или 7,8 триллиона долларов. Более 90 % этой суммы приходится на развитые государства, в которых проживает примерно 15 % населения. «Это позволяет сделать вывод: чем более развитой является страна, тем более сильным является государство» [Рогов 2005: 58–59].

Как отмечалось выше, Россия имела несопоставимо более благоприятные, чем Бразилия, стартовые условия модернизации в начале этого пути: эффективную систему образования и мирового уровня науку; вполне современную обрабатывающую промышленность, включавшую мировой уровень ключевых для современного развития отраслей (космическую промышленность, авиастроение, кибернетика, электронная техника, биохимия, металловедение и др.); высокий уровень образования и квалификации кадров; незначительный масштаб социального расслоения (что могло смягчить неизбежные в ходе модернизации конфликты), статус великой державы (что предполагало высокий уровень политического влияния на глобальном уровне), другие конкурентные преимущества. Однако эти преимущества не были должным образом конвертированы в модернизационные достижения. Более того, по ряду направлений не только не было достигнуты ощутимых результатов, но были утрачены передовые позиции (авиастроение, космос, ВПК и др.). Наблюдатели уже в 1994 г. констатировали частичную де-индустриализацию как в области экономики, так и в области социальных отношений.

В этом контексте следует упомянуть произошедший в ряде республик бывшего СССР масштабный регресс процессов элитообразования, характеризующийся в ряде регионов переходом от бюрократического принципа формирования управленческого аппарата к рекрутированию элит на основе простейших форм социальных связей добуржуазного типа. Заново образовались и обрели политический статус жузы в Казахстане, региональные кланы в Узбекистане и земляческие кланы в Таджикистане, родственные кланы в Туркмении, тейпы в Чечне, этнические сообщества в Дагестане и т.д. Подобного рода метаморфозы давали основание исследователям констатировать, что преобладавший в 1990-е гг. тип рекрутации правящих групп выступал «главным препятствием и угрозой становлению новой российской государственности» [Афанасьев 1996: 7].

Известно, что частичная архаизация элит способна инициировать системную архаизацию: «…тот, кто хоть в какой-то мере способен мыслить социологически, знает, что процесс рационализации в определённой области человеческой жизни нельзя повернуть вспять без того, чтобы это не привело к подобному же регрессу всей духовной конституции человека» [Манхейм 1994: 325]. Детальное исследование данного сюжета [Гаман-Голутвина 2006] показывает, что поразительным образом в условиях России 1990-х гг. произошла реконструкция модели элитообразования феодальной, а не современной Европы — той модели, от которой современные развитые страны ушли.

В частности, речь идёт о том, что отличительной чертой сложившейся в России 1990-х гг. системы отношений корпоративного сектора и государства была высокая степень «приватизации» институтов государства кланово-корпоративными структурами, претендующими на замещение государства и выполнение его функций. Парадоксальным образом знаменитое пророчество К. Маркса об отмирании государства при коммунизме осуществилось в посткоммунистической России. Существенное ослабление роли государства в этот период не было «побочным продуктом» процесса трансформации российского общества или простой случайностью, ибо именно ресурсы государства — финансовые, административные, политические и иные — стали источником влияния крупнейших политико-финансовых структур. Это обстоятельство явилось наиболее наглядным признаком происшедшей в ходе реформ 1990-х гг. существенной трансформации модели элитообразования: источником политического влияния в постсоветской России стала собственность.

Во второй половине 1990-х гг. политико-экономическое пространство России вошло в фазу полу-распада, де факто став достоянием самодостаточных политико-финансовых структур, претендовавших на принятие ключевых решений. Сформировавшиеся в этот период политико-финансовые структуры обрели собственный финансово-промышленный потенциа-

лом; собственные службы безопасности; свои креатуры в органах власти различного уровня, силовых и правоохранительных структурах (МВД, ФСБ, прокуратура, суд); сформировали собственные информационно-аналитические империи и связи с определёнными регионами и отраслями; обзавелись «диванными» политическими партиями и установили контакты с определёнными сегментами оппозиции. В результате крупнейшие олигополии превратились в многопрофильные и почти квазигосударственные образования.

Сложившаяся в первое постсоветское десятилетие система отношений государства с кланово-корпоративными структурами существенно отличалась от западного стандарта второй половины XX в., поскольку для последнего характерно сохранение автономности государства по отношению к кланово-корпоративным структурам [Linz, Stepan 1996; Borchert, Zeiss 2003; Page, Wright 1999; Schwarzmantel 1987; Линц, Степан 1997]. Это дает основание диагностировать наличие элементов деформации в сопоставлении с референтной моделью. В качестве критерия деформации можно рассматривать *тенденцию квази-феодализации*[21] модели элитообразования, о чем свидетельствует высокая степень самодостаточности корпоративных структур и приватизация ими прерогатив публичной власти. Таким парадоксальным образом в России 1990-х гг. произошла реконструкция европейской модели элитообразования феодального, а не современного Запада.

Симптоматично, что прогрессирующие признаки элементов архаизации в социально-политических процессах 1990-х гг. констатировали столь различные наблюдатели, как философ А. Кара-Мурза, характеризовавший постсоветское развитие как чреватое «новым варварством» [Кара-Мурза 1995], историк М. Чешков, отмечавший, что в ельцинской России ситуации доминировали «процессы распада и хаоса» [Бюрократия, авторитаризм… 1993: 18], а также один из крупнейших российских предпринимателей, и совладелец «Уралмашзавода» К. Бендукидзе, полагавший, что России угрожает масштабная феодализация.

Таким образом, можно констатировать, что произошедшая в России 1990-х гг. архаизация организации элит стала «спусковым механизмом» частичной архаизации важных элементов социального уклада и повлекла за собой не полноценную модернизацию, а частичную архаизацию.

Стоит обратить внимание на то, что отмеченные выше элементы архаизации наиболее наглядно просматриваются в той сфере, которая была призвана локомотивом заявленной в начале 1990-х гг в качестве цели постиндустриальной модерниазции, а именно в социальной сфере.

Программные политические документы, включая Послания Президента РФ Федеральному Собранию, в качестве ключевой цели государственной политики России постулируют обеспечение конкурентоспособности страны[22]. Однако на практике заметной чертой российской трансформации стало существенное ослабление государства, активная роль которого стала фирменных знаком успешных модернизаций в странах, и значимое сокращение государственной поддержки образования, науки, культуры, здравоохранения. В этой связи следует назвать реформы социальной сферы, осуществлённые в 2004–2005 гг. и знаменовавшие

[21] В этой связи уместно упомянуть предложенную Г. Моской дихотомию, в рамках которой проводилось разграничение между феодальным и бюрократическим типами организации власти. Напомним, что термин "феодальный" Моска использовал для характеристики слияния экономической и политической власти, вследствие которого государство превращается в конгломерат самодостаточных образований.

[22] Понятие конкурентоспособности включает не только экономические критерии. Так, в предисловии к Всемирному докладу по конкурентоспособности (2006–2007 годы) признано, что из девяти критериев конкурентоспособности лишь четыре — сугубо экономические; прочие в той или иной мере имеют «социальное измерение». http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gcr_2006/chapter_1_1.pdf; см. также Иноземцев В. Призрак конкурентоспособности // независимая газета // 11.04.2007.

серьёзное сокращение финансирования данных отраслей. В этом же контексте следует назвать имевшие место в 2012–2013 гг. реформы системы образования и Академии наук. Результатом реформы образования может стать существенное суждение сегмента бесплатного высшего и среднего образования. Во втором случае речь может идти о серьёзном снижении эффективности академической науки в России. В итоге формулой российской модернизации остаётся формула «*рост без развития*», поскольку показатели экономического роста достигаются за счёт экстенсивных факторов (экспорт энергоносителей).

Но даже с экономическим ростом в России не все благополучно. На фоне роста в 2013 г. мировой экономики 3 % в год РФ показала вдвое меньший рост — 1,5 % при том, что цена за нефть стала выше прогнозной — не 97, а 108–110 долл. за баррель и при том, что 2013 г. прошёл на фоне относительно благоприятной мировой конъюнктуры. Максимально возможный экономический рост в 2013 г. будет меньше не только прошлогодних 3,4 %, но и официального прогноза на 2013 г. — 1,8 %.

Параметры проекта бюджета РФ на 2014–2016 гг. не внушают оптимизма в вопросе усиления социальной составляющей развития РФ. В проекте бюджета РФ на 2014–2016 гг. снижаются социальные расходы, в том числе на науку. Финансирование фундаментальной науки составит 3,6 % ВВП — ниже уровня инфляции; финансирование прикладных исследований даже в абсолютных цифрах ниже 2013 г., причём значительная часть упомянутых средств пойдёт на финансирование «Сколково» (26 млрд. руб.) и «Роснано», на вложение в уставные капитала свободных экономических зон. Между тем именно перечисленные структуры, по данным Счетной палаты, вызывают большие вопросы аудиторов. Из выделенных 48 млрд. руб. на сферу образования расходы на систему высшего и послевузовского образования не увеличиваются даже на уровне инфляции. Расходы на здравоохранение в 2014–2016 гг. составят 91,4 % от уровня 2013 г., а на образования — 87,1 % от уровня 2013 г. В целом доля совокупных госрасходов здравоохранение в проекте бюджета на 2014–2016 гг. сокращается в ВВП с 3,6 % в 2013 г. до 3,4 % в 2014 г., а доля расходов на образование сокращается в ВВП с 4,3 % до 4,1 %. Коэффициент замещения пенсий снижается с 33,8 % до 33,4 %.

13,6 % населения РФ имеет доходы ниже прожиточного минимума, при этом государство экономит на пенсионерах 244 млрд. руб., не используя более половины годовых расходов бюджета[23]. В этой связи стоит отметить, что даже в ЮАР, характеризующейся унаследованным от эпохи апартеида огромным социальным неравенством[24], в ходе модернизации удалось сгладить социальные контрасты.

Китай

Уникальной особенностью организации правящих элит в Китае является ее поразительная устойчивость: сложившись в основных чертах около двух тысяч лет назад, она продолжает существовать (хотя и в модифицированном виде), несмотря на происшедшие в XX в. тектонические трансформации (социалистическая революция 1949 г., переход к смешанной эко-

[23] http://ria.ru/economy/20131025/972695269.html; http://www.mk.ru/economics/interview/2013/10/22/934526-byudzhet-plachevnyih-itogov-.html

Ещё в середине 1990-х гг. средний доход проживающих в городской зоне чернокожих составлял 22% от доходов белого населения (составляющего 13 % населения страны), а проживающих вне городов — лишь 6%; уровень безработицы среди чернокожего населении достигал 37%, а среди белого — 8, 4 % (Vercueil J. Op. Cit. P. 24, 122)**.**

[24] Ещё в середине 1990-х гг. средний доход проживающих в городской зоне чернокожих составлял 22% от доходов белого населения (составляющего 13 % населения страны), а проживающих вне городов — лишь 6%; уровень безработицы среди чернокожего населении достигал 37%, а среди белого — 8, 4 % (Vercueil J. Op. Cit. P. 24, 122).

номике в конце 1970-х гг.). Другой значимой особенностью организации власти в Китае является то, что ее ключевыми принципами в Китае является система традиционных ценностей китайской цивилизации: в этом в полной мере проявляется то, что Китай — это цивилизация, выдающая себя за страну. К числу базовых ценностей следует отнести приверженность традиции и уважение к старшим, признание обоснованности иерархизма и непоколебимая вера в величие Китая, аскеза и умение довольствоваться малым, дисциплинированность и организованность, приверженность этическим заповедям конфуцианства и чувство долга, верность семье и готовность к напряжённому труду, высокая трудовая этика и стремление к повышению материального положения и социального статуса ценой упорного труда. Эти ценности, сложившиеся порядка двух тысяч лет назад как осмысление философских оснований конфуцианство, даосизм и легизма, проецируются на систему рекрутирования властной элиты в качестве системообразующих принципов этой системы.

Наиболее важными из данных принципов являются:

- Неизбежность и целесообразность вертикальной политической иерархизации, в рамках которой каждый выполняет свою миссию (один из постулатов конфуцианства гласит: «Отец должен быть отцом, сын — сыном»); признается элитарность управленческой деятельности;
- понятие «Мандата Неба» на правление, который получает первое лицо Поднебесной (будь то император или генсек КПК) в статусе «Сына Неба»; причём каноническое понимание «Мандата Неба» предполагает, что его получает только тот, кто обладает добродетелью, широкими познаниями и харизмой);
- меритократическая по сути система карьерного продвижения управленцев, построенная на воспринятом от конфуцианства культе знаний, в соответствии с которым с высшая власть и ее инструмент — система управления — должны быть высокообразованными людьми. Методологическим обоснованием меритократической системы рекрутирования китайской элиты стало восходящее к сложившейся в IV в. до н.э. философской школе легизма признание важности соблюдения формальных процедур. Основной идеей школы был культ закона и равенство всех перед Законом и Сыном Неба (т.е. императором), следствием чего являлась идея раздачи титулов не по рождению, а по реальным заслугам, согласно которой любой простолюдин имел право дослужиться до первого министра[25];
- убеждённость в необходимости поддерживать непрерывность и стабильность системы трансляции власти и значимая роль старшего поколения руководителей в выборе и продвижении преемников (сопровождавшиеся жёсткой борьбой прецеденты отклонения от данного принципа в XX в. воспринимаются как доказавшие свою неэффективность); выбор преемника происходит посредством многоступенчатых консультаций преимущественно путём согласований.

Из перечисленных принципов «фирменным отличием» Китая можно считать, прежде всего, сложную систему используемых для отбора управленцев многоступенчатых экзаменов. Основания данной системы начали складываться ещё около полутора тысяч лет назад, а в начале VII в. н. э., в эпоху империи Суй сложилась уже система государственных экзаменов, в том или ином виде просуществовавшая до 1905 г. и до сих пор оказывающая сильное воздействие на китайскую модель элитного рекрутирования. Посредством этой системы заполнялись должности снизу доверху, вплоть до чиновников, находившихся на самых высоких ступенях при императорском дворе. Суть данной системы заключалась в необходимости сдачи серии экзаменов, прежде всего по литературному китайскому языку (что имело формат

[25] Экспертное интервью с А. Мельниковым, взятое в рамках реализации данного проекта.

представления схоластических текстов) и этике, для поступления на государственную службу. Система состязательных экзаменов на знание гуманитарных текстов, прежде всего, на понимание традиционного мировоззрения и этике, была призвана сформировать понимание того, что такое добродетель и насколько добродетель и мораль важны при формировании правильного правления.

Централизованная экзаменационная система стала важным фактором вертикальной социальной мобильности: теоретически к экзаменам допускался каждый взрослый мужчина, независимо от финансового состояния и социального статуса», хотя в реальности доступ к качественному образованию и в историческом прошлом, и сегодня во многом определялся имущественными возможностями. Гигантская система многоступенчатых экзаменов «обеспечивала дополнительную прочность и устойчивость всей конструкции, ибо не только гарантировала высокий уровень конфуцианской образованности кандидатов в чиновники и высокое качество имперской администрации, но и служила методом проверки благонадежности претендентов на вакансии в разветвлённом бюрократическом аппарате, воздействие на направление умов образованной части общества, обновления и ротации чиновничьего аппарата власти, регулярно снабжая его кадрами» [Корсун 2011: 96].

Экзаменационная система и даёт основание для определения сложившейся в Китае на протяжении полутора тысяч лет системы рекрутирования Китая как меритократии. Эксперты отмечают, что изначально термин «меритократия» был переведён в китайской профессиональной литературе как «элитаризм»; в настоящее время общепринятой его трактовкой стало «выдвижение мудрых», или «выдвижение мудрых и возвышение способных». Причём данный термин в китайской культуре не воспринимается как пришедший из западной политологии, поскольку выражение «отбор мудрых и выдвижение способных» существует в контексте китайской культурной традиции уже минимум два тысячелетия. Традиция меритократического продвижения была поколеблена в годы правления Мао, когда критериями продвижения стали идеологическая и личная лояльность. Воплощением неэффективности и бессмысленной жестокости этого отклонения от исторической традиции стала «культурная революции», когда истреблению подверглись наиболее образованные кадры.

Алгоритм передачи власти, который иногда называют «престолонаследием на два срока вперед» (В. Корсун) предполагает, что первое лицо государства (сосредотачивающий в своих руках большинство высших постов) может занимать свой пост только в течение десяти лет — только два срока без шансов вернуться на вершину политического Олимпа.

Регламентация трансляции власти лишает ее первое лицо покрова сакральности, что в настоящее время нашло отражение и в используемой терминологии: если до 2002 г., когда высшие посты покинул Цзян Цзэминь, использовалась формула «Центральный комитет с ядром в качестве товарища имярек (Мао Цзэдуна, Цзян Цзэминя)»; то, начиная с Ху Цзиньтао используется упрощённая формулировка «Центральный комитет КПК с товарищем имярек в качестве Генерального секретаря» — то есть Генеральный секретарь КПК (в настоящее время Си Цзиньпин) уже не имеет прежнего выдающегося статуса [Конференция Совета… 2013].

Стабильность и четкая регламентация системы рекрутирования и ротации кадров делает процесс ротации предсказуемым. Наблюдатели утверждают, что уже сегодня можно предположительно назвать имена тех, кто придёт к власти в 2022 году: это два человека 1963 года рождения, которым в 2022 году предстоит стать членами Постоянного комитета политбюро ЦК КПК, а в 2023 году стать Председателем КНР и премьер-министром. Один из этих предположительных лидеров сейчас возглавляет провинцию на северо-востоке Китая, другой возглавляет один из крупнейших мегаполисов центрального Китая с населением почти 50 млн. человек. Хотя они не имеют формального статуса будущих лидеров, данный прогноз проистекает из понимания их статуса в социальной и партийной иерархии. Особенность их поло-

жения в том, что высокий неформальный статус обязывает кандидатов не «почивать на лаврах» в ожидании возвышения, но напряжённо и целенаправленно продолжать свое образование и подготовку, делом доказывая свое право на национальное лидерство [там же].

Всестороннюю подготовку проходят не только кандидаты на высшее лидерство, но также вся нижестоящая управленческая иерархия. «Подбором кадров» формирование элиты не ограничивается: в настоящее время в КНР функционирует разветвлённая, многоотраслевая и многоуровневая система подготовки кадров, включающая такие учреждения, как Партийная школа при ЦК КПК, Государственная административная академия, их региональные отделения и филиалы, Центральная академия национальностей, Академия военных наук Китая, Академия национальной обороны НОАК и др. Институт государственных служащих стал значимым элементом общенациональной системы управления.

Механизмами модернизации этой направленной на обеспечение качества кадровой ротации системы стали введённые в последние годы нормы: запрет практик пожизненного пребывания на своих постах руководящих работников и традиции единоличного назначения лидером КПК своего преемника; обязательность практики регулярного обновления и омоложения состава руководящих кадров [Корсун 2011: 113].

Важным элементом механизма ротации является унаследованная от прошлого циркуляция кадров по стране, которая была в прошлом и является сегодня важным фактором национального единства. Причём особое внимание в ходе территориальной ротации уделяется предотвращению образования патронатных связей и региональных вотчин: в историческом Китае было запрещено назначение чиновников в местности, откуда он или его супруга были родом; обязательной была практика постоянной ротации и перемещений (обычно каждые три года) чиновника на новое место службы [там же: 97].

Значимым механизмом обеспечения качества кадров является ставшая существенным дополнением традиционных экзаменов система контроля, включающая комплекс финансово-контрольных и аудиторских структур под руководством Министерства контроля Госсовета.

Основным пулом, из которого черпаются руководящие кадры, является партийно-государственный аппарат. Причём рекрутирование и ротация носят относительно открытый характер: госслужба по партийной или государственной линии доступна всем независимо от происхождения, главное — качество образования и эффективность работы, хотя в реальности сельские жители располагают несопоставимо более ограниченными по сравнению с горожанами возможностями доступа к образованию. Но ещё более важную роль, чем управленческая эффективность, играет партийная принадлежность: несмотря на имевшие место прецеденты участия в высших эшелонах власти представителей других партий (в КНР, как известно, помимо КПК существует ещё восемь политических партий, однако их политический вес и влияние носят, скорее, формальный характер) или беспартийных, приоритет КПК не подлежит обсуждению.

Армия не является кадровым резервом: по сложившейся в Китае традиции партия командует винтовкой, а не винтовка командует партией.

Что касается выдвижения представителей бизнеса на ключевые политические позиции, то, несмотря на имевшие место прецеденты (в 1990-е гг. заместителем Председателя КНР Цзян Цзэмина был шанхайский предприниматель Жун Ижэнь, руководивший в 1988–1993 гг. Всекитайской федерацией промышленников и торговцев) и продвижение предпринимателей на управленческие позиции низового уровня, продвижение на общенациональный уровень управления выходцев из бизнеса может проблематизировать принципы народной демократии. Другим аргументом против продвижения бизнеса является отсутствие у него опыта политического управления.

Политическим Олимпом КПК и КНР является Постоянный комитет Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая — крайне закрытый орган, включающий высшее руководство КНР и КПК и известный тем, что его решения принимаются преимущественно консенсусом. Члены Постоянного комитета утверждаются ЦК КПК.

Следующим кругом власти являются ежегодные Пленумы ЦК, участие в которых принимают 350 наиболее влиятельных партийных чиновников. В рамках пленума ЦК узкий круг китайских руководителей принимает все основные решения, которые затем обсуждаются и официально утверждаются на более публичных мероприятиях — ежегодных сессиях Всекитайского собрания народных представителей; наиболее значимые стратегические решения утверждаются раз в пять лет на съездах КПК. Особую роль в политической системе КНР играет армия НОАК. Высшим партийно-государственным органом является Центральный военный совет, который наряду с дублирующим его по персональному составу Военным советом (Военной комиссией ЦК КПК) командует всеми вооружёнными формированиями страны и является одним из ключевых элементов властной иерархии КНР [там же: 103].

Как и в других странах БРИК, импульсы модернизации исходили сверху: архитектором китайской модернизации стал Дэн Сяопин. Выдвинутая Дэн Сяопином в конце 1970-х гг. идея «четырёх модернизаций» предполагала реформы в сельском хозяйстве, промышленности, науке и технологиях, обороне. Можно предположить, что идеи Дэн Сяопина о крупномасштабной модернизации КНР посредством использования элементов рынка в рамках социалистического уклада начали формироваться уже на начальном периоде существования КНР, когда в ходе дискуссий того времени он поддерживал концепцию «новой демократии», допускавшей сочетание социалистического уклада с элементами рынка. В пользу данного суждения свидетельствует тот факт, что идеи широкомасштабных реформ были выдвинуты Дэн Сяопином сразу после смерти в 1976 г. инициатора «культурной революции» и приверженца жёсткой одноукладной модели «народной демократии» Мао Цзэдуна. Укреплению идей широкомасштабных реформ способствовало осмысление также того, что политика «большого скачка» (1958–1962 гг.) и курса на огосударствление экономики и в целом, несмотря на определённые успехи в индустриализации (к 1978 г. доля промышленности в КНР достигла 50 % ВВП), не позволила Китаю преодолеть статус одной из наиболее бедных стран мира. Сыграло свою роль также осмысление трагических результатов «культурной революции» 1966–1976 гг., в ходе которой наиболее разрушительные удары были нанесены по культурному достоянию страны, а наиболее образованные кадры подверглись репрессиям. Не последним по значению фактором в продвижении идей китайской модернизации стал впечатляющий экономический успех Японии и четырёх «азиатских тигров» и, особенно — необходимость соперничества с Тайванем. Формированию установки на осуществление модернизации без демократизации осмысление опыта распада СССР.

Важным содержательным элементом программы реформ стал отказ от схоластической идеологии и поворот в пользу прагматической ориентации на достижение экономической эффективности. После смерти Мао Цзэдуна идеи стабилизации политической системы, ее гуманизации и деидеологизации, и предложения о переносе стратегических приоритетов с догматизированных политико-идеологических ориентиров на прагматические цели экономического развития и повышения уровня жизни были поддержаны и широкими кругами истощённого репрессиями партийного аппарата (ганьбу), и стремившемся выбиться из нищеты населением. Несмотря на то, что линия Дэн Сяопина не была единственной в среде китайской элиты, она стала безраздельно доминирующей.

Влияние базовых ценностей китайской цивилизации в данный период отчётливо прослеживается. Так, ключевая идея реформ Дэн Сяопина «Быть богатым тоже неплохо» восходит истоками к конфуцианству, а принципиальной особенностью китайской модернизации

стал ее эволюционный и постепенный характер, формулой которого может быть известное изречение Дэн Сяопина: «Переходя реку, ощупываем камни».

Постановка новых задач была неизбежно сопряжена с ротацией управленческих кадров –заменой идеологических ортодоксов прагматиками с качественным образованием. Одной из наиболее значимых волн ротации стало обновление и омоложение управленческого аппарата в начале 1980-х гг., когда Дэн Сяопин инициировал широкую кампанию по замене старой гвардии на молодых высокообразованных специалистов. В период 1980–1986 гг. своих должностей лишились около 1,4 млн. старых партийцев, пришедших в КПК ещё до 1949 г., на их место были набраны около 470 тыс. молодых высокообразованных специалистов[26].

Несмотря на то, что идеи Дэн Сяопина имели широкую поддержку в партии и обществе, это отнюдь не означало прекращения политической борьбы за власть в верхах: не только передача власти от первого ко второму поколению руководителей происходила конфликтно (арест в 1976 г. «банды четырёх» и отстранение от власти в 1978 г. Хуа Гофэна); но также передача власти от второму к третьему поколению (освобождение от всех постов Чжао Цзыяна с назначением Цзян Цзэмина 1989 г., в том числе в связи и массовыми выступлениями на площади Тяньанмынь в мае-июне 1989 г.) стала серьёзным испытанием устойчивости политической системы КНР.

Передача власти в 2002 г. от третьего к четвёртому и от четвёртого к пятому поколению прошла неконфликтно. Значит ли это, что политическое руководство КНР монолитно и лишено внутренних противоречий? Отнюдь: мирный характер трансляции власти в 2002 и 2013 гг. не отменяет существенных различий в позициях различных сегментов китайской политической элиты. Что касается трактовок линий размежеваний в китайской элите, то мнения наблюдателей по данному вопросу далеко не всегда тождественны, как минимум в связи с закрытостью процессов внутриэлитных взаимодействий: в высших эшелонах китайской власти предпочитают не выносить сор из избы.

До недавнего времени наиболее распространенным в профильной литературе тезисом было положение о размежеваниях по линии — «наследники» — «комсомольцы».

На наш взгляд, это суждение неточно — скорее, имеет место некий компромисс между этими группировками, учитывая формирование действующего тандема Си Цзиньпин — Ли Кэцян: первый принадлежит к первой группе, последний — ко второй.

Прежде всего, феномен наследников (или принцев, princelings) — это специфическое и сугубо временное явление, возникшее на волне молодёжных выступлений 1989 г. в КНР и в связи с кризисными процессами в СССР рубежа 1980–1990-х гг.: в кругу китайского руководства возникла идея продвижения на высшие посты выходцев из семей партийно-государственной верхушки, призванных стать преемниками тогдашней власти: социальная принадлежность была призвана обеспечить устойчивость существовавшей системы власти.

Но более существенным возражением против представления о важности «наследников» заключается в том, что карьерные траектории «принцев» радикально противоположны: нынешний председатель КНР Си Цзиньпин и Бо Силай в равной мере вышли из данной категории, но один из них сейчас является Генеральным секретарём, председателем КНР и главой Центральной военной комиссии, а другой находится в тюрьме по обвинению в коррупции и других нарушениях.

При этом отец Си Цзиньпина Си Чжунсюнь — участник революционной борьбы 1920-х гг. и занимал ряд ключевых постов в высших эшелонах власти; Бо Силай — сын одного из крупнейших китайских политических деятелей середины прошлого века Бо Ибо, члена

[26] Экспертное интервью с А. Мельниковым, взятое в рамках реализации данного проекта.

«восьмёрки бессмертных», в которую входили наиболее авторитетные ветераны китайской революции.

Другая крупная внутриэлитная группировка представлена выходцами из Коммунистического союза молодёжи Китая («комсомольцы») и возглавляется премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Более обоснованными представляется утверждение о том, что главной линией размежевания в китайской элите являются разногласия между «шанхайцами» и «пекинцами». Данное размежевание носит принципиальный содержательный характер, поскольку проистекает не просто из личной политической конкуренцией, но основано на концептуальных расхождениях в интерпретации приоритетов модернизации.

Шанхайский клан, лидером которого был стоявший у руля Китая в 1989–2002 гг. Цзянь Цзэминь, будучи представлен выходцами из наиболее экономически развитой территории Китая, ориентирован на форсирование экономического роста в терминах объёма ВВП посредством внешнеэкономической экспансии и индустриализации за счёт деревни. Этот курс, основанный на предложенной Цзян Цзэминем стратегии глобального внешнеэкономического наступления Китая был выражен лозунгами «Идти вовне» и «Приглашаем приходить». Стратегия глобального внешнеэкономического наступления отражала интересы приморских, наиболее экономически развитых регионов страны. Развитие внутренних районов и внутреннего рынка представлялось им малопривлекательным делом, требующим гигантских капиталовложений с длительными сроками окупаемости. Для реализации стратегии «Идти вовне» использовалась специфическая экономическая модель роста, основанная на максимально возможных инвестициях в основной капитал, форсированном расширении экспортного производства, изъятии средств из сельского хозяйства, использовании низкой стоимости рабочей силы, на предельном ограничении социальных расходов на образование, здравоохранение, социальное страхование и социальное обеспечение.

Осуществление стратегии «Идти вовне» позволило КНР существенно увеличить экономический потенциал и занять второе место в иерархии наиболее экономически мощных стран мира. Однако данная стратегия обусловила перегрев экономики, усиление чреватой взрывом социальной напряжённости, рост бюрократии и коррупции, все большую экономическую самостоятельность региональных властей, частичную утрату управляемости экономикой, углубление региональной и социальной дифференциации, в том числе между городом (ставшим фактически привилегированным сегментом) и деревней, где проживает две трети населения страны (800 млн. крестьян), которая производит лишь 14 % ВВП и имеет соответствующие — очень низкие по сравнению с горожанами — доходы. Таким образом, экономический рост сопряжён с ростом социальной напряжённости: не случайно ежегодно в Китае происходит более 80000 общественных протестов.

Пересмотр методов достижения модернизационных задач начался в начале 2000-х гг. с переходом власти от Цзян Цзэминя к Ху Цзиньтао, который, как и большинство его сторонников, является выпускником Университета Синьхуа и представляет интересы центральных провинций Китая. Концептуальным стержнем правления Ху Цзиньтао стал лозунг гармонизации, как выражение необходимости более сбалансированной иерархии приоритетов, необходимости пересмотра модели экономического роста, применения комплексных мер по развитию аграрной сферы. Было признано, необходимым свернуть политику индустриализации за счёт деревни, напротив, город и промышленность были призваны помочь подъёму сельского хозяйства.

В целях социально-политической стабилизации по инициативе пекинской команды XVII съезд КПК в 2007 г. провозгласил линию на социально-ориентированное государство и переход от «теории опережающего обогащения», когда выгоду от реформ получает лишь

часть общества, к «социальной гармонии», выраженной «теорией гармонизированного совместного развития», когда выгоду получают все.

Однако планы пекинцев наткнулись на сопротивление другой влиятельной силы в руководстве КНР — шанхайского клана экс-председателя Цзян Цзэминя. Занимая ключевые посты в китайской номенклатуре во времена Цзян Цзэминя, они выступали за дальнейшее ускорение темпов роста экономики КНР, флагманом которой как раз и является Шанхай. Внутри китайской элиты развернулась продолжающаяся до сих пор борьба, главным сюжетом которой является противостояние «пекинского клана» Ху Цзиньтао с «шанхайским кланом» Цзян Цзэминя. Названия эти кланы получил не по принципу происхождения их лидеров: центральный предмет борьбы между ними — вопрос приоритетов экономического развития Китая. Шанхайский клан выступал и выступает за ускорение темпов экономического роста страны, флагманом которого в Китае является город Шанхай. В то время как «пекинские» опасаются, что в стране может начаться революция, вызванная неравенством между богатеющими с каждым годом горожанами и 800-миллионным крестьянством[27].

Постепенно вытеснив ключевые фигуры шанхайского клана из высших эшелонов власти, особенно на провинциальном уровне, пекинский клан взял курс на масштабные перемены, включающие торможение роста экономики и увеличение расходов на нужды деревни. Этот план предполагает расширение среднего класса, в том числе поддержку малого бизнеса, увеличение расходов на систему социального обеспечения, завершение создания к 2020 г. пенсионной системы, которая охватит город и деревню (сейчас в КНР пенсии есть только у работников городских госпредприятий). Данные шаги означают переход Китая к новой стратегии, основанной на сочетании («гармонизации») внешнеэкономической экспансии с социально-экономическим развитием страны.

Что касается динамики внутриэлитного процесса, то базовое противоречие между пекинцами и шанхайцами в полной мере проецируется на решение конкретных проблем. Непрекращающаяся борьба с коррупцией находит адреса, в том числе, в противостоящих кланах и предстаёт также инструментом межэлитной борьбы и перераспределения контроля над государственными активами и финансовыми потоками.

В этом контексте представляют интерес судебные процессы над бывшим членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК (в 2007–2012 гг.) Чжоу Юнканом, представлявшим интересы шанхайского клана Цзян Цзэминяи и Бо Силаем, который, несмотря на происхождение, по идейно-политическим признакам принадлежал не к группировке «наследников», а к шанхайскому клану. Предположительно именно в нем фракция Цзян Цзэминя видела своего кандидата на высокие должности в КПК. Таким образом, действия против Бо Силая и Чжоу Юнкана могут рассматриваться как продолжение борьбы с «шанхайцами», начатой «пекинцами» во главе с Ху Цзиньтао.

Таким образом, основные разделительные линии в китайской элите, как и в бразильской, пролегают по базовым концептуальным вопросам относительно стратегии, приоритетов, этапности и социальных измерений модернизации. Форсирование модернизации на первом этапе, сопряжённое усугублением социальных расколов и формированием социальных рисков, побуждает искать корректирующие стратегии. Анализ показывает корреляцию между проводимым курсом и социально-политической аффилиацией его субъектов. Разногласия между различными элитными сегментами имеют различный формат, но порой обретают очертания жёсткой политической борьбы, сопряжённой с политическим уничтожением противников. Таким образом, специфическую существующую в Китае систему можно опреде-

[27] Экспертное интервью с А. Мельниковым, взятое в рамках реализации данного проекта.

лить, как движение от меритократии к меритократии без демократии [Конференция Совета… 2013].

Индия

В Индии модернизация составляет ядро национальной повестки, однако сам термин малоупотребим: индийцы предпочитают говорить «об особом пути» и «цивилизационном многообразии». Это представляется не случайным, поскольку базовые свойства индийской цивилизации играют значимую роль не только в осуществлении модернизации, но и в организации системы власти в целом: ключевые для Индии ценности, институты и особенности индийской цивилизации определяют важнейшие характеристики этой системы. В данном контексте следует отметить культ знаний, определявший и определяющий стремление к освоению культуры и науки; кастовую стратификацию, санкционировавшую кастовое неравенство, определявшую иерархичность и оправдание подчинения, что сдерживало недовольство низших слоёв и сообщало стабильность общественному устройству; эволюционность и постепенность в осуществлении социальных преобразований; приверженность принципам ненасилия, в основе которой — признания роли кармы и дхармы в определении судьбы человека. Как ни парадоксально, но эти ценности одной из древнейших цивилизаций сочетаются с воспринятой от британской колонизации традицией партийной конкурентной политики. При этом следует отметить, что демократические принципы не чужды и самой культуре Индии: имеются в виду традиции самоуправления древних индийских республик Личхава и Маллов и самоуправляющиеся общины — панчаяты, продемонстрировавшие устойчивость на протяжении трех тысяч лет.

Истоки модернизационного движения Индии исследователи усматривают еще в колониальный период, когда английская администрация в XIX веке начала модернизацию образовательной и судебной систем: «Эти прогрессивные меры носили верхушечный характер, были поверхностными по отношению к глубинным традиционным отношениям, характерным для страны в целом. Тем не менее, они заложи предпосылки формированию национальной элиты, ускорили становление общенационального рынка при всей его незавершённости, способствовали распространению ценного know how — пониманию рыночных условий. Индия, ее экономика, культура, были тесно вплетены в жизнь метрополии, что способствовало формированию национальной элиты Индии, немногочисленную, но хорошо образованную, политически грамотную, способную к глубокому видению проблем своей страны, а главное, их пониманию в контексте мирового развития. Важным фактором развития образования стало сохранение после завоевания политической независимости английского языка как официального, его преподавание в школах и высших учебных заведениях, издание правительственных документов и газет, что много лет спустя помогло продвижению индийской программной продукции» [Брагина 2010]. Источником индийской модернизации стало понимание значимости социально-культурных измерений экономического роста. Не менее важными свойствами индийской культуры предстают ценности постепенности развития и неконфликтности взаимодействия групп и индивидуумов.

Конфигурация политической вертикали Индии определяется устойчивостью кастовой системы, выступающей основанием социальной иерархии. «Цивилизационную парадигму Индии можно схематично назвать элитарной, что непосредственно связано с кастовым наследием. Уже ко 2–3 веку до н.э. окончательно складывается варно-кастовая структура древнеиндийского общества. В начале нашей эры появилась и новая категория: неприкасаемые, куда попали наиболее презираемые касты (выполняющие наиболее «нечистые», с точки зрения индуизма работы, такие как кожевники) и «млеччха» (варвары), представители авто-

хтонных отсталых племён, уровень развития которых не позволял включить их в кастовую систему. Им запрещалось посещать индусские храмы, читать религиозную литературу, и даже прикосновение к ним оскверняло кастового индуса. Постепенно наибольшее значение стали приобретать не варны, а касты, гораздо более мелкие общности. Каждая каста входила в конкретную варну и состояла из замкнутых групп людей, объединенных выполнением специфической социальной функции, наследственными занятиями или профессиями, районом проживания, эндогамией и верой в мифического общего пращура. Каста подразумевала наличие своей дхармы (долг человека, его статус, права и обязанности), ограничения в общении с другими кастами (эндогамия). Таким образом, принадлежность к касте определяла профессию человека, выбор супруга, структуру питания (чем выше каста, тем больше существовало ограничений), стиль поведения, мораль, этику и т.д.», — отмечает известный российский индолог С. Лунев. [Лунев :70–71][28] Он также отмечает, что важнейшей особенностью кастовой системы является то, что она консервирует разделение на протяжении не только веков, но даже тысячелетий. «Кастовая замкнутость и эндогамия в течение тысячелетий способствовала тому, что, как правило, за человеком из варны брахманов стоят сотни поколений предков, занимавшихся интеллектуальным трудом. Одновременно у среднего далита за несколько тысячелетий не было ни одного предка, который бы имел какое-либо образование и профессионально занимался умственной деятельностью. Более того, характер их физического труда, орудия и предметы труда были однотипны и примитивны», — отмечает он [там же].

После обретения независимости различные составы правительства предпринимали меры по устранению наиболее одиозных проявлений кастовой стратификации. В частности, была введена система резервирования мест для далитов и низкокастовых в учебных заведениях, на государственной службе и в выборных органах; для бедных были введены талоны на товары первой необходимости по символическим ценам; государство активно поддерживает мелкий бизнес, способствует созданию новых рабочих мест. Так, в штате Тамил Наду около 70 % мест на общественных работах резервируется за определёнными кастами, конфессиональными группами и племенами, что вызывает активное недовольство остальных. В результате проводимой политики за полвека уровень жизни индийских низов вырос; низшие страты вовлекаются в политическою жизнь. Так, например, сегодня право голоса рассматривается как ценность, и это право непросто купить. Проявляют активность общественные организации, не позволяющие правительству отказаться от курса на интеграцию бедняков в общество.

Несмотря на то, что кастовая система была отменена Конституцией 1950 г., на практике она — хотя и несколько смягчённом виде — сохраняется, как сохраняются и существенные региональные и иные различия.

Это определяет тот факт, что в профессиональной политической жизни на протяжении первых десятилетий независимости участвовали преимущественно представители высших страт, обладавшие необходимыми образованием подготовкой. Это существенно отличает индийские практики, по существу, элитарные, от китайских — по сути эгалитарных и меритократических.

Несмотря на устойчивость кастовой и шире — жестко-стратификационной систем, некоторые изменения в пользу смягчения данной системы на протяжении периода независимости все же происходили. В частности, это выразилось вовлечением в политику не только представителей высших каст, но также выходцев из торговых и земледельческих сословий. Получив необходимое образование, они приходили в политику, выдвигались на лидирующие

[28] Лунев С.И. Элитарная парадигма развития (на примере Индии) // Элиты стран Востока. С. 70–71.

позиции в партиях, занимали посты в парламенте и исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях. «Появились так называемые «доминирующие касты», в различных штатах — разные. Это надары в Тамилнаде, маратхи в Махараштре, анвилы и патидары в Гуджарате, лингаяты и ваккалигасы в Майсоре, эжавасы и наиры в керале, караны в Ориссе и т.д.» [там же: 75].

Фантастичность происшедших за прошедшие десятилетия перемен проявилась в том, что даже неприкасаемые активно участвуют в политическом процессе. Они образовали собственную партию, которая на выборах 2004 г. и 2009 г. получала порядка 6 % голосов и около 20 мандатов. Эксперты отмечают также активизацию локальных властей, что стало результатом проведения административной реформы. Таким образом, происходят позитивные изменения в процессах рекрутирования элит: формат публичной конкурентной политики предполагает обновление сообщества политиков, выход на арену политики новых лиц, выдвигающих новых программ и новых идей.

Что касается наиболее востребованных в политике групп, то особую роль играет интеллектуальная среда как важнейший пул рекрутирования элит, что обусловлено традиционным для Индии культом знания. В стране до недавнего времени во многих анкетах люди подразделялись на три категории: мужчины, женщины и доктора наук. Представители бизнес-элиты особо гордятся своими родственниками, имеющими степень профессора. С. Лунев приводит характерный факт: премьер-министр Индии М. Сингх во время своего официального визита в Россию в 2009 г. встрече с представителями бизнеса России предпочёл встречу с представителями научного и образовательного сообщества России [там же: 71][29]. Эксперты полагают, что различные группы интеллектуальной элиты формируют содержательную повестку индийской политики, предлагают решения важнейших общенациональных проблем.

Важной позитивной тенденцией изменения социальной структурой, которые проецируются на политическую сферу, представляется возрастание численности среднего класса. Важно то, что в Индии происходят не только количественные изменения среднего класса, но качественные — пополнение его состава за счёт работников новых развивающихся высокотехнологичных отраслей. Так, Индия сейчас производит примерно 44 % мировой ИТ-продукции. Предполагается, что этот показатель дойдёт до 70 %. Главным двигателем развития этой отрасли являются индийские ИТ-специалисты, которые пополняют индийский средний класс. Индийские ИТ-специалисты получают 15–30 тыс. долларов в год, тогда как приличной в Индии считается месячная зарплата в 60 долларов, а в сельском хозяйстве страны средняя ежемесячная зарплата — всего 10 долларов. Существенной сложностью роста численности среднего класса в Индии является утечка мозгов — отъезд высококвалифицированных специалистов. Так, если один врач индийского происхождения приходился на 1325 граждан Соединённых Штатов, то в самой Индии — на 2400 человек. Несомненно, качественно новый средний класс проявляет себя в политическом качестве — в качестве перспективного пула рекрутирования политической элиты.

Важнейшими институциональными каналами карьерного продвижения политиков являются политические партии, а важнейшим механизмом — конкурентные парламентские выборы. Парламент предстаёт ключевой институциональной площадкой артикуляции и продвижения различных политических сил. Именно смена правительств по итогам выборов даёт основание для определения Индии как самой крупной демократии в мире.

Другим аргументом в пользу признания демократичности индийской политики предстаёт преимущественно согласовательный формат разрешения политических противоречий и конфликтов. При этом подобный согласовательный формат характерен для решения стратеги-

[29] Лунев С. Элитарная парадигма развития (на примере Индии) // Элиты стран Востока. С. 70–71.

ческих проблем, тогда как во взаимодействиях по поводу частных вопросов нередки острые столкновения.

Из других особенностей индийских элит следует отметить крайне слабое участие в политике женщин, немногочисленные представительницы которых занимали высокие посты.

Бизнес-элиты рекрутируются преимущественно из торговых каст. Вектор изменений включает включение в бизнес на значимых позициях представителей низкокастовых слоев. Около десятка индийских бизнесменов входят в числе самых состоятельных людей планеты по версии журнала «Форбс».

Собственно, проект индустриализации Индии был выдвинут интеллектуальной элитой страны, пришедшей к власти после обретения ею независимости. Индустриализация обрела формат планового развития смешанной экономики при преобладании государственного сектора. Этот курс был важнейшим приоритетом различных по партийному профилю правительств 1950–1980-х гг. Главной проблемой страны были масштабная нищета, значительные массивы бедности и неразвитость структуры национальной экономики. В момент обретения независимости ВВП Индии составлял лишь 4 % от мирового, а доход на душу населения — 14 % от среднемирового. Даже в начале 1980-х гг. более 50 % населения страны жили за чертой бедности [Vercueil 2011: 47].

Основой начатой в 1991 г. модернизации стали либерализация экономики и сокращение государственного сектора. Импульсы модернизации были определены негативными тенденциями в развитии экономики, в частности, кризисом платежей по внешним долгам. Концепция модернизации была основана на использовании международных субподрядов и экспорте услуг, связанных с вычислительной техникой и программированием. Предложенный М. Сингхом пакет реформ и курс на открытие индийской экономики не предполагал разрушения сложившейся в предшествующие периоды модели смешанной экономики и государственного регулирования. Однако реформы предполагали значительное усиление частного сектора.

При разночтениях в интерпретации терминов, ключевой задачей Индии выступает достижение нового качества социально-экономического развития. При этом можно зафиксировать как черты сходства, так и отличий в развитии Индии и России. Обе страны начали глубокие экономические реформы в начале 1990-х гг. В обеих странах реформы имели целью повышение конкурентоспособности экономик за счёт их большей маркетизации: содержанием реформ в обеих странах стали либерализация экономик и расширение частного сектора за счёт сокращения госсектора. Правда, алгоритм реформ различался: стартовавшие в 1991 г. В Индии реформы не меняли принципиально сложившуюся ранее модель; реформы проводились постепенно и эволюционно на протяжении 20 лет, не прерываясь даже в случае смены власти. Двадцатилетие реформ показало, что постепенность либерализации экономики и осторожная приватизация (градуализм) оправданы: «Слома модели не было, что предотвратило хаотизацию в экономике и обществе [Брагина 2010: 140].

В ходе экономической либерализации частный капитал существенно расширил свои позиции: уже в 1996 году доля частного сектора в ВВП поднялась до 75 % (по другим данным — до 55 в конце 1990-х гг.). Самым важным итогом двух десятилетий реформ стало повышение темпов роста, которые, несмотря на неустойчивость, в Индии превысили пятипроцентный рубеж, а в 2006–2007 гг. составили 9,4 %, что стало самым высоким показателем за предшествовавшие 18 лет. Произошли сдвиги в структуре ВВП, приближающие ее к современному соотношению секторов — сельское хозяйство менее 20 %, промышленность 25 %, услуги 55 % [Vercueil 2011: 106].

Принципиальной особенностью Индии, отличающей ее от китайского и российского варианта, является представлении о модернизации как об объёмной многосоставном и полиаспектном процессе: «неолиберальные» методы управления макроэкономическими процесса-

ми…не рассматривались и не рассматриваются как действенная альтернатива тому общему стратегическому замыслу, который одни называют «курсом Неру», а другие — моделью прост плюс развитием. Иначе говоря, социально-политические силы, всерьёз притязающие на власть в Индии, обязаны считаться и с императивом государства, и с сохранением его общественной автономии» [Володин :146][30].

Индийская модернизация носит анклавный характер на базе развития специализирующихся на развитии современных отраслей территорий, что определено в значительной мере спецификой современной наукоемкой экономики. Анклавный характер индийской модернизации выражается в том, что кластеры инновации сосредоточены преимущественно на севере страны. Научно-технологические «заповедники» часто выглядят как анклавы: на среднего индийца в начале века приходилось всего 5,1 лет обучения. Поэтому одним из важных направлений усилий правительства Индии выступает преодоление контура анклавной модернизации и территориальное расширение knowledge based economy. Важным условием успеха индийской модернизации стал выбор эффективной модели модернизации, центральной идеей которой выступает использование технологических инноваций в качестве локомотива модернизации в целом. Индия к настоящему времени значительно продвинулась в решении данной задачи. Задача превращения страны в мирового лидера в области информационных технологий была поставлена в Индии в 1998. В 2000 году был принят специальный закон об информационных технологиях и создано Министерство связи и информационных технологий, перед которым и была поставлена задача «превратить Индию в сверхдержаву по информационным технологиям к 2008 году». Индийское правительство особое внимание уделяет созданию экономических зон как многопрофильных, так и специальных, в том числе для информационных технологий. В зонах резиденты освобождены от налогов сроком на 5 лет, а в последующие 5 лет предприниматели оплачивают лишь половину налогов. В сфере информационных технологий огромную роль играют парки программных технологий, на 100 % экспортноориентированные, на них приходится 80 % всего экспорта ПО. В 2008–2009 финансовом году по экспорту программного обеспечения Индия заняла второе место в мире после США; доля программного обеспечения в общем экспорте Индии превышает 35 %; занятость в сфере информационных технологий выросла с 300 000 чел. в 2000 г. до 2 млн. в 2007 г.

Индийская модель парков опирается на позитивные отношения в треугольнике правительство — бизнес — наука/образование (университеты), а ключевым выступает принцип инкубатора, когда каждая сторона играет свою роль в поощрении исследований, капиталовложений и развития. Государство при этом выполняет функцию катализатора, соединяя усилия государственных, частных, научных и иностранных учреждений и партнёров.

Несмотря на предпринятые условия, пока Индия значительно уступает развитым странам и РФ в сфере фундаментальных исследований. Индийцы оказались очень сильны в прикладных исследованиях, но серьёзно уступают США и России в сфере фундаментальной науки. Концентрация внимания на конкретных сферах позволяет Индии добиваться впечатляющих успехов, но достижение сбалансированного и комплексного развития в сферах науки и высоких технологий остаётся важной перспективной задачей. Связи с зарубежными партнёрами играют огромную роль в научных и технологических успехах индийских учёных (чему целенаправленно помогает индийское правительств, и в этом — ещё одно измерение роли государства в развитии Индии). Именно оно прилагает особые усилия для расширения контактов индийской науки с международным сообществом. Государство увеличивает финансирование совместных проектов, находит иностранных партнёров и т.д., готовых инвестировать в индийскую науку и технику, оплачивает пребывание в Индии зарубежных исследова-

[30] Володин А.Г. Индия — политическое пространство экономического роста. С. 146.

телей, обеспечивает долгосрочные зарубежные командировки учёных. Известно, что наиболее активно проходит укрепление связей с США, что связано не только с передовыми позициями этой страны в науке и высоких технологиях, но и с той особой ролью, которую играют связи с индийской диаспорой (24 млн. чел.) за рубежом. Однако лидирующие позиции учёных РФ в ряде ключевых для инновационного развития И. отраслях (математика, физика, химия, биология, биохимия и биотехнологии и др.) актуализируют научное сотрудничество двух стран.

Наукоемкий вектор модернизации Индии определил востребованность активной государственной поддержки. Известный индийский экономист М. Аллювалия подчёркивал, что выход индийской экономики на новый, научно-технический уровень системного равновесия невозможен без квалифицированного, стратегического государственного интервенционизма. Доминирующая роль государства проявляется в настойчивых усилиях по качественному улучшению системы образования. В 1990–2000 гг. доля госрасходов на образование поднялась в ВВП Индии с 3,7 % до 4,1 %, что количественно сближает ее с развитыми странами. Особенно важно то, что в наибольшей степени выросли расходы на начальное образование. Грамотность взрослого населения увеличилась с 49 до 61 %, а в наиболее перспективной возрастной группе от 15 до 24 лет — с 64 до 76 %. Это тем более важно, что более половины населения страны составляют люди до 25 лет (что отличает демографический состав населения Индии и РФ). Индийская молодёжь в целях повышения образовательного уровня активно выезжает за границу. В 2007г. выходцы из Индии составили 70 % студентов, обучающихся в США, что также связано со знанием английского языка. Это означает, что адекватно описывающей модель развития Индии является формула «рост + развитие», что существенно, так как в современном мире важны не только темпы роста, сколько их содержание, особенно социально-культурная составляющая, которая во многом зависит от финансирования государством общественных благ.

К числу проблем, затрудняющих осуществление модернизации в Индии, можно отнести следующие. Серьёзной проблемой является наличие в экономике весьма объёмного неформального сектора. Хотя его масштаб по понятным причинам трудно определить достоверно, даже его примерные оценки в диапазоне 20–25 %, свидетельствуют, что не менее четверти хозяйства страны выпадает из централизованного учёта. Немалые сложности в осуществлении экономической модернизации создаёт чрезвычайное разнообразие субъектов федераций в Индии. Неравенство между штатами Индии по наделённости природными ресурсами, уровню доходов, численности населения носит качественный характер. Существенны различия между промышленным и с/х секторами, причём контрасты имеют не только социально-экономические измерения, но заметны также в сфере информационно-коммуникационных технологий: в 2007 г. охват ИКТ в расчёте на 100 чел. в городской местности составлял 52,3 %, тогда как в сельской — всего в 5 %. В условиях территориальных различий экономическое укрепление региональных элит нередко сопровождается нарастанием их обращённых к центру политических требований большей самостоятельности; периодически обостряются претензии штатов (в РФ — субъектов) на увеличение бюджетных ассигнований федеральным правительством. Значительные региональные различия подпитывают региональный сепаратизм. Индия терпит немалый ущерб от тлеющего сепаратизма, временами переходящего в террористические акты, такие, как взрывы в пассажирском поезде в 2007 г., в Джайпуре в 2008 г. Даже в день Республики 26 января 2007 г. произошли вооружённые выступления сепаратистов в штате Ассам.

Существенным ограничителем экономического роста в Индии остаются бедность населения и неравенство в распределении доходов. С одной стороны, 27 % индийского населения находится ниже национальной черты бедности, а 36 % — живут менее, чем на один доллар в

сутки. С другой — в группе развивающихся стран Индия следует непосредственно за Китаем по количеству долларовых миллионеров. Доля беднейших 10 % населения Индии в национальном богатстве ограничена отметкой в 4 %, доля десяти богатейших приближается к 30 %. Если исключить из подсчёта бедные слои, то душевой ВВП оставшихся (примерно пятая часть населения) будет близок к уровню Франции или Бельгии. С учётом же остальных четырёх пятых индийский душевой ВВП становится одним из самых низких в современном мире. Подавляющая часть бедных приходится на низшие касты.

При этом основная проблема неравенства и бедности населения лежит не плоскости недостатка ресурсов, а в механизмах их распределения и перераспределения. Известный индийский социолог Р. Котхари обоснованно замечал, что нищета в Индии — это «не нищета ресурсов, а нищета справедливости». В Индии, где, несмотря на существующие меры поддержки бедноты (это до трети населения страны) через льготы низшим кастам, «магазины справедливых цен», раздачу продовольственных талонов, эти меры поглощают огромные ресурсы, но не достигают цели, усиливая социальное напряжение в обществе.

Уроки опыта модернизации стран БРИК, которые могут рассматриваться как элементы успешной стратегии модернизационных элит

Анализ опыта модернизационных успехов стран БРИК показывает, что нет единой модели, обеспечивающей качественный экономический результат при любых обстоятельствах. В частности, представления о безальтернативности классических моделей экономического управления не подтвердились. Веркей подчёркивает, что опыт стран с быстро развивающейся экономикой «противоречит теории свободного обмена…Опыт стран с формирующимися рынками противоречит теории свободного обмена… если бы БРИКС проводили политику, соответствующую теории свободного обмена, то быстрый подъем их экономик не состоялся бы» [Vercueil 2011: 128–135]. Это означает критические важное значение эффективности управления модернизацией, а значит, означает особую роль политического руководства этим процессом — способность эффективного целеполагания и целереализация, адогматичность и способность к гибкой коррекции курса, нейтрализации возникающих в ходе ускоренного роста социальных эффектов. Подтвердилась нетождественность понятий роста и развития: последнее, помимо улучшения свойственных росту *количественных* показателей, предполагает *качественное* развитие ключевых социальных параметров. Важнейшие среди них: высокий уровень человеческого развития (измеряемый Индексом человеческого развития, включающим доход на душу населения; продолжительность жизни, качество образования), технологический и научный потенциал экономики, расходы НИОКР как показатель способности страны к совершенствованию технологий производства.

Рассмотрение опыта руководства модернизацией в странах БРИК позволяет отметить ряд условий, необходимых для экономического успеха:

1. Выбор модели модернизации, релевантной цивилизационным и структурным условиям страны и позволяющей использовать конкурентные преимущества; при этом модели модернизации должны учитывать современные тенденции в трансформации модернизационных моделей.
2. Постепенность и эволюционный характер в осуществлении преобразований;
3. Гибкая коррекция проводимого курса на основании постоянного мониторинга достигаемых на каждом этапе результатов;

4. Значимая роль государства как института, способного к эффективному целеполаганию и целереализации; активная роль государства характеризует также опыт успешных модернизаций в новых индустриальных странах;
5. Использование преимущественно компромиссных стратегий, позволяющих избегать крупномасштабных политических конфликтов;
6. Успех модернизационных стратегий может быть достигнут в рамках различных политических режимов (успех НИС и КНР были достигнуты в условиях авторитарных политических режимов).

Афанасьев М. 1996. *Правящие элиты и государственность посттоталитарной России. М.Воронеж.*

Бендукидзе К. 1998. *В море плавают огромные акулы и едят друг друга // Независимая газета. Приложение НГ-Политэкономия. № 3. Февраль.*

Брагина Е.А. 2010. *Take off по-индийски // Современные условия развития. М.: МГИМО.*

Бюрократия, авторитаризм… 1993. *Бюрократия, авторитаризм и будущее демократии в России. Материалы "круглого стола" // Вопросы философии. № 2.*

Варгас Льоса А. 2006. *«Популизма возвращается? // Россия в глобальной политике. № 2.*

Володин А.Г. Индия — политическое пространство экономического роста.

Гаман-Голутвина О. 2006. *Политические элиты России: вехи исторической эволюции. М.: Росспэн, Глава 6.1.*

Гаман-Голутвина О.В. 2006a. *Российский парламентаризм в исторической ретроспективе и сравнительной перспективе //*

Гаман-Голутвина О. В., Олейник А., ред. 2008. *Административные реформы в контексте властных отношений: опыт постсоциалистических трансформаций. — М.: РОССПЭН.*

Гаман-Голутвина О., Пляйс Я., отв. ред . 2006. *Парламентаризм в России и Германии: История и современность — М.: Росспэн.*

Гаман-Голутвина О. 2006b. *Российский парламентаризм: историческая традиция и персональный состав депутатского корпуса // ПОЛИС. № 2–3.*

Гаман-Голутвина О. 1999. *Террариум единомышленников // Независимая газета. 2.06.1999.*

Иноземцев В. 2007. *Призрак конкурентоспособности // независимая газета // 11.04.2007.*

Кара-Мурза А. 1995. *"Новое варварство" как проблема российской цивилизации. М..*

Конференция Совета… 2013. *Конференция Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) «Демократия и меритократия: совместимы ли два принципа?». Москва, 1.07. 2013 г. Стенограмма.*

Корсун В.А. 2011. *Правящая элита современного Китая: тенденции модернизации и архаизации // Элиты стран Востока. Под ред. Другова А.Ю., Малетина Н.П., Новаковой О.В. М.: ИД «Ключ-С».*

Линц Х., Степан А. 1997. *"Государственность", национализм и демократизация // Полис. — 1997. — № 5.*

Лунев С.И. Элитарная парадигма развития (на примере Индии) // Элиты стран Востока.

Манхейм К. 1994. *Человек и общество в эпоху преобразования // Диагноз нашего времени. — М.: Юрист.*

Окунева Л.С. 2008. *Бразилия: особенности демократического проекта. М.: МГИМО.*

Политическая система США. М., 2000. С.: 133–134.

Рогов С. М. 2005. Функции современного государства: вызовы для России. *Свободная мысль,* № 7. С. 54

Сергеев М. 2009. *Экономика России подыграла Байдену // Независимая газета. 28.07.2009.*

Best H., Cotta M. (eds.) 2000. *Parliamentary Representation in Europe 1848 — 2000. Legislative Recruitment and Careers in Eleven European Countries. Oxford*

Borchert J. and Zeiss J. (eds.), 2003. *The Political Class in Advanced Democracies. Oxford: Oxford University Press.*

Cotta, M. and Best, H. (eds) 2007. *Democratic Representation in Europe: Diversity, Change and Convergence, Oxford: Oxford University Press.*

Gaman-Golutvina O. *Parliamentary representation and MPs in Russia: historical retrospective and comparative perspective*

Hook J. 2005. *'President Putting "Big" Back in Government', Los Angeles Times, Feb. 8, 2005, p. A1.*

Jim O'Neill Goldman Sachs, *Dreaming with BRICs*: the path to 2050 http://www2.goldmansachs.com/ideas/brics/book/99-dreaming.pdf

Linz J., Stepan A. 1996. *Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. — Baltimore—London*.

Page C. and Wright V. (ed.). 1999. *Bureacratic Elites in Western European States. A Comparative Analysis of Top Officials. Oxford University Press.*

Schwarzmantel J.J. 1987. *Structutes of Power. An Introduction to Politics. Brighton: Wheatsheaf Books.*

Semenova E., Edinger M. and Best H., eds. 2014. *Parliamentary Elites in Central and Eastern Europe. Routledge.*

Vercueil J. 2011. *Les pays emergents: Bresil-Russie-Inde-Chine… Mutations economiques et nouveaux defis.- 2-e edit.- P.: Breal*.

КОЛОНИИ И ЗАВИСИМЫЕ ТЕРРИТОРИИ: ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ

В.Л. Иноземцев
Национальный исследовательский университет — Высшая школа экономики

Аннотация: *В статье автор приглашает к обсуждению истории европейской колонизации и европейского владычества. Предлагается теоретический и даже в большей степени терминологический подход к проблеме различия между колониями и зависимыми территориями; вестернизацией и глобализацией; постколониальным развитием и постзависимостью; наконец, между попытками восстановления империй и равноправной межгосударственной интеграцией. Автор предлагает разобраться в фундаментальных понятиях при подходе к проблеме европейской экспансии, вестернизации и колонизации.*

Ключевые слова: *колония, европейская колонизация, постколониальный синдром, постзависимость, вестернизация, глобализация, подконтрольные территории, зависимые территории.*

Прошло более полувека с того времени, как европейские державы покинули территории, которые они контролировали на разных континентах на протяжении нескольких предшествующих столетий. Более двадцати лет назад распался Советский Союз, который также порой называли наследником российской империи. Сложно однозначно сказать, принес ли успех освободительной борьбы больше мира и благополучия новым независимым государствам, чем их народы могли достигнуть, если бы сохранили прежние отношения с метрополиями. История не знает сослагательного наклонения и спекуляции на эту тему неуместны — в то же время, однако, именно сейчас крайне важно попытаться понять, что представляла собой ушедшая в прошлое эпоха, правильно ли мы понимали ее суть и закономерности, и, наконец, какие уроки следует вынести современным политикам из событий относительно недавнего прошлого.

Клубок проблем, связанных с тематикой европейской экспансии, вестернизации и колонизации, столь велик, что к нему нужно подходить с какой-то одной стороны, и начинать «распутывать» с одной ниточки. Я предложил бы начать с того, чтобы определиться в фундаментальных понятиях, так как это, на мой взгляд, может сразу же поставить новые вопросы, сформулировать кажущиеся на первый взгляд парадоксальными идеи и привести к неожиданным политическим выводам. Мне кажется, что это как раз тот случай, когда выглядящий

чисто теоретическим вопрос может, если только он будет корректно сформулирован, объяснить важные тренды современного глобального развития.

Колонии и зависимые территории

Слово «колония (от coloniae, или поселение)» восходит к античности, когда колонизация была, пожалуй, наиболее совершенным методом освоения новых территорий, не предполагавшим их завоевания, равно как и жесткого противостояния колонистов и местного населения. Колонии той эпохи представляли собой не столько форпосты для военной экспансии, сколько «торговые представительства» наиболее передовых народов, среди которых не было равных финикийцам и грекам. По разным оценкам, выходцы из Финикии в X–VI веках до н.э. основали в Средиземноморье и на атлантическом побережье нынешних Испании и Марокко более 200 поселений с общей численностью жителей до 450 тыс. человек. Среди них стоит отметить Карфаген, государство, пережившее саму Финикию и несколько столетий угрожавшее Римской республике; колонии на Мальте, Ибице, Сардинии и Сицилии и юге Испании; финикийцы не только создавали собственные города, но и селились в существовавших торговых центрах, формируя сеть своих торговых путей [Culican 1991: 485–546.]. Греки за период с IX по V век до н. э., создали около 1500 подобных колоний, населенных более чем полутора миллионами их соотечественников — в этом случае на отдаленных территориях формировались новые полисы, порой вступавшие в партнерские отношения с местными жителями, но иногда стремившиеся и к их закабалению [Graham 1982: 83–159]. Все эти города были средоточием культурных, социальных и политических традиций создавших их народов и поддерживали с ними тесные связи.

В отличие от колонизации, во все времена существовала также практика завоевания новых территорий и принуждения их жителей к повиновению. Однако история даже древнего мира показывает, что империи редко могли похвастать долголетием: даже в условиях крайне медленного «течения» исторического времени ни одна империя древности, оккупировавшая территорию, заметно большую исконной, не существовала в виде единого государства более трехсот лет. Единственным исключением был Рим — но как раз в этом случае мы видим причудливое сочетание колонизации и завоевания; более того, процесс расширения границ orbis Romanum был очень медленным, что позволяло населению провинций успешно романизироваться. В общем и целом, можно утверждать, что колонизация создавала куда более устойчивые социальные и политические общности, чем присоединение территорий исключительно военной силой.

Традиционный смысл слова «колония» сохранился вплоть до начала Нового времени — испанцы называли колониями отдельные города, основанные ими в Америке, британцы — территории, с которых удалось вытеснить аборигенные племена, и т.д. Как отмечал С. Хантингтон, «термином ‘колония’ обозначается поселение, созданное людьми, покинувшими свою родину и перебравшимися в иное место с целью основания нового общества на отдаленных землях»; при этом колонисты отличаются от иммигрантов, которые, «напротив, не создают нового общества,.. но только перемещаются из одного общества в другое» [Huntington 2004: 41, 40]. И лишь позднее колониями стали именовать любые территории, контролируемые великими державами за пределами метрополии, а «колониализм» стал трактоваться как специфическая черта эпохи, названной «империалистической». Это, в свою очередь, вызвало значительную путаницу. Так, социологи Э. Каванаг и Л. Верачини, претендующие на определение такого феномена, как «переселенческий колониализм (settler colonialism)», сначала говорят о нем как о «глобальном и транснациональном явлении, равно свойственном прошлому и настоящему», а через несколько строк заявляют, что «переселенческий колониализм вообще не является колониализмом»; что «колониализм и переселенческий колониализм… остаются раздельными и определяющими друг друга [феноменами]» [Cavanagh, Veracini 2010].

На наш взгляд, наиболее последовательным шагом было бы называть как раз переселенческий колониализм колониализмом, в то время как иные формы экспансии — завоеванием или установлением политического контроля над чуждыми метрополиям территориями.

Фундаментальная проблема в данном случае заключается в том, что возможности классической колонизации объективно ограничены масштабом населения стран-поставщиков эмигрантов, в то время как военное овладение территориями долгое время выглядело намного более простым методом — особенно если принимать во внимание серьезные технологические или тактические преимущества, имевшиеся в арсенале передовых держав. Поэтому не будет преувеличением сказать, что успешные цивилизации при наличии возможностей первоначально использовали стратегию колонизации, а на более поздних этапах — стратегию оккупации.

С таких позиций крайне интересно оценить историю европейских наций в период, стартовавший с эпохи Великих географических открытий. С достижением европейцами Америк — малонаселенных территорий, жители которых серьезно отставали в технологическом развитии — начался процесс, в котором причудливо сочетались черты покорения и колонизации, но главное слово оставалось все же за последней. В южной части континента, которая контролировалась испанцами и португальцами, акцент делался на военную силу и подавление местных народов; на севере британцы и французы предпочитали оттеснять жителей от кромки океана и создавать на новых пространствах классические поселенческие колонии. Однако, как бы ни отличались эти процессы, европейские заморские экзерсисы XVI–XVII столетий характеризовались массированным переселением людей за океан: к середине XVIII века в Латинской Америке жило более 1,3 млн. этнических европейцев, в Северной — более 3,7 млн.; доля европейцев в населении территорий, ныне относящихся к США и Канаде, выросло с 10 до 80 % населения между 1650 и 1825 гг. [Ferguson 2011: 134] Политическое сознание местных элит было вполне европеизированным — если тут и возникало возмущение метрополиями, то не из-за неприятия «европейского пути», а из-за ощущения того, что по нему можно идти более быстро и эффективно (и, следует признать, что во многом им это удалось: достаточно сравнить поток мигрантов из Европы в освободившиеся колонии — США, Аргентину, Канаду — с тем «вниманием», которое оказывают мигранты из развитых стран освободившимся странам Африки или Азии). Конечно, можно говорить об американской Войне за независимость 1770-х годов или Освободительных войнах 1820-х годов в Латинской Америке как об «антирежимных», но стоит иметь в виду, что, мечтая о политической самостоятельности, повстанцы не собирались искать пути, отличного от европейского. Желая построить свой «город на холме» на основе европейских идеалов, Т. Джефферсон и Ф. де Миранда, Б. Франклин и С. Боливар, А. Гамильтон и Х. де Сан-Мартин были по своему духу куда большими «европейцами», чем сторонники сохранения абсолютистских традиций в самой Европе.

События 1770-х — 1820-х годов на американском континенте ознаменовали собой не менее важный переломный пункт в европейской истории, чем тот, который имел место в истории Средиземноморья в IV–III веках до н.э. В обоих случаях относительно медленная, основанная на интересах свободных граждан и движимая преимущественно коммерческими мотивами колонизация сменилась захватнической политикой, опиравшейся на военные методы и предполагавшей обращение в зависимость новых, ранее находившихся вне прямого контроля, территорий. «Просвещенная» Европа по прошествии двух тысяч лет вступила на скользкую дорожку Александра Македонского и Октавиана Августа.

В результате масштабной военной экспансии европейские державы создали империи, которые было бы ошибочно называть колониальными. Как и во времена Александра в Персии или в эпоху римского владычества в Британии, присутствие представителей метрополии на покоренных территориях было символическим (по статистике 1921 г. в Индии на 306 млн. местных жителей приходилось не более 157 тыс. британцев, из которых около 60 тыс. состав-

ляли военнослужащие [Brown, Judith 2004: 427, 423]; в Кении к 1960 г. жило 68 тыс. выходцев из метрополии и 8,2 млн. местных жителей; французское гражданское население в Индокитае накануне Второй мировой войны не превышало 34 тыс. человек «на фоне» 23 млн. аборигенов [Louis 1999: 352]). Конечно, завоеватели пытались создавать в новообретенных владениях свои хозяйственные и организационные практики. Те же британцы в 1849–1929 гг. построили в Индии 66 тыс. км. железных дорог — в разы больше, чем в самой Англии [Ferguson 2003: 171; Sandes 1935: vol. 2, 64–68], и эти дороги действуют сегодня так же, как и дороги, вымощенные римлянами, используются на Балканах. За период с 1946 по 1958 г. 70% всех инвестиций в инфраструктуру во французских колониях в Африке и 30% текущих трат на поддержание этих объектов обеспечивалось напрямую бюджетом Французской республики [Meredith 2005: 65–66]. Однако очевидно, что повторить в этих новых владениях то, что было достигнуто в Северной Америке или Австралии, европейцы не могли. Власти метрополий, часто эффективно и умело управляя завоеванными территориями, не стремились построить тут копию собственной цивилизации, рассматривая эти регионы в качестве выгодного и порой естественного «дополнение» своих стран, но не их «продолжение».

Таким образом, у европейских государств в контексте их экспансионистских устремлений прослеживаются две эпохи — колонизаторская и захватническая.

Продуктом первой явились общества, которые известный британский исследователь А. Мэддисон назвал Western offshoots [Maddison 2000: 6–9] — и которые одни только и были европейскими колониями. Большая часть их населения была наследниками европейцев, а сами колонии — своего рода extended Europe, и остаются таковыми и сегодня. Все эти территории, ставшие Соединенными Штатами, Канадой, Австралией, Аргентиной, Бразилией, Новой Зеландией и т.д., отличались доминированием пришлого населения (не менее 30–40%, но чаще всего более 60 %); резким сокращением числа исконных обитателей территории (более чем в 2–3 раза за первые сто лет активного «освоения»); созданием социально-экономической системы, копирующей существующую в метрополии (с возможными коррекциями, разумеется) и общими с метрополией «цивилизационными кодами». Отделение колоний от метрополий не нарушало исторической преемственности, в результате чего сейчас понятие «Запад» — относительно искусственно обозначающее европейскую цивилизацию — объединяет и европейские страны, и их бывшие поселенческие колонии.

Напротив, территории, находившиеся под военно-политическим доминированием, не были населены европейцами в существенной мере, не усваивали европейских практик и стремились сбросить власть чужаков не потому, что считали себя способнее и сильнее метрополии, а потому, что хотели остаться собой и (не)развиваться по собственному усмотрению. Это было несложно, так как структура присутствия представителей метрополии подчинялась довольно простым задачам администрирования, вместо управления эпохи модернити часто существовала система вассалитетов (в разных местах в разной степени развитая), а главной задачей выступала эксплуатация природных богатств завоеванных территорий. При этом доля пришельцев не превышала 1–3% населения, а сокращение числа местных жителей в ходе подавления их сопротивления оставалось в пределах статистической погрешности (жертвами подавления восстания сипаев в Индии стали около 300 тыс. человек при населении 282 млн. [Ramesh 2007]). Наиболее заметными примерами территорий, находившихся под такого рода доминированием, могут быть Юго-Восточная Азия под французским управлением, Ближний Восток и большая часть Африки под английским владычеством, и вообще вся Африка после 1880-х годов. Переходными формами можно считать латиноамериканские страны с большим присутствием коренного населения и их потомков (Перу, Боливию, Колумбию). Уход завоевателей в большинстве случаев предполагает в этой ситуации быстрый отказ от европейских элементов управления, восстановление системы персоналистской власти, начало междуусобных конфликтов и многочисленные (как правило, неудачные) эксперименты в экономике. Полная зависимость от метрополий, характерная для данных обществ, порождает

«капкан для развития» и после ее прекращения новые независимые страны зачастую деградируют, образуя своего рода «неразвивающийся мир» [Rivero 2001: 69–70].

Все эти замечания — вполне поверхностные, следует заметить — являются, на мой взгляд, достаточными для того, чтобы по меньшей мере задуматься, какие социальные и политические формы стоит называть колониями и можно ли говорить о «деколонизации» и «постколониализме» как чертах второй половины XX века.

«Постколониализм» и постзависимость

Понятие «постколониализм» — одно из знаковых словечек XX столетия. Введенное в оборот Э. Сезером в 1950 г. [Césaire 1955], оно распространилось в научной и публицистической литературе усилиями Ф. Фанона, А. Мемми, Э. Саида [Fanon 2001; Said 1994, 1995] и десятков их последователей необычайно быстро и стало, если так можно выразиться, культовым среди сторонников «особого» пути развития и противников империализма. Сегодня сторонники данной концепции предлагают рассматривать его в очень широком контексте, утверждая, что «термин „постколониализм“ часто ошибочно воспринимается как преходящий концепт, применяемый к описанию времени, наступающего после прекращения колониального состояния, после момента политического провозглашения независимости… на самом же деле постколониализм отражает борьбу с колониальными дискурсами, властными структурами и социальными иерархиями, постоянное оспаривание их прав на существование» [Gilbert, Tompkins 1996: 6]. «Постколониализм», таким образом, стал теорией противостояния нежелательной зависимости — зависимости от прежних доктрин, от европейской (как предполагается, далекой от идеала) модели развития, от созданных в сознании людей образов.

Между тем, если исходить из предложенной выше логики, такой термин вообще не имеет права на существование — причем как минимум по двум причинам. С одной стороны, колонии (в отличие от зависимых территорий) практически никогда не расходились в путях развития с прежними метрополиями и порой обогащали дискурсы, ведшиеся в Европе, а не пытались их развенчать. С другой стороны, при принятии отмеченных ранее смыслов сама по себе «деколонизация» представляется процессом крайне редким, так как обретение колониями независимости вовсе не предполагает исхода колонистов, за эту независимость и борющихся. Концепции же, сторонники которых ныне называют их «постколониальными», осуждают прежде всего практику подавления представителями бывших метрополий местных народов — и, исходя из исключительно негативной оценки эпохи «внешнего управления», призывают скорее к отторжению европейского пути, чем к его творческому использованию. Я прекрасно понимаю, что отношение к бывшим завоевателям и поработителям вряд ли может быть позитивным, однако объективности ради стоит заметить, что отторжение достаточно проверенного типа прогресса отнюдь не всегда приводит к обнаружению более многообещающего.

Я готов категорично утверждать: никакого «постколониального синдрома» не существует в природе. Общества, развивавшиеся как колонии, на этапе, когда ущербность их положения начинает тяготить большую часть населения, предпринимают попытку освободиться от доминирования внешних сил — но прежде всего лишь для того, чтобы самостоятельно развиваться в указанном прежними «колонизаторами» направлении. Колонии, начиная самостоятельное развитие, в общем и целом стремятся копировать метрополию; здесь находят свое подтверждение слова К.Маркса о том, что «страна более развитая показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего» [Маркс 1960: т. 23, 2], и не более того. В ряде случаев такие колонии становятся равными бывшим метрополиям, или даже более успешными, чем они. Примеры США и Великобритании, Аргентины и Испании, Бразилии и Португалии говорят сами за себя. Колонизация определенной территории представителями более развитых на момент начала этого процесса народов может привести к масштабным че-

ловеческим трагедиям, но никогда не выступает причиной замедления исторического прогресса — напротив, чаще всего создает условия для его локального ускорения.

Зато существует проблема бывших подконтрольных территорий. Их освобождение вряд ли стоит называть «деколонизацией» — прежде всего потому, что «колонизация» в данном случае выглядела условной. Так, уходя из Вест-Индии, голландцы вывезли на родину… 18 тыс. соотечественников — и при этом взяли с собой более 30 тыс. местных коллаборационистов, которые могли подвергнуться репрессиям за сотрудничество с иностранной администрацией. Из Анголы и Мозамбика после объявления этими территориями независимости в Португалию вернулись 12 тыс. человек, а из французского Индокитая, в борьбе за удержание которого отдали свои жизни 75,5 тыс. французских солдат — 40 тыс. живших там до начала освободительного движения французов (можно при этом вспомнить, что французы называли Индокитай не поселенческой колонией [colonie de peuplement], а колонией, подвергавшейся чисто хозяйственному использованию [colonie d'exploitation économique])[1]. Даже самый тяжелый случай — война, приведшая к «освобождению» Алжира, до 1962 г. бывшего даже не доминионом, а департаментом Франции — вернула домой 800 тыс. французов, что составляло на тот момент 7,5% населения этой провинции[2] (а десятки лет спустя потомки алжирских борцов за свободу крайне сожалеют, что родились после даты провозглашения независимости страны и не могут вернуть себе французское гражданство).

Уход европейцев из этих территорий, часто очень болезненный, был вполне предопределен и экономическими, и политическими причинами.

Экономически колонии стали просто ненужными: если в 1913 г. на британские и французские колонии приходилось около 58% совокупной внешней торговли этих стран [Иноземцев 2005: 29], то в 2011 г. доля Индии во внешней торговле Соединенного Королевства составляла 1,7%, а доля всей Африки во французской — около 2%[3]. Сегодня товары, поставляемые бывшими зависимыми территориями, гораздо проще купить, чем бороться за политический контроль над регионами, где они производятся.

Политически именно в ходе борьбы за независимость этих территорий были применены и затем распространились самые жестокие методы современных периферийных войн, включая террористические акты и этнические чистки. Многие историки и классики политической теории специально отмечали, что характер войн радикально изменился именно со второй половины XX века, когда сопротивление стало принимать формы неодолимого бунта, ведущегося с использованием порой немыслимых средств [Хобсбаум, 2004: 5–7]. Может быть, кому-то будет любопытно узнать, что они по сути легитимизированы… Организацией Объединенных наций, которая в Резолюции Генеральной Ассамблеи №2908 от 2 ноября 1972 г. («О применении Декларации о предоставлении независимости странам и народам, находившимся под колониальным владычеством», п. 6) подтвердила «легитимность использования народами колоний, равно как и народами, находящимися под иностранным владычеством, *любых имеющихся в их распоряжении методов* борьбы за самоопределение и независимость (курсив мой. — *В.И.*)».

В таких условиях европейцы не могли не уйти из своих заморских владений — но они ушли, а проблемы остались. Новые независимые государства обнаружили себя в глобальном мире, в котором они не имели опыта выживания. Их новый статус сопровождался целым «букетом» проблем: завоеватели не заботились о создании здесь зачатков местного самоуправления и основ гражданского общества; границы между протекторатами проводились не исходя

[1]Подробнее см.: www.en.wikipedia.org/wiki/First_Indochina_War, сайт посещен 8 мая 2013 г.

[2]Подробнее см.: www.en.wikipedia.org/wiki/Pied-Noir, сайт посещен 8 мая 2013 г.

[3]По Великобритании: *UK-India Trade Statistics*, UK House of Commons, 23 Oct 2012, p. 3 (материал загружен с сайта www.parliament.uk/briefing-papers/SN06191 8 мая 2013 г.); по Франции: данные с сайта www.csmonitor.com/World/Africa/2010/ 0601/President-Sarkozy-urges-revamped-trade-ties-at-Africa-France-Summit, сайт посещен 8 мая 2013 г.

из истории местных сообществ, а в силу произвольного раздела территории других континентов европейскими «грандами»; экономика была полностью подчинена внешним потребностям и не могла развиваться без рынка метрополии и без содействия с ее стороны. Общества, которые на протяжении долгого времени контролировались извне, но при этом не перенимали культуру «колонизаторов», а население которых не перемешивалось с ними, были по сути обречены оставаться на периферии глобального развития. Последствия обретенной свободы очевидны: сегодня наибольшее число самых бедных стран мира составляют государства, добившиеся независимости в 1960-х годах; с 1960 по 1996 г. в войнах и вооруженных конфликтах в Африке погибло около 8 млн человек — немногим меньше, чем на всех фронтах Первой мировой войны. Более двух третей населения освободившихся от колониальной зависимости в 1957–1963 гг. стран живут сегодня менее чем на 1 долл. в день; при этом, однако, средние расходы на оборону здесь достигают 6,6% валового продукта. Среди 25 государств с самым низким показателем продолжительности жизни — 24 африканских страны; для 27 стран, получивших независимость на волне освободительного движения 1960-х, рекордный уровень ВВП на душу населения фиксировался в середине или второй половине 1970-х (!) годов [Иноземцев 2005: 25–26][4], хотя, например, на момент обретения независимости Кенией ее подушевой ВВП был выше, чем… в Южной Корее. При этом стоит заметить, что «скромное обаяние „постколониализма“» понемногу рассеивается: согласно опросам общественного мнения, в 2005 г. более 49% граждан стран «чёрной» Африки полагали, что ответственность за экономические и социальные проблемы их государств несут собственные правительства и лишь 16% склонны были винить в них бывшие метрополии [Our Common Interest… 2005: 41].

Я не пытаюсь снять с европейских правителей ответственность за то, что произошло и происходит сейчас в их бывших заморских владениях. Но я хочу подчеркнуть, что не нужно называть это постколониализмом, а период господства европейцев в Африке или Азии — эпохой колонизации. Просто потому, что неправильное использование понятий может порождать совершенно неверное представление о реальности и провоцировать совершенно ошибочные политические шаги. И тут мы подходим к самому интересному: к, пожалуй, наиболее атипичному примеру имперской и постимперской политики, представленному… Россией.

Уникальная страна и её будущее

Касаясь «колониальной» тематики, в Советском Союзе и России традиционно стремились говорить, что она не имеет к нашей стране никакого отношения. Это где-то за морями территории завоевывали, а у нас их осваивали, где-то «там» малочисленные народы порабощали, а у нас их вытаскивали из проклятого прошлого и открывали им путь в современный мир. Между тем, на мой взгляд, не стоит жить в мире иллюзий — и как раз предложенная классификация открывает путь к переосмыслению и нашей истории, и нашего будущего.

Прежде всего следует заметить, что Россия в своем отношении к внешнему миру оказывается невероятно похожей на Европу. Можно лишь удивляться, насколько хронологически схожи были волны европейского и российского колонизаторства. В то время, когда испанцы уже установили свое доминирование в Южной Америке, а англичане и французы осваивали Северную, русские двинулись на Восток — и с 1581 по 1697 г. полностью покорили всю территорию до берегов Тихого океана, после чего переправились через Берингов пролив и распространились до сегодняшнего Орегона и северной Калифорнии. При этом сибирские города основывались в те же годы, что и наиболее известные города в Новой Англии [Иноземцев 2012: 83–84], а в период максимальной экспансии российские территории, располагавшиеся к востоку от Урала (включая Аляску) превышали по площади испанские владения в Новом

[4]См.: Иноземцев, Владислав. *Терроризм как «освободительная» борьба*, сс. 25–26.

Свете от Мексики до Огненной Земли. Согласно подсчетам западных авторов, масштабы этой экспансии и продолжительность контроля над приобретенными пространствами делают Россию самой большой «империей» за всю историю человечества [Taagepera 1988: 1–8].

Эти огромные территории осваивались теми же методами, что и Северная Америка. Они стали огромной поселенческой колонией русских, действовавших по классическим канонам европейских народов. Характерно, что на это указывали даже современники тех событий: еще во второй половине XVII века Ю. Крижанич, находясь в тобольской ссылке, сравнивал освоение Сибири с римской и испанской практикой переселений, называя ее «высылкой народа на посады» [Мирзоев 1970: 44]. Позднее в своей классической работе «Сибирь, как колония», вышедшей в 1882 г. Н. Ядринцев исходит из тезиса о том, что «Сибирь по происхождению есть продукт самостоятельного народного движения и творчества; результат порыва русского народа к эмиграции, к переселениям и стремлению создать новую жизнь в новой стране… — поэтому мы вправе считать Сибирь по преимуществу продуктом вольнонародной колонизации, которую впоследствие государство утилизировало и регламентировало» [Ядринцев 1892: 190]. В начале XX века В. Ключевский писал, что «история России есть история страны, которая колонизируется; область колонизации в ней расширялась вместе с государственной ее территорией — то падая, то поднимаясь, это вековое движение продолжается до наших дней» [Ключевский 1987: 50]. Опять-таки современники оставили массу свидетельств жестокостей завоевателей на покоряемых территориях: так, по воспоминаниям епископа Камчатского Иннокентия, уничтожение до половины населения мятежных племен было обычным для русских первопроходцев [Вениаминов 1840: 188–190], а многие современные западные авторы подчеркивают, что уровень истребления местных жителей был близок к североамериканским масштабам и ничего подобного представить себе, например, в Индии при британском владычестве было невозможно [Curtin 1984: 208]. По сути, Россия в сфере колонизации не только соперничала с европейскими державами, но часто и превосходила их — хотя, по словам Р. Пайпса, «русские [в отличие от европейцев] не уезжали за границу; они вместо этого предпочитали колонизировать собственную страну» [Pipes 1990: 103–104].

Но сходства на этом не заканчиваются. Приблизительно через двести лет после начала колонизации Сибири Россия, как и европейские державы, начала не столько колонизаторские, сколько военные эксперименты — присоединяя части плотно населенных территорий или аннексируя отдельные государства или их владения. В конце XVIII — начале XIX веков были присоедины Крым и Молдавия, Польша и Финляндия, Грузия и Азербайджан, в середине XIX-го началась война за Северный Кавказ, а через пару десятилетий — оккупация Средней Азии. Практически включив в свои границы такие вассальные государства, как Бухарский эмират и Хивинский каганат, Россия распространила свою власть до пределов британской зоны влияния в Афганистане и Гиндукуше. В тот же период, когда европейские державы завершили раздел Африки и Юго-Восточной Азии, Россия достигла естественных пределов. Здесь сходства заканчиваются, и начинаются отличия.

Уникальность Российской империи образца начала XX века обусловливалась, на мой взгляд, несколькими моментами. Во-первых, Сибирь — ее гигантская колония — была формально включена в состав единого государства (эта территория перестала управляться Посольским приказом еще в 1596 г.), и не обнаруживала никаких признаков сецессионизма к тому моменту, когда империя начала новый виток расширения. Во-вторых, в отличие от европейских стран и их поселенческих колоний, Россия относилась к Сибири скорее как к зависимой территории, не столько развивая ее, сколько максимально эксплуатируя ее богатства; местные элиты здесь практически отсутствовали, а первый университет (основанный в Томске в 1878 г.) появился на 327 лет позже, чем в Лиме, на 242 года позже, чем в Бостоне и на 16 лет позже, чем в Карачи[5]. И, в-третьих, Россия начала намного более активно осваивать

[5] По данным о датах учреждения соответствующих университетов с сайта интернет-энциклопедии “Wikipedia” (www.wikipedia.org, сайт посещен 16 января 2013 г.).

свои зависимые территории в Закавказье и Средней Азии, чем решилась на это любая из западноевропейских держав. Особенно удивляет то, что вся эта «несовместимая с [нормальной] жизнью» конструкция пережила крах имперского режима в метрополии и после короткого периода хаоса просуществовала еще почти семьдесят лет.

Однако в конце 1980-х годов очередное ослабление центра привело к нарастанию сепаратистских тенденций и распаду страны — распаду, который только на первый взгляд мог показаться «беспроблемным» и который пока не следует считать окончательно завершенным.

Россия, как в свое время и Британия, без сопротивления «отпустила» свои зависимые территории, понимая, что контроль над ними обходится все дороже. Однако российские руководители «забыли», что часть этих территорий, не являвшихся классическими колониями, были к тому времени серьезно колонизированными. В 1989 г. доля русского, украинского и белорусского населения в Казахской ССР составляла 44,4% (а казахского — 39,0%), в Киргизской ССР — почти 24,3%, в Узбекской ССР — 9,3%, в Таджикской ССР — 8,5%, в Азербайджанской ССР — 6,1%, в Чечено-Ингушской АССР — 24,3%[6]. Лишь в нежданно обретших независимость республиках Средней Азии жило не менее 11,0 млн. русских, белорусов и украинцев[7] — в 20 с лишним раз больше, чем англичан в африканских и азиатских владениях Британии в 1947 г. и в 30 раз больше, чем французов в таких же владениях Франции в 1952-м. И то, что началось после распада Советского Союза, вполне можно назвать единственной в истории деколонизацией в собственном смысле этого слова: к середине 2000-х годов из стремительно архаизирующихся новых государств было разными способами выдавлено около 4 млн. уроженцев бывшей метрополии. К концу 2010-х годов доля славянского населения в Казахстане упала до 26,2%, в Киргизии — до 6,9%, в Узбекистане — до 4,1%, в Таджикистане — до 1,1%[8], а в формально оставшихся в составе России Чечне и Ингушетии — до 1,9 и 0,8% соответственно[9]. Причем произошло все это при полном молчании официальных российских властей, иезуитски обосновывавших необходимость «дружбы» с новыми режимами абстрактными геополитическими соображениями.

Происшедшее в бывших республиках Советского Союза еще раз доказывает то, что давно можно было понять на основе изучения истории «реальных» колоний: освоенные европейскими державами территории следуют в русле европейского цивилизационного выбора лишь в случае, если они населены в подавляющем большинстве представителями европейских народов. Зависимые территории в большинстве своем не могут выстроить позитивной идентичности — и потому не способны избежать всплеска национализма, который выступает единственным известным им инструментом строительства новой нации. И если попытаться вынести из случившегося уроки, то они будут просты и понятны: во-первых, пытаться препятствовать продолжающейся архаизации этих государств бессмысленно; во-вторых, искать с ними союза, учитывая это обстоятельство, по меньшей мере непродуктивно; в-третьих, для бывшей метрополии создавать интеграционные объединения со странами, инициировавшими и продолжающими политику «деколонизации», порочно и аморально. Апология Евразийского союза не более убедительна, чем идеи о воссоздании квазигосударственных форм ассоциации Британии с Зимбабве или Франции с Сенегалом, а выгоды от образования на этой территории зон свободной торговли не более очевидны, чем от введения беспошлинного ввоза в Европу товаров из тропической Африки. Попытки России восстановить единство со своими

---

[6]Рассчитано по: *Национальный состав населения СССР (по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.)*, Москва: Финансы и статистика, 1991 (на сайте www.demoscope.ru/weekly/ssp/census.php?cy=6e, сайт посещен 12 апреля 2013 г.).

[7]Там же.

[8]Рассчитано по данным национальных статистических служб соответствующих государств за 2006–2009 гг.

[9]Рассчитано по: *Население по национальности, полу и субъектам Российской Федерации (по итогам Всероссийской переписи населения 2010 г.)* (на сайте www.demoscope. ru/weekly/ssp/rus_etn_10.php, сайт посещен 12 апреля 2013 г.).

прежде зависимыми территориями — попытка, не знающая равных в истории по своей иррациональности.

Не менее странной выглядит и другая особенность страны. Набиваясь в партнеры бывшим вассалам, метрополия не замечает меняющегося баланса потенциалов центра и колонии в составе России. На закате советской эпохи на Сибирь приходилось 13% экономического потенциала СССР и чуть менее 10% его населения (конечно, зауральские земли составляли 57,1% территории, но большая часть их была необжитой, и этот дисбаланс никого не волновал). Но Советский Союз рухнул — и теперь на Сибирь приходится 74,8% территории России и 20,3% ее жителей. Более того, по итогам 2012 г. от 68 до 75% всего экспорта страны составили товары, добытые или первично переработанные в Сибири, а всего два платежа — налог на добычу полезных ископаемых, и экспортная пошлина на нефть и природный газ (оба по преимуществу «сибирские») — обеспечили 50,7% доходов федерального бюджета[10]. Лишись Россия сибирского экспорта — она немедленно скатится с 9-й на 30-ю позицию в рейтинге глобальных экспортеров, расположившись вслед за Австрией[11]; лишись бюджет сибирских доходов — достижения всего путинского десятилетия в социальной политике будут перечеркнуты. Похоже, что сегодня не Сибирь — восточная окраина России, а Москва — город к западу от Сибири.

Никогда и нигде колония не была настолько экономически значимее метрополии, оставаясь политически столь бесправной. Сужение пределов страны, индустриальная деградация России и превращение ее в сырьевой придаток Европы качественно меняют степень ее устойчивости в «колониальной» системе координат. Поэтому сейчас исключительно важно обеспечить большее влияние восточной части России на принятие основных решений в государстве, модернизировать федеративные отношения, дать Сибири голос в принятии внешнеполитических решений, по-новому осмыслить стратегии развития нашей пока еще единой страны.

Россия — уникальная историческая общность. По сути, она пользуется такими преимуществами, которыми могли бы похвастаться Англомерика или Портобраз, если бы 13 колоний не отложились от британской монархии в 1776 г., а южноамериканская вотчина Португалии не объявила себя независимой империей в 1822-м. Эти преимущества и возможности нужно ценить. Надо изучать историю и помнить, что великие европейские нации начали свой упадок не тогда, когда обезумевшие от жажды свободы племена вышибли их уставшие армии из Заира или Мозамбика, а тогда, когда раздвинувшие их границы пассионарии сочли, что смогут быстрее и эффективнее развиваться без опеки их прежней столицы. Потеря колоний несравнимо опаснее утраты зависимых территорий. Удерживать последние бессмысленно, испытывать связи с первыми на прочность безрассудно. Именно к этому выводу можно прийти, осознав различие между колониями и зависимыми территориями, которым пренебрегает современная политическая наука — не в последнюю очередь потому, что находится в плену традиционной терминологии. Действуя же, исходя из привычных представлений, легко принять ошибочные решения.

* * *

Эта статья — в первую очередь призыв задуматься. Время колониальных и имперских экспериментов, которыми веками ставили европейцы, подходит к концу. Оглядываясь назад, можно намного лучше и тоньше понять историю европейской колонизации и европейского владычества. Сегодня практически очевидно, что мир глобализуется, а не вестернизируется,

[10]Согласно Отчету Счетной палаты РФ о предварительном исполнении федерального бюджета за 2012 г.

[11]Рассчитано на основании данных по экспорту отдельных стран за 2012 г., приводимых CIA World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2078rank.html, сайт посещен 26 февраля 2013 г.

что сама идея центра и периферии понемногу исчезает. Но не менее ясной становится и разница между колониальной экспансией, собственно и создавшей современный развитый мир в его относительном единстве, и временным контролем над чуждыми территориями, приведшим в итоге лишь к реакции и регрессу. Европа ошиблась в том, что не остановилась на тех пределах, на освоение которых у нее хватало людских ресурсов, и положилась на технологии, не способные заменить культурные коды. Колонизация была величайшим проявлением европейской пассионарности, попытка контроля за отдаленной периферией — величайшей ошибкой Европы.

Относительно недавно Россия оказалась лицом к лицу с теми же процессами, с которыми европейцы столкнулись полвека тому назад. И нам нужно не пытаться забыть о том, что происходило и происходит в мире в последние пятьдесят лет, а проанализировать данный опыт, вырвавшись из плена терминологических и идеологических штампов. Нам нужно еще раз переосмыслить различия между колониями и зависимыми территориями; вестернизацией и глобализацией; постколониальным развитием и постзависимостью; наконец, между попытками восстановления империй и равноправной межгосударственной интеграцией. Ко всем этим вопросам я попытался подойти исключительно с теоретической, и даже терминологической стороны, и, возможно, не учел многих важных обстоятельств. Поэтому предлагаемая статья и воспринимается мной не как ответ на актуальные вопросы нашего времени, а, прежде всего, как приглашение к их широкому — и по возможности неполитизированному — обсуждению. Мне кажется, что такая дискуссия сегодня может оказаться весьма полезной.

Вениаминов, Иннокетий. 1840. *Записки об островах Уналашкинского отдела*, Санкт-Петербург.

Иноземцев, Владислав, Пономарев, Илья и Рыжков, Владимир. 2012. *“Континент Сибирь” в: Россия в глобальной политике, том 10, № 6, ноябрь — декабрь 2012,*.

Иноземцев, Владислав. 2005. *“Терроризм как ‘освободительная’ борьба: новая встреча со старым феноменом” в: Свободная мысль–XXI, , № 9.*

Иноземцев, Владислав. 2005. *Терроризм как ‘освободительная’ борьба*.

Ключевский, Василий. 1987. *«Курс русской истории» в: Ключевский, Василий. Сочинения в 9-ти томах, т. 1, Москва*.

Маркс, Карл. 1960. *Капитал, т. 1 в: Маркс, Карл и Энгельс, Фридрих, Сочинения, 2-е изд., т. 23*.

Мирзоев, Владимир. 1970. *Историография Сибири*, Москва.

Хобсбаум, Эрик. 2004. *“Масштаб посткоммунистической катастрофы не понят за пределами России” в: Свободная мысль–XXI, , № 9.*

Ядринцев, Николай М. 1892. *Сибирь, как колония в географическом, этнологическом и историческом отношениях*. 2-е изд., дополненное и переработанное. СПб.: Издание И.М. Сибирякова.

Brown, Judith M. 2004. *“India” in: The Oxford History of the British Empire, vol. IV, Oxford: Oxford Univ. Press*.

Cavanagh, Edward and Veracini, Lorenzo. *2010. “Definition” (на сайте, посвященном исследованиям переселенческого колониализма,* см.: http://settlercolonialstudies.org/about-this-blog/, сайт посещен 19 января 2013 г.).

Césaire, Aimé. 1955. *Discourse sur la colonialisme*, Paris, Dakar: Editions Presence Africaine.

Culican, W. 1991. *“Phoenicia and Phoenician Colonization” in: The Cambridge Ancient History, vol. III, part 2, Cambridge: Cambridge Univ. Press*.

Curtin, Philipp. 1984. *Cross-Cultural Trade in World History, Cambridge: Cambridge Univ. Press*.

Fanon, Frantz. 1995. *The Wretched of the Earth*, London, New York: Penguin, 2001; Said, Edward W. *Orientalism. Western Conceptions of the Orient*, London, New York: Penguin.

Ferguson, Niall. 2011. *Civilization. The West and the Rest*, London: Allen Lane.

Ferguson, Niall. 2003. *Empire. How Britain Made the Modern World*, London: Allen Lane.

Gilbert, Helen and Tompkins, Joanne. 1996. *Post-Colonial Drama: Theory, Practice, Politics*, London, New York: Routledge.

Graham, A.J. 1982. *"The Colonial Expansion of Greece" in: The Cambridge Ancient History, vol. III, part 3, pp*.

Huntington, Samuel P. 2004. *Who Are We? The Challenges to America's National Identity*, New York: Simon & Schuster.

Maddison, Angus. 2000. *The World Economy: A Millennial Perspective*, Paris: OECD Publications Service.

Meredith, Martin. 2005. *The State of Africa. A History of Fifty Years of Independence*, London, New York: The Free Press.

Our Common Interest… 2005. *Our Common Interest : An Argument* [The Commission for Africa Report], London: Penguin Books.

Pipes, Richard. 1990. *The Russian Revolution*, New York, Alfred A. Knopf.

Ramesh, Randeep. 2007. *"India's Secret History" in: The Guardian, August 24; численность населения приведена по сайту www.populstat.info/ Asia/indiac.htm (сайт посещен 8 мая 2013 г.).*

Rivero, Oswaldo de. 2001. *The Myth of Development. The Non-Viable Economies of the 21st Century*, London, New York: Zed Books.

Roger Louis, W.M. 1999. "Ithe Dissolution of the British Empire" in: *The Oxford History of the British Empire*, vol. IV.

Said, Edward W. 1994. *Culture and Imperialism*, New York: Vintage Books.

Sandes, E.W.S. 1935. *The Military Engineer in India*, London: Chatham, , vol. 2.

Taagepera, Rein. "An Overview of the Growth of the Russian Empire" in: Rywkin, Michael (ed.) *Russian Colonial Expansion to 1917*, London: Mansell, 1988, pp. 1–8.

«МИРНОЕ РАЗВИТИЕ КИТАЯ» И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

А.М. Кузнецов
Дальневосточный государственный университет

Аннотация: *В статье рассматриваются возможности оценки превращения Китая в одну из мировых держав средствами современных теорий международных отношений. Западные, прежде всего, американские специалисты, основывающиеся на позициях концепции реализма, однозначно видят в этом процессе угрозу миропорядку. Правительство КНР, с целью снятия негативного восприятия роста мощи своей страны, даже изменило прежний свой слоган «Мирное возвышение Китая» на «Мирное развитие Китая». Одновременно перед научным сообществом страны была поставлена задача разработать свою версию теории международных отношений, в которой новый Китай мог быть представлен как позитивная страна. Оценивая потенциал разработок китайских теоретиков в данной сфере, можно констатировать достижение определенных успехов, связанных с отходом от западоцентризма существующих теорий международных отношений. В статье также ставится вопрос о необходимости внести свой вклад в разработку новых концепций и российским учёным.*

Ключевые слова: *мирное развитие, мирный подъем, Китай, теория международных отношений, незападные теории, китайская школа.*

Формирование нового миропорядка, начавшееся после окончания холодной войны, поставило перед наукой о международных отношениях ряд новых проблем. Одной из них становится необходимость осмысления новой роли Китая. Достигнутые этой страной в последние десятилетия успехи заставили международное сообщество поменять свои некоторые прежние установки. Если в 1990-е гг. по поводу утверждений о превращении Китайской Народной Республики в одну из великих держав, еще могли появляться пренебрежительные замечания, вроде, — «оса — тоже полосатая, но еще не тигр», — то сегодня все, что имеет отношение к этой стране, воспринимается более чем серьезно. Не случайно рассуждения об угрозе китайской силы стали общим положением публикаций и экспертных оценок различных китаеведов. Не менее показательны здесь и утверждения о «самоуверенном отношении этой страны к внешнему миру» [Лукин 2010]. В сложившейся ситуации особо примечательным представляется мнение Г. Моргентау — классика теории реализма. Он еще в 1960-е гг.

утверждал, что скорее, чем российский коммунизм, серьезным вызовом для внешней политики Соединенных Штатов явится движение за независимость Восточной Азии [Shilliam 2011: 1]. Почти сорок лет спустя Д. Мершаймер — другой видный представитель этого направления уже безапелляционно утверждал: «Процветающий Китай не станет силой, признающей сложившееся status quo, но превратится в агрессивное государство, претендующее на утверждение своей гегемонии в регионе» [Mearsheimer 2001: 402]. С течением времени позиция этого автора в отношении Китая не изменилась. Он по-прежнему воспринимает эту страну как «собирающийся шторм» и на все заявления о ее стремлении к миру напоминает мнение ряда западных авторов, начиная с Т. Гоббса, согласно которому: «Государства никогда не могут быть уверены в отношении намерений друг друга» [Mearsheimer 2010: 381]. Другие американские специалисты также солидарны в том, что Китай следует рассматривать как сверхреальную силу и угрозу интересам США в регионе [Kaplan 2010; Rex 2009].

Вполне очевидно, что заявления и оценки подобного рода не могли оставаться без внимания со стороны руководства Китайской Народной Республики, которое вовремя осознало необходимость концептуального обоснования идеи о мирном характере своей нарастающей мощи. Условия для выполнения этой задачи предусмотрительно были заложены еще в начале 1980-х гг. Дэн Сяопином, когда он поставил перед научным сообществом страны четкую цель: «Долгое время мы пренебрегали изучением политической науки, права, социологии и мировой политики, но теперь мы должны поторопиться, чтобы ликвидировать наше отставание в этих областях. Основной массе наших идеологических и теоретических специалистов необходимо глубоко овладеть одной или несколькими из указанных областей знания. Но все те, кто в состоянии проделать такую работу, должны изучать иностранный язык, чтобы свободно работать с основными зарубежными публикациями по проблемам социальных наук» [Hung-Jen Wang 2013: 4].

Показательно, что некоторые авторы (Е Цзычэн, Ли Ян), уже в начале 2000-х гг. поставили вопрос о необходимости проведения в Китае специальных психологических акций. Основная их цель должна была заключаться в формировании в стране сознания принадлежности к великой державе, а за рубежом ее восприятия в таком новом качестве. Появившейся в это время слоган «мирное возвышение Китая», как представляется, и должен был стать ответом китайской стороны на обвинения в неизбежной ее агрессивности. По данным доступных мне источников, впервые тезис о мирном возвышении был представлен в ноябре 2003 г. в выступлении проректора Центральной партийной школы КПК Чжэн Бицзяня, который в 1990-е гг. был зав. отделом пропаганды ЦК КПК. О том, какое значение придавалось данной формуле, свидетельствуют дальнейшие шаги китайской стороны. В декабре данное положение уже было озвучено в одном из выступлений Ху Цзиньтао. Затем в очень сжатые сроки в марте 2004 была подготовлена объемная работа «Мирное возвышение Китая» сотрудников отдела стратегических исследований Шанхайского института международных проблем Ся Липина и Цзян Сиюаня [Ломанов 2005b]. Однако оценка достигнутых таким образом результатов оказалась, по-видимому, не слишком обнадеживающей. Поэтому летом 2004 было принято решение найти боле убедительный вариант базового тезиса, закреплявшего в мире положительный образ страны. В результате происходит примечательная корректировка первоначальной формулы и в Отчетном докладе Ху Цзиньтао на XVII съезде КПК речь уже шла о «мирном развитии Китая» [Ломанов 2005a].

С этого времени новая формулировка ранее предложенного слогана и комментарии к нему широко транслируется в официальных документах и заявлениях руководства КНР, а также в академических публикациях и средствах массовой информации. В частности, на сайте посольства КНР в Москве был выставлен примечательный документ. Согласно этому тексту, путь мирного развития означает: «посредством охраны мира во всем мире заниматься саморазвитием и посредством саморазвития охранять мир во всем мире; одновременно с реализацией развития посредством подчеркивания необходимости за счет собственных сил, ре-

форм и инноваций отстаивать внешнюю открытость, учиться и заимствовать благоприятный опыт других стран; в соответствии с развитием экономической глобализации стремиться к взаимовыгоде и взаимовыигрышу с другими странами, а также к совместному развитию; вместе с международным сообществом продвигать строительство долгосрочного мира, совместного процветания и гармоничного мира». Не менее примечательно уделяемое здесь внимание собственно концепту развитие: «Ярчайшими особенностями данного пути выступают научное развитие, самостоятельное развитие, открытое развитие, мирное развитие, развитие на основе взаимодействия и совместное развитие». Следует также отметить приведенные заверения в готовности отстаивать концепцию «человек превыше всего» и соблюдать права человека. Заслуживает внимания и призыв Китая всем странам мира участвовать в строительстве гармоничного мира.

Однако, документ напоминает, что в своем стремлении к мирному и более справедливому мироустройству, страна не намерена поступаться своими интересами. «К коренным интересам Китая относятся следующие базовые гарантии: национальный суверенитет, национальная безопасность, территориальная целостность, единство страны, политический строй Китая, закрепленный Конституцией Китая, общественная стабильность, а также устойчивое социально-экономическое развитие». Тем не менее, его авторы полагают, что проявленная принципиальность в данном вопросе не противоречит ранее выдвинутым заявлениям. «Мирное развитие Китая развенчало традиционный миф о том, что, укрепив свою государственную мощь, страна всегда превращается в гегемона. Колонизаторство, расширение своего влияния, распространение военной силы и др. — все это относится к старому пути, на который вставали многие державы после своего подъема в период новой истории» [Мирное развитие Китая… 2011].

Произошедшая смена власти в КНР, судя по появившимся сообщениям, уже не вызвала изменений в ранее принятых установках. Так 28 января в Пекине состоялась 3-я коллективная учеба Политбюро ЦК КПК 18-го созыва на тему «Решительно идти по пути мирного развития». Работой этого собрания руководил новый глава партии и страны Си Цзиньпин, который, в частности, сказал: «Мы будем решительно идти по пути мирного развития, но мы категорически не станем отказываться от наших законных прав и интересов и не будем жертвовать ключевыми интересами страны» [Си Цзиньпин…]. Однако, по-видимому, присущая официальным документам и заявлениям подобная амбивалентность целей явилась причиной, по которой зарубежные авторы по-прежнему продолжают обсуждать тезис о мирном, но все-таки возвышении Китая [Buzan 2010; Chin-yu Shin 2013; China’s Rise in Historical Perspective… 2010; China’s New Diplomacy… 2008].

В приведенном общественно-политическом контексте за рубежом часто как политическая акция воспринимается и призыв разработать для Китая собственную теорию международных отношений. При этом сами китайские специалисты-международники не отрицают, что в данном случае их задача состоит в том, чтобы дать научное обоснование тезису о мирном развитии страны. Но здесь следует отметить, что эта отрасль науки уже в середине 1990-х гг. активно развивалась в КНР. В разных центрах регулярно проходили мероприятия по международным проблемам и издавались переводы работ ведущих зарубежных специалистов в данной области. Новые возможности позволили широкой научной общественности усвоить основные положения современного «мейнстрима» теории международных отношений и таких его направлений, как реализм, либерализм и конструктивизм. Однако распространение западных идей имело и неожиданные последствия, в том числе и стремление некоторых специалистов создавать свою собственную теорию и школу. Примечательно, что предложение о разработке собственной теории, уже было озвучено в 1987 г. на первой большой конференции по международным отношениям в Шанхае. К этому вопросу снова возвращались на конференциях в Пекине в 1991 и 1994 гг. Здесь можно еще упомянуть конференцию «Теория международных отношений в Китае: сравнения и заимствования» (декабрь 2002 г.). Как отметил

Су Чжанхэ (Центр американских исследований Фуданьского университета), «призывы создать как можно быстрее собственную теоретическую школу международных отношений свидетельствуют о нашем недовольстве и даже раздражительности фактом, что мы не имеем своих теорий» [Чжан Жуйчжуан, Королев 2010: 102].

Но после появления известных установок и выхода в свет указанного исследования дело уже не могло ограничиваться только чувствами. Не случайно достаточно оперативно в декабре 2004 г. в Шанхае состоялась конференция на тему «Строить китайскую теорию, создавать китайскую школу». Выступавший здесь с докладом профессор Го Шуюн, в частности, сказал: «Целью конференции была попытка продвинуть вперед теоретическое строительство, сущностью которого должна была стать наша китайская специфика… Наша конференция должна стать смелой попыткой преодолеть копирование западных теорий и попытаться перевести гуманитарную науку на китайскую основу» [там же]. Показательно также, что с середины 2000-х гг. наблюдается заметный рост числа публикаций по проблемам теории с китайской спецификой.

Некоторые итоги обсуждения инициативы авторов из Китая уже были представлены на различных конференциях и в ряде специальных публикаций. В свете появившихся материалов можно констатировать, что, несмотря на общую задачу — создание для динамично развивающейся страны собственной теоретической школы, которая должна в полной мере отражать китайское видение международных отношений, разные исследователи предлагают свои варианты ее решения [Contemporary Chinese Political Thought… 2012; Non-Western International Relations Theory… 2010; Zhang Feng 2012]. Среди них имеются и свои скептики, как, например, директор кафедры международных отношений университета Цинхуа профессор Янь Сюэтун, известный автор исследования «Анализ национальных интересов Китая». Он отстаивает универсальный характер науки, в которой действуют объективные законы, а потому, как нет особой китайской физики, не может быть и какой-то отличной от существующей теории международных отношений. Представители более умеренного крыла сторонников создания собственной школы, Ван Ичжоу (Институт мировой экономики и политики АОН), Су Чжанхэ, Чжан Жуйчжуан (ун-т Нянькай, кстати, в прошлом докторант К. Уолца) предлагают сейчас не строить амбициозных планов, а вначале сосредоточить свои усилия на проведение методологически корректных прикладных исследований, результаты которых затем можно будет использовать для создания теоретических конструкций. Как писал Чжан Жуйчжуан: «Чтобы не стать предметом насмешек «знатоков», нельзя гнаться за сиюминутным успехом и, пуская пыль в глаза, победно заявлять об основании какой-либо школы» [Чжан Жуйчжуан, Королев 2010: 104].

Однако в Китае есть и более решительно настроенная группа исследователей (Лян Шоудэ, Чжан Чжичжоу, Цинь Яцин и др.). Они отстаивают идею о том, что доминирующая сегодня американская теория международных отношений, отражает преимущественно американские национальные интересы, а потому сегодня необходимо пересмотреть представления о международной сфере, основываясь на реалиях других стран и регионов. Собственную теорию международных отношений эти авторы предлагают создавать на основе культурных традиций китайской цивилизации, традиционной китайской философии и китайских исследованиях теории международных отношений. Но в этой теории должно быть отведено место марксистской теории, зарубежным теориям международных отношений и накопленному практическому опыту дипломатии [Huang-Jeng Wang 2013].

Уже самое предварительное знакомство с этим новым явлением — теорией международных отношений с китайской спецификой позволяет констатировать, что вокруг него сложилась такая ситуация, при которой в рамках одной статьи невозможно проанализировать весь круг возникающих вокруг него вопросов. Сложность здесь заключается не только в языковом барьере, но и нарастающей популярности данного сюжета у специалистов других стран. Тема китайской (и более широко — незападной) теории международных отношений

активно обсуждается в Западной Европе (прежде всего в Великобритании и Германии), США, других странах, но не в России. [Воскресенский 2013; China's Rise… 2010]. Собственно политические аспекты явления «китаизации международных отношений» также стали предметом специального исследования [Chin-yu Shin 2013]. Поэтому я могу здесь ограничиться рассмотрением некоторых концептуальных положений работ китайских специалистов и их верификацией в общем контексте современной теории и методологии науки. Среди доступных мне материалов наибольший интерес для анализа такого рода представляют публикации профессора Цинь Яцина. В свое время этот исследователь, прошедший обучение и в США, занимал посты исполнительного вице-президента международных исследований Китайского университета иностранных дел и вице-президента Национальной ассоциации международных исследований Китая. При этом он является не только одним из адептов идеи о необходимости разработки собственной теории, но и вносит активный вклад в ее создание.

Признавая тот факт, что традиционная картина мира Китая не содержала в себе идеи «интернациональности», этот автор уверен, что китайская философия и, прежде всего, ее конфуцианское направление обладает необходимым концептуальным потенциалом для переосмысления существующего миропорядка. Прежде всего, в своих построениях Цинь Яцин обращается к такому значимому для конфуцианства понятию как «тянься», буквально означающему поднебесное пространство. Он также использовал традиционные представления о системе даннических отношений. Автор признает, что в основе такой системы находится установка на социальное неравенство. Но для него такие отношения все равно лучше, чем те равные, но враждебные взаимодействия, которые устанавливаются в гоббсианских джунглях. Не принимает Цинь Яцин также равные, но соревновательные отношения в локкианском обществе и даже равные и дружественные связи, характерные для кантианской культуры. Ведь со времен Конфуция даннические отношения в Китае — это такие связи, которые устанавливаются на неравенстве отношений отца и сына, и поэтому они всегда носят характер уважения и почтительности.

Еще одной основополагающей для концепции Цинь Яцина стала категория «датун», воплощающая в себе представление о гармонии мира. Емкость содержания и исходная взаимосвязь данных категорий, по мнению автора, открывает новые возможности для исследователя. Поскольку идея «тянься» несет в себе как физический, так и культурный смысл, то она позволяет, как полагает Цинь Яцин, расширить применение категории «датун» и тем самым реализовать идеал единства человека и природы. В результате же объединения всех указанных базовых категорий, как считает автор, возникают условия для создания целостного (холистического) мировоззрения, совершенно необходимого в современных условиях. Ведь мы все чаще имеем возможность убедиться в том, как даже совершенно разные явления могут дополнять друг друга [Qing Yaqing 2010b: 15]. Как раз такая целостность, позволяющая совмещать природные, сверхъестественные и моральные начала, по его мнению, является характерным признаком традиционного китайского мировоззрения [Qing Yaqing 2010b:14].

Очень существенно, что уже на этом базовом мировоззренческом уровне Цинь Яцин находит принципиальное различие с западной традицией, предлагающей «индивидуалистическое расчленение видения этого мира» [Qing Yaqing 2010b: 16]. Еще одно отличие двух рассматриваемых традиций он связывает с особенностями построениями в них социальных теорий. «Я утверждаю, что ядро социальной теории состоит из двух компонентов: первый из них является физическим/материальным, а другой — метафизическим/идеальным… При этом идеи, которые возникают в метафизическом компоненте, являются культурным наследием истории, но не простым эмпирическим обобщением. По определению они являются спекулятивными идеями, которые не восходят к реальности (хотя они родственны реальности и даже могут сами создавать реальность)» [Qing Yaqing 2010b: 12]. Как считает автор, «в научных дискуссиях на Западе обычно пренебрегают этим метафизическим компонентом теоретического ядра, являющегося наиболее важной частью традиционной китайской

философии». С этой причиной он связывает формирование прямолинейно прагматического (реалистского) подхода, при котором «у разных вариантов мейнстрима теории международных отношений в Соединенных Штатах есть одно объединяющее их свойство: как решать серьезную проблему гегемонии США в международной системе, сформировавшейся после второй мировой войны, или как сохранить эту гегемонию». Поэтому Цинь Яцин не видит причин, почему китайская теория не может обосновывать мирное развитие Китая. Но в то же время он считает необходимым подчеркнуть: «Я больше уделяю внимание культурным и идеальным характеристикам подобной базовой идеи. Причем, по моему убеждению, такая идея не возникает целиком в реальности современности». То есть, надо понимать, что речь идет о более сложном восприятии современных проблем, при котором они преломляются через особые культурную и историческую призмы в рамках особой репрезентативной системы [Qing Yaqing 2010b: 13].

В выявлении других особенностей разных школ в данной сфере нашему автору очень помог американский исследователь У. Каллахан. Последний утверждал, что в основе любой теории международных отношений находится «большая идея». Для Цинь Яцина очень важен вывод его коллеги, согласно которому для американской школы такой идеей является демократический мир. В основании английской школы тот видел идею международного сообщества, китайской — всеобщей великой гармонии (датун). На этом основании китайский автор довел позицию американского специалиста до логического завершения: «Любая социальная теория является с самого начала этноцентричной». Следовательно, она и должна основываться на традиционных началах своей страны [Qing Yaqing 2010b: 14]. Но для того, чтобы вернуться к своим мировоззренческим основам, считает автор, китайскому обществу и интеллектуалам понадобилось по-новому соотнести свою страну с международным сообществом. Пришлось им также отказаться от революционных идей борьбы со своим традиционным наследием. Только в силу того обстоятельства, что последние три десятилетия в Китае связаны с началом «нереволюционной эры развития», полагает автор, стало возможным, как возрождение в нем традиционных основ, так и принятие некоторых западных образцов [Qing Yaqing 2010b: 18].

Обратившись к более конкретным вопросам современной теории международных отношений, Цинь Яцин продолжил поиски собственного пути осмысления сферы международных отношений. Его не интересует категория интереса как одной из основополагающих категорий американской школы — о ней и так было много дебатов. В фокусе внимания китайского теоретика сначала оказалось одно из базовых положений английской школы, которое приобрело широкое признание и в других западных направлениях. «Идентичность или конфронтация идентичностей является ключевым вопросом, который лежит в основе любой дискуссии о признании международного сообщества в качестве первичного института» [Qing Yaqing 2010a: 130]. Но Цинь Яцин видит исходную ограниченность категории идентичности как базового концепта, которую он отметил во время дебатов с Б. Бузаном — одним из лидеров английской школы. Прежде всего, этот концепт имеет очень сильную индивидуалистическую направленность. Поэтому попытки представить его как характерную черту всего международного сообщества вызвали возражение у китайского автора. Еще один недостаток идеи идентичности был связан с его неявным конфликтным содержанием. «Дело заключается в том, что системы ценностей, культуры и цивилизации почти невозможно непосредственно воспринимать и за ними все еще сохраняется диалектика конфликта: ты или наш или чужой. Здесь нет какого-либо среднего пути» [Qing Yaqing 2010a: 136]. В подтверждение правомерности своей позиции Цинь Яцин задает вполне резонный вопрос: если нации Восточной Азии имеют так много общего в ценностях, культурах и институтах, то тогда почему у них остается масса противоречий? [Qing Yaqing 2010a: 137].

Следующее обстоятельство, которое не может принять китайский автор, заключается в стремлении подогнать все страны под единую шкалу, включающую в себя вестфальский и

постфестфальский типы государства. Последний тип, как известно, характеризуется приверженностью идее прав человека, демократии и зеленого мира. Не секрет также, что у КНР и возникают трудности в отношениях с Западом именно по данным показателям. По мнению Цинь Яцина, основная проблема с подобными универсалистскими претензиями сегодня, заключается в следующем. «Поскольку европейское международное сообщество определяется в качестве субъективной целостности, китайское, индийское и мусульманское общества становятся его альтернативами или «другими», а поскольку европейское международное сообщество представляется в качестве модели, то другие общества не воспринимаются как относящиеся к модерну» [Qing Yaqing 2010a: 134]. Поэтому этих «других» надо еще «подтягивать» до соответствующего уровня развития, «дообразовывать» и, вообще, «модернизировать». Не удивительно, что наш автор присоединяется к упрекам подобной трактовки международного сообщества в статичности и стереотипности, а также ее сугубо европейской ограниченности.

Выход из установленных ограничений и преодоление отмеченных недостатков сам Цинь Яцин надеется осуществить с помощью дуалистически-структурированного подхода, основанного на китайском стиле мышления, китайской диалектике и китайском понимании сущности общества. Подход такого рода предписывает учитывать отношения ego-(я) — общность [Qing Yaqing 2010a: 131]. Принципиальная особенность данных оснований и предлагаемого на их основе нового подхода, по мнению автора, заключается в том, что «китайская диалектика не рассматривает противопоставление тезиса и антитезиса, но ратует за котезисность или межтезисную дополнительность». Из подобной теоретической посылки вполне логично вытекает принципиально важный для Цинь Яцина вывод: «Поскольку идея котезиса изначально является неконфликтной, фундаментальные взаимоотношения между ними (т.е. исходными тезисами — А.К.) скорее будут гармоничными, чем конфликтными» [Qing Yaqing 2010a: 139–140]. Автор также понимает, что использование указанных традиционных мировоззренческих установок, не дает необходимого эффекта без формирования особого мышления, направленного на анализ взаимоотношений («мышление взаимоотношений»). По мнению Цинь Яцина, «такой стиль мышления или мировоззрение в качестве ключевого момента для понимания мира и общества больше обращает внимание на взаимодействие между объектами, чем на свойства самих объектов. Поскольку акторы являются взаимодействующими акторами, они действуют по нормам взаимоотношений, происходящих в сложно организованных обществах. По этой причине действующие правила и институты предназначены управлять не отдельными акторами, но отношениями между акторами». Приведенные достаточно абстрактные основания позволили автору сделать вполне конкретные выводы, к примеру: «Когда изменяются отношения, меняются и идентичности» [Qing Yaqing 2010a: 139]. Здесь вполне уместно будет напомнить общепринятый на Западе тезис, согласно которому как раз идентичность определяет политику и политическое поведение.

Еще одним значимым следствием использования приведенных оснований является возможность новой трактовки концепта общество. В рамках мышления взаимоотношений и комплиментарной диалектики общество может быть представлено как сложность связей взаимодействия и открытый процесс. Поэтому Цинь Яцин предлагает и свое видение международного сообщества скорее, как процесса, чем целостности, а также как комплекса сложных, запутанных и продолжающихся взаимоотношений» [Qing Yaqing 2010a: 141]. Представленные идеи затем получили развитие в последующих работах данного автора. Здесь будет уместно снова напомнить о конкурирующих с предложенными данным автором разработках в области теории, которые предлагается выстраивать в том числе и на основе базовых положений даосизма (профессор Янь Сюэтун).

Таким образом, несмотря на весь скепсис и критические замечания по поводу создания китайской теории международных отношений, на примере работ Цинь Яцина можно конста-

тировать, что в них уже заложена серьезная альтернатива западным и, прежде всего, американским концептуальным основаниям осмысления миропорядка. Конечно, эти подходы и связанные с ними идеи еще нуждаются в более углубленной разработке. В этом смысле точка зрения, согласно которой дискурс о китайской школе в теории международных отношений — это в большей степени дискурс о ее будущем состоянии, вполне правомерна. Однако, значение полученных китайскими специалистами результатов становится более убедительным, если их рассматривать в общем контексте достижений и проблем современной научной теории и методологии. К сожалению, при проведении подобного анализа мы сначала должны учитывать высокую степень политизированности, как существующего теоретического арсенала науки о международных отношениях, так и социально-гуманитарного знания в целом. По признанию того же Р. Шиллиама: «Определение того, кто может «мыслить» и создавать достоверное знание о человеческом существовании, всегда было вопросом политики». [Shilliam 2011: 2].

До недавнего времени в области международных отношений не было особой проблемы с пониманием того, кто именно может создавать теории для осмысления данной сферы. Не случайно С. Хоффман одну из своих работ 1977 г. весьма недвусмысленно назвал «Международные отношения — это американская социальная наука» [Hoffman 1977]. Однако, к началу 2000-х гг. и у американских авторов возникли сомнения по данному вопросу, которые отразились, например, в появлении издания, в названии которого данный тезис уже фигурировал со знаком вопроса [International Relations — Still an American… 2001]. Основанием для таких примечательных перемен во взглядах вполне могло стать возникновение той же английской и копенгагенской школ международных отношений. Но, как это часто происходит в таких случаях, размывание прежних устоев дисциплины стало рассматриваться как симптом поразившего ее кризиса. Теперь нет недостатка в разного рода критических выпадах по поводу теории международных отношений, вплоть до полного отрицания ее значения. Очень показательной здесь является позиция того же К. Гоулдмана: «Политическая наука оказалась слабой относительно предсказания будущего, ее причинно-следственные модели шаткими, следовательно, выводы академических исследований международных отношений нельзя принимать всерьез как руководство к действию» [Кеохейн 1999: 439]. Не менее примечательным выглядит тот факт, что на 53-й конференции Ассоциации международных исследований (апрель 2012, г. Сан-Диего) были проведены три специальных заседания на тему «конец теории международных отношений?».

Однако еще в начале 1980-е гг. произошли события, которые сначала не привлекли особого внимания специалистов в сфере теории международных отношений. Тогда индийские исследователи поставили вопрос о незападной перспективе в данной области. Затем группа представителей стран из третьего мира обратилась с призывом пересмотреть существующие нормы, регулирующие международные отношения, на том основании, что они созданы западными странами и отражают их реалии [Anthropological Diplomacy… 1982]. Но в начале 2000-х гг. инициативу, направленную на признание права создавать теории за границами Запада, уже поддерживают специалисты разных стран [36]. Начавшееся в это же время развитие таких направлений в социальной теории, как ориентализм, постколониализм, исследования культуры и др., со всей определенностью позволило обрисовать проблему евро-американской ограниченности существующего теоретического аппарата науки [Hobson 2012; International Relations and Non-Western… 2011; Postcolonial Theory and International relations 2013; Seth 2013; Vucetic 2011]. Не удивительно, что европейские социальные теоретики и, прежде всего, У. Бек, настойчиво призывают к преодолению «методологического национализма». Речь здесь идет, в том числе, о широко распространенной практике, когда реалиям одной конкретной страны или общества предписывался глобальный характер. Следовательно, призыв к созданию собственной китайской школы теории международных отношений в приведенном контексте вполне соответствует общему тренду развития последних 30 лет в данной сфере.

Постмодернистский вызов и современные представления о сфере социально-гуманитарного знания покончили с объективистскими настроениями и показали реальную специфику данной области исследований, в которой взаимодействуют разные интересы, представления о ценностях, установки, мнения и т.д. Поэтому, в отличие от естественных наук, в которых не может быть китайской физики, китайская теория международных отношений вполне правомерна в современной социально-политической науке. Вместе с тем, ряд положений, приведенных в публикациях профессора Цинь Яцина, вполне согласуется с рядом важных принципов научной теории, прежде всего, речь может идти о принципе дополнительности. Еще одним бесспорным достижением работ данного теоретика является осознание им важности изучения взаимоотношений и взаимодействий в современном научном анализе. Традиция исследования данных явлений была характерна для французского структурализма, но не для англосаксонской школы, озабоченной проблемой функций. Однако для международной сферы взаимоотношения — является одной из основополагающих категорий. Учитывая также современный тренд движения разных дисциплин в сторону нейронауки (нейроэкономика, нейросоциология, нейроантропология и др.), представляется очень актуальным поставленный китайским теоретиком вопрос о необходимости формирования «мышления взаимоотношений». В целом же, работы Цинь Яцина представляют наглядный пример успешной реализации междисциплинарного подхода к проблеме, о котором много рассуждают, но мало кто способен продемонстрировать в реальной практике.

Вместе с тем, необходимость обоснования тезиса о возможности нормального (мирного) взаимодействия различных акторов в условиях дополнительности, оказала влияние на позицию Цинь Яцина. Она несет на себе отпечаток той же одномерной упрощенности, что и позиция наступательных реалистов, усматривающих в любой силе только угрозу. В рамках же предлагаемого данным автором мышления взаимоотношений более правомерно рассматривать данную проблемную ситуацию следующим образом: отношения между сильными государствами могут складываться как мирным, так и немирным образом. В любом случае, вывод, согласно которому в рассматриваемых обстоятельствах нет фатальной обреченности на конфликт, уже имеет большое значение. Но точно также в предлагаемой китайским теоретиком логике становится очевидным, что ситуация в Восточной Азии и на более глобальном уровне будет определяться не только позицией самого Китая, но также и политикой в его отношении других государств. В результате происходящего взаимодействия разных сторон и будет определяться конкретный характер их взаимоотношений на каждом определенном этапе. Не стоит также забывать, что формирующие определенную политику решения и связанные с ними конкретные действия во много будут задаваться сложившимися у каждой из сторон представлениями о сути возникающих проблем и способах их эффективного разрешения. В свою очередь, представления такого рода будут основываться на реалиях и историческом опыте различных государств. Поэтому собственная теория международных отношений нужна Китаю не только для того, чтобы решить конкретную задачу обосновать тезис о мирном характере развития страны. Она также нужна для того, чтобы найти свое место в складывающемся новом миропорядке.

Однако, признание возможности мирного развития Китая и права на существование китайской теории международных отношений ставит перед нами еще одну проблему, от обсуждения которой я не могу уклониться. Суть ее заключается в том, что, если сегодня один из трендов развития теории международных отношений связан с отходом от евро-американской ограниченности, то, какое место в нем должна занять российская наука? Анализ положения дел в концептуальной сфере нашей науки дает основание предполагать, что, в отличие от Китая, мы в большей степени еще остаемся на стадии освоения американских и некоторых европейских наработок [Конышев, Сергунин 2013]. Определенная работа проделана также по классификации внешнеполитических взглядов наших лидеров. Между тем в нашей отечественной традиции есть свои достижения, которые становятся актуальными в современных

условиях. Для меня особый интерес в данном контексте представляет сходство основных идей, развиваемых сегодня китайским теоретиком Цинь Яцином, и ряда положений теории этноса С.М. Широкогорова. Российский теоретик еще в 1920–1930-х гг. также уделял большое значение анализу различных связей и взаимоотношений, как в самой этнической общности, так и между разными средами и другими общностями. При этом он показал, что отношениям между разными этническими общностями не сводятся только к одному варианту, но могут принимать разные формы: комменсализма (фактически, нейтральные), сотрудничества, дорастающего до кооперации (дополнительности), и менее желательной — паразитизма (на основе подчинения) [Широкогоров 1923: 101–102]. В рассматриваемой теории важное место также отведено идее психоментального комплекса, которая, включая в себя различные проявления сознательной и бессознательной сфер существования общности и индивидов, вобрала в себя многие явления, традиционно относимые к области культуры. Представления о себе и своих соседях, как в виде этнических стереотипов, так и научного знания, рассматривались С.М. Широкогоровым в качестве составной части психоментального комплекса конкретной этнической общности [Shirokogoroff 1935].

Новаторский подход российского исследователя позволил ему также предложить идею «лидирующего этноса», который определялся как «… процесс, который завершается возникновением этнических общностей или группы этнических общностей, становящихся в разные исторические периоды образцами для других этнических групп. [Shirokogoroff 1935: 21]. В силу действующих механизмов функционирования психоментального комплекса роль лидера влечет за собой, как полагал С.М. Широкогоров, важные последствия. «Лидирующая общность обычно убеждена в своем полном превосходство, в праве управлять другими общностями, а когда необходимо, то и уничтожать их во имя «прогресса», справедливости, бога и других оправдывающих обстоятельств, выбор которых исключительно зависит от существующего психоментального комплекса. Такая общность не верит в свое временное существование, но настроена на то, что достигнутое ею положение будет сохраняться вечно» [Shirokogoroff 1935: 22]. Следовательно, «реалистский» прогноз в отношении мирного подъема Китая также имеет под собой основания. Только теперь пред нами открывается новая грань этой проблемы: сможет ли Китай, по мере нарастания своих успехов, избежать этих соблазнов лидирующего этноса.

Воскресенский А.Д. 2013. *Мировое комплексное регионоведение и перспективы построения незападной (китаизированной) теории международных отношений // Полис.. № 6.*

Кеохейн Р. 1999. *Международные отношения: вчера и сегодня // Политическая наука: новые направления. Под ред. Р. Гулдина, Х. Клингеманна. М.*

Конышев В.Н., 2013. *Сергунин А.А. Теория международных отношений: канун «великих дебатов»? // Полис. № 1.*

Ломанов А. 2005a *Мирное возвышение Китая URL www.globalaffairs.ru*

Ломанов А. 2005b *Чжунго хэпин цзюэци (Мирное возвышение Китая) URL www.globalaffairs.ru*

Лукин А.В. 2010. *Внешняя политика Пекина — новый поворот? URL www.mgimo.ru/news*

Мирное развитие Китая… 2011. *Мирное развитие Китая 2011/09/06 URLwww.china-embassy.org*

Си Цзиньпин. Китай будет решительно идти по пути мирного развития, но при этом считает недопустимым жертвовать ключевыми интересами государства. URL www.cntv.ru

Чжан Жуйчжуан, А. Королев. 2010. *Теория международных отношений с китайской спецификой: современное состояние и тенденции развития // Проблемы Дальнего Востока. № 3.*

Широкогоров С.М. 1923. *Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. Шанхай.*

Anthropological Diplomacy: Case Studies in the Application of Anthropology to International Relations. Studies in the Third World Societies. Ed. by H. Sutlive, N. Altshuler, M. Zamora. Department of Anthropology. Williamsburg. 1982

Buzan B. 2010. *China in International Society" Is "Peaceful Rise" Possible? // The Chinese Journal of International Relations. Vol. 3. N 1.*

Chin-yu Shin. 2013. *Sinicizing International Relations. Self, Civilization, and Intellectual Politics in Subaltern East Asia. NY. Palgrave Macmillan.*

China's Rise in Historical Perspective, ed. by B. Womack, L. Dittoner, E. Downs. Rowman and Littlefield Publishers. 2010. 266 p.

Contemporary Chinese Political Thought. Debates and Perspectives, ed. by F. Dallmayr, Zhao Tingyang. Lexington. The University of Kentucky. 2012

China's New Diplomacy. Technical or Fundamental Change? Ed. by S. Harris, P. Kerr, Qin Yaqing. NY. Palgrave Macmillan Press. 2008

Hobson J.M. 2012. *The Eurocentric Conception of World Politics. Western International Relations Theories 1760–2010. Cambridge. Cambridge University Press.*

Hoffmann S. 1977. *An American Social Science: International Relations // Daedalus. Vol. 106. N 3.*

Hung-Jen Wang. 2013. *The Rise of China and Chinese International Relations and Scholarship. Lexington Books.*

International Relations and Non-Western Thought. Imperialism, Colonialism and Investigation of Global Modernity ed. by R. Shilliam. NY., L. Routledge. 2011. 272 p.

International Relations — Still an American Social Science? Towards Diversity in International Thought, ed. by R. Crawford. D, Jervis. Albany. State University of New York Press. 2001. 403 p.

Kaplan R.D. 2010. *The Geography of Chinese Power // Foreign Affairs. May/June. 89/3.*

Mearsheimer J.J. 2010. *The Gathering Storm: China's Challenge to US Power in Asia // The Chinese Journal of International Policy. Vol. 3.*

Mearsheimer J. 2001. *The Tragedy of Great Power Politics. NY. WW Norton.*

Non-Western International Relations Theory. Perspectives on Beyond Asia. Ed. By A. Acharya, B. Buzan. Routledge. 2010. 256 p.

Postcolonial Theory and International Relations: A Critical Introduction. Ed. by Seth Sanjay.L., NY. Routledge. 2013. 203 p.

Qin Yaqing. Culture and global thought: Chinese international theory in the making URL http://www.google.gtmUL

Qin Yaqing. Chinese Culture and its Implication for Foreign Policy-making // www.ciis.org.cn

Qin Yaqing 2010a. *International Society as a Process: Institutions, Identities, and China's Peaceful Rise // The Chinese Journal of International Politics. Vol. 3.*

Qin Yaqing 2010в. *Why is There no Chinese International Relations Theory? //Non-Western International Relations Theory? Perspectives on and beyond Asia, ed. by A. Acharya, B. Buzan. L., NY. Routledge.*

Rex L. 2009. *Rising China and Security in East Asia. Identity construction and security discourse. L. Routledge.*

Seth Sanjay. 2013. *Postcolonial theory and the critique of International Relations. Postcolonial Theory and International Relations: A Critical Introduction. Ed. by Seth Sanjay. L., NY. Routledge.*

Shilliam R. 2011. *Non-Western thought and international relations. International Relations and Non-Western Thought. Imperialism, Colonialism and Investigation of Global Modernity ed. by R. Shilliam. NY., L. Routledge.*

Shirokogoroff S.M. 1935. *Psychomental Complex of the Tungus. L. Kegan & Paul.*

The Zen of International Relations Theory from East to West, ed. by S. Chan, P. Mandaville, R. Bleiker. Palgrave Macmillan. 2001. 266 p.

Vucetic S. 2011. *The Anglosphere, A Genealogy of a Racilized Identity in International Relations. Stanford. Stanford University Press.*

Zhang Feng. 2012. *Debating the "Chinese Theory of International Relations": Toward a New Stage of China's International Studies // Contemporary Chinese Political Thought. Debates and Perspectives, ed. by F. Dallmayr, Zhao Tingyang. Lexington. The University of Kentucky Press.*

Россия: вчера, сегодня, завтра

ПРОСВЕЩЕНИЕ – ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ – ПАТРИОТИЗМ

С.А. Никольский
Институт философии РАН

Аннотация: *Составными частями процесса правильного развития и согласования интересов личности (индивида) и общества (государства) выступают «просвещение» (основанная на знании смелость пользоваться собственным умом) и «гражданственность» (поступок). В этом случае результатом их проявления становится «патриотизм».*

Ключевые слова: *личность, общество, государство, просвещение, гражданственность, патриотизм.*

Согласно определениям энциклопедий, патриоти́зм (от греч. πατριώτης — соотечественник, πατρίς — отечество) — нравственный и политический принцип, а так же социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность человека подчинить ему свои частные интересы. Важность рассмотрения этого чувства (а именно эту ипостась патриотизма я предполагаю анализировать) диктуется прежде всего его социальной значимостью. Любовь к Отечеству предопределяет приоритет интересов целого (страны, общества, государства) над интересами индивида, личности, равно как и готовность идти на жертвы ради этого приоритета.

Вместе с тем, в наименовании «патриот» (ко многому обязывающему и лестном для каждого), заключены сложные вопросы. Во-первых, наше Отечество, как для других людей их собственное, в своей истории и в настоящем бытии являет не только совокупность достойных и благих дел, но также дел недостойных, заслуживающих осуждения, вредных. Прославляя, гордясь и указывая как на пример на первые, мы, если хотим оставаться справедливыми, не можем не осуждать вторые. Если же оправдывать и дела недостойные только потому, что они совершены нами (а своих осуждать нельзя), то это, очевидно, патриотизм племенной, хотя и часто встречающийся. Впрочем, в том, что считать достойным и благим, а что — постыдным и вредным, от нас, жителей страны, требуется согласие. Если таковое достигнуто, то мы можем величать друг друга патриотами, а при несогласии — либо осуждать свое Отечество, что обычно считается непатриотичным, либо закрывать на безобразия глаза и упрекать осуждающих безобразия в отсутствии патриотизма.

Еще более сложно, на мой взгляд, обстоит дело со второй половиной определения патриотизма — с готовностью подчинить свои частные интересы интересам Отечества, то есть государства и/или общества. Примеры, когда при наличии противостояния личного и обще-

ственного индивид принимает решение жертвовать личным ради общественного, мягко говоря, не часты. Напротив, мы повсеместно видим, что приоритет отдается личному. Но обычно тот, кто так поступает, склонен доказывать, что его личное совпадает с общественным и он патриот.

Думаю, что оба случая (жертвы личным ради общественного и подчинения общественного личному), при всем пиетете по отношению к субъекту таких действий, правильно все же считать отклонениями от нормы. А норма — это состояние, при котором личное и общественное совпадают, что является результатом правильного развития и согласования интересов как личности (индивида, человека), так и общества (страны, государства).

При каких условиях достигается состояние, когда интересы личности и общества совпадают и чувство патриотизма, равно как и патриотический поступок, для человека оказывается органичным и естественным? Моя гипотеза заключается в том, что составными частями процесса правильного развития и согласования интересов личности (индивида) и общества (государства) выступают «просвещение» и «гражданственность» и в этом случае результатом их проявления становится «патриотизм».

Исследователю очевидно, что патриотизм — историческое явление. Для рассмотрения этого примера обращусь к историческому событию, описанному Л.Н. Толстым, к патриотизму героев «Севастопольских рассказов» времен русско-турецкой войны. Произведение это, как известно, было задумано и исполнено как цикл очерков об увиденной писателем войне. В нем, при свойственной очерковому жанру документальности, предметом художественного освоения становится русское мировоззрение (в первую очередь — патриотизм), воссоздаваемое Толстым в эпоху серьезных испытаний духовных и нравственных сил народа. Впрочем, такое расхожее определение, как «испытание духовных и нравственных народных сил», мало что дает для понимания рассматриваемого явления. Из него не ясно, какова природа испытания и его источник? Почему так часто этого испытания желает некоторая, романтически и патриотически настроенная часть общества — дворянство и почему нет ни одного персонажа из крестьян, у которого бы такое желание родилось? И, наконец, почему желание испытаний, в том числе смерти за царя и отечество, не сохраняется даже у этой, патриотически-романтически настроенной части дворянской молодежи, как только она сталкиваются с реальной войной или, того хуже, оказывается на краю гибели?

На мой взгляд, в «Севастопольских рассказах» в контексте рассматриваемого феномена русского мировоззрения Толстой впервые ставит проблему перемены акцентов и даже смены ценностных приоритетов. Говоря так, я имею в виду следующее. Каждый социальный слой, продуцируя и осваивая свой тип культуры, живя в ней, осознает и рационализирует ее посредством определенных смыслов и ценностей, с неизбежностью выстроенных иерархически. Но вот этого социального слоя касается мощное социальное событие — война, которое устраивает своеобразную проверку как каждому из этих элементов, так и той иерархии, в которой они существуют. И зачастую содержание их меняется, а иерархия выстраивается по-новому. И то, что, например, было жизненно важно для отцов, становится малосущественным для детей.

Прежде всего, в «Севастопольских рассказах» Толстой ставит цель выработки собственного личного правдивого представления о войне как особом катастрофическом социальном феномене. Приглашая к этому читателя, он пишет: вы «увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении — в крови, в страданиях, в смерти…» [Толстой 1978: т. 2, с. 93]. И еще — в отношении собственного философско-художественного метода: «Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все

дурны. «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда [Толстой 1978: т. 2, 144–145].

Уже в кавказском цикле Толстой начал пробовать себя и в размышлениях о русском духе, к чему неоднократно будет возвращаться позднее, в данном повествовании сравнивая его с воинским духом — храбростью «южных народов». По его мнению, дух южан основывается на «скоро воспламеняемом и остывающем энтузиазме». Дух русского солдата иного рода. Его трудно разжечь, как и погасить. «Для него не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни и барабаны: для него нужны, напротив, спокойствие, порядок и отсутствие всего натянутого. В русском, настоящем русском солдате никогда не заметите хвастовства, ухарства, желания отуманиться, разгорячиться во время опасности: напротив, скромность, простота и способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные черты его характера» [Толстой 1978: т. 2, 82–83]. Толстой не ограничивается общими констатациями, а предпринимает своеобразный социологический анализ, даже попытку создания типологии русского солдата. Среди разнообразия типов им выделяются три основных: покорные (хладнокровные и хлопотливые), начальствующие (суровые и политичные), отчаянные (забавники и развратные). «Покорные хладнокровные» — тип, встречающийся чаще всего и наиболее милый, «соединенный с лучшими христианскими добродетелями: кротостью, набожностью, терпением и преданностью воле божьей, — есть тип покорного вообще. Отличительная черта покорного хладнокровного есть ничем не сокрушимое спокойствие и презрение ко всем превратностям судьбы, могущим постигнуть его. Отличительная черта покорного пьющего есть тихая поэтическая склонность и чувствительность; отличительная черта хлопотливого — ограниченность умственных способностей, соединенная с бесцельным трудолюбием и усердием. …Тип отчаянного, точно так же как и тип начальствующего, хорош в первом подразделении — отчаянных забавников, отличительными чертами которых суть непоколебимая веселость, огромные способности ко всему, богатство натуры и удаль, — и так же ужасно дурен во втором подразделении — отчаянных развратных, которые, однако, нужно сказать к чести русского войска, встречаются весьма редко, и если встречаются, то бывают удаляемы от товарищества самим обществом солдатским. Неверие и какое-то удальство в пороке — главные черты характера этого разряда» [Толстой 1978: т. 2, 54–55].

Впрочем, не только в Кавказской, но и в Крымской войне, уже в начальной ее фазе Толстой явственно различает «войну дворянскую» и «войну народную» со свойственными каждой из них ценностями, в том числе — и с разным толкованием патриотизма. В первых частях цикла — «Севастополь в декабре месяце» и «Севастополь в мае» тема «господ на войне» прорисовывается явственно и порой, на наш взгляд, граничит с авторским чувством презрения к изображаемым в ней некоторым персонажам из дворян, несмотря на декларируемое стремление к беспристрастной правдивости. Здесь он продолжает кавказскую линию о войне, о которой один из его героев говорит как о войне «в прекрасной стране и в прекрасной компании». Так, подробно повествуется об одном из офицерских застолий в городе, на котором вдоволь хорошего вина, на серебряном подносе человек приносит чай со сливками и крендельками и можно под фортепианный аккомпанемент спеть цыганскую песенку. В продолжение слов подполковника, что без удобств воевать невозможно, следует подтверждающая реплика одного из участников вечеринки: «…Я не понимаю и, признаюсь, не могу верить, — сказал князь Гальцин, — чтобы люди в грязном белье, во вшах и с неумытыми руками могли бы быть храбры. Этак, знаешь, этой прекрасной храбрости дворянина, — не может быть» [Толстой 1978: т. 2, 115]. Естественно, что говоря в таком контексте о храбрости, князь вполне мог бы употребить и слово патриотизм.

Несовместимо с господскими представлениями и известие о том, что траншею на бастионе пришлось уступить нападавшим туркам. Вот как реагируют на это вышедшие навстречу отступающим солдатам участники недавнего офицерского застолья.

« — Ну, как вам не стыдно, — отдали траншею. Это ужасно! — сказал Гальцин…

О! Это ужасный народ! Вы их не изволите знать, — подхватил поручик Непшитшетский, — я вам скажу, от этих людей ни гордости, ни патриотизма, ни чувства лучше не спрашивайте. Вы вот посмотрите, эти толпы идут, ведь тут десятой доли нет раненых, а то все *асистенты*, только бы уйти с дела. Подлый народ! Срам так поступать, ребята, срам! Отдать *нашу* траншею! — добавил он, обращаясь к солдатам.

Что ж, когда *сила*! — проворчал солдат.

И! Ваши благородия, — заговорил в это время солдат с носилок, поравнявшихся с ними, как же не отдать, когда перебил всех почитай? Кабы наша сила была, ни в жисть бы не отдали. А то что сделаешь? Я одного заколол, а тут меня как ударит… о-о-о! — застонал раненый. А в самом деле, кажется, много лишнего народа идет, — сказал Гальцин, останавливая опять того же высокого солдата с двумя ружьями. — Ты зачем идешь? Эй ты, остановись!

Солдат остановился и левой рукой снял шапку. Куда ты идешь и зачем? — закричал он на него строго. — Него…

Но в это время, совсем вплоть подойдя к солдату, он заметил, что правая рука его была за обшлагом и в крови выше локтя.

Ранен, ваше благородие!

Чем ранен?

Сюда-то, должно, пулей, — сказал солдат, указывая на руку, — а уж здесь не могу знать, чем голову-то прошибло, — и, нагнув ее, показал окровавленные и слипшиеся волоса на затылке.

А ружье другое чье?

Стуцер французский, ваше благородие, отнял; да я бы не пошел, кабы не евтого солдатика проводить, а то упадет неравно, — прибавил он, указывая на солдата, который шел немного впереди, опираясь на ружье и с трудом таща и передвигая левую ногу.

А ты *где* идешь, мерзавец! — крикнул поручик Непшитшетский на другого солдата, который попался ему навстречу, желая своим рвением прислужиться важному князю. Солдат тоже был ранен» [Толстой 1978: т. 2, 120–122].

Итак, с одной стороны, пропитанная патриотизмом, но неприметная и не акцентированная — простая жизненная логика солдата, непосредственно участвовавшего в сражении, согласно которой естественно и не позорно отдать врагу свое укрепление, если обороняющиеся в большинстве перебиты и его, врага, сила взяла верх. А с другой, материализованные опереточно-романные фантазии о патриотизме, о военной чести и долге, заявляемые господами офицерами, однако, столь нагло, что они чуть ли не кажутся истинными. И лишь устроенная господами «проверка» на предмет действительных ранений солдат обнажает скромную силу «работающих войну» крестьян, равно как и постыдную самоуверенность забавляющихся войной господ. Впрочем, в отличие от Кавказа, «забавникам» при позиционной войне в Крыму, коль они оказываются на передовой, тоже становится не до смеха. На переднем крае дело войны состоит лишь во взаимных непрекращающихся ни днем, ни ночью артобстрелах и в редких пехотных вылазках. Война здесь напоминает исправно и безостановочно работающую машину, перемалывающую человеческие тела без различия достоинств, чинов и состояний.

Кульминационное место испытаний человеческого естества в первом очерке цикла — четвертый бастион. И опять Толстой показывает две разные точки зрения на патриотизм посредством разных точек зрения на этот «страшный бастион»: тех, кто на нем никогда не был;

и тех, кто живет там. Первые убеждены, что четвертый бастион есть верная могила для каждого, кто пойдет на него. Вторые, говоря про бастион, скажут, что там сухо или грязно, тепло или холодно в землянке. Продолжая погружать читателя в прозу военной жизни, автор выводит его на дорогу к бастиону, а там начинается сплошная грязь. Едва ли не каждая часть текста содержит в себе это слово. Вот солдат, размахивая руками и осклизаясь под гору, по жидкой грязи, со смехом пробегает мимо; траншея наполнена жидкой, желтой, вонючей грязью выше колена; изрытое грязное пространство, окруженное со всех сторон трупами; пушка, до половины потонувшая в грязи и т.п.

Эта грязь, смешанная с кровью, собственно, и есть прозаический образ войны, противостоять которой гораздо труднее, нежели вообразить противостояние в войне в ее придуманном героическом выражении. Война как работа — вот толстовское определение этого явления, ставшее основополагающим в отечественной прозе о войне уже в XX веке. Поэтому и образ солдата как незаметного рабочего войны (вспомним одного из героев «Войны и мира» — капитана Тушина) займет центральное место в толстовском сюжете. И исполнять эту работу кому как не крестьянину приличнее всего. «Взгляните в лица, осанки и в движения этих людей: в каждой морщине этого загорелого скуластого лица, в каждой мышце. В ширине этих плеч, в толщине этих ног, обутых в громадные сапоги, в каждом движении, спокойном, твердом, неторопливом, видны эти главные черты, составляющие силу русского, — простоты и упрямства; но здесь на каждом лице кажется вам, что опасность, злоба и страдания войны, кроме этих главных признаков, проложили еще следы сознания своего достоинства и высокой мысли и чувства» [Толстой 1978: т. 2, 106]. Вот пример крестьянского патриотизма — не называемого, патриотизма как части естества.

* * *

Патриотизм, как очевидно, бывает разных видов. Я уже сказал о патриотизме естественном, крестьянском. Но часто он бывает в то же время и патриотизмом неразвитым, «племенным». В этом случае индивид может совершать что угодно, лишь бы это не противоречило интересам его сообщества. Явление морали «для своих» и «для чужих» хорошо известно. Таким же может быть и патриотизм.

Племенной, народный патриотизм, общественность прекрасно исследуется, например, Н.С. Лесковым в рассказе «Отборное зерно». Лесковский сюжет — классический пример нашей отечественной «социбельности», если говорить словами одного из героев, смысл которой в том, что «вор у вора дубинку украл и какое от этого вышло для всех благополучие жизни» [Лесков 1958: т. 7, 282]. Коротко сюжет таков. На большой выставке демонстрируется сном пшеницы с зернами небывалого размера и качества, выращенной якобы в одной из центральных губерний России. К хозяину снопу с предложением о покупке идут разные иностранцы, но он из чувства патриотизма принимает решение продать всю собранную в его имении пшеницу русскому купцу. За продавцом, к тому же, идет слава щедрого жертвователя «на славян», воевавших на Балканах против турок. То есть, он — патриот из патриотов. При покупке составляется подробнейший договор, из которого следует, что купцу назад дороги нет и он, рискуя потерять крупный задаток, обязуется купить все зерно.

Каково же его удивление, когда приехав на место, он выясняет, что купил зерно вполне посредственное (сор), а знаменитый сноп был составлен из отдельных специально подобранных по всему полю колосьев. Купец, однако, не теряется, а предлагает помещику купить даже больше и по более высокой цене, чем уже куплено, с тем, чтобы нагрузить баржу полностью (зерно предполагалось везти по реке) и чтобы на ней не было ничьего чужого зерна. Так и сделали.

Далее купец страхует баржу [Лесков 1958: т. 7, 298–299][1] и отправляется к известному на реке лоцману, который проводит суда через Толмачевы пороги на Курином переходе и о котором говорится, что он «с вида сер, но ум у него не черт съел». Лоцман Иван Петров все понял, но отвечал так: «…У нас, на Куриной переправе, в прошлом году страховое судно затонуло и наши сельские на том разгрузе вволю и заработали, а если нынче опять у нас этому статься, то на Поросячьем броде люди осерчают и в донос пойдут. Там ноне пожар был, почитай все село сгорело, и им строиться надо и храм поправить. Нельзя все одним нашим предоставить благостыню, а надо и тем. А поезжай-ко ты нынче ночью туда, на Поросячий брод, да вызови из третьего двора в селе человека, Петра Иванова, — вот той раб тебе все яже ко спасению твоему учредит. Да денег не пожалей — им строиться нужно» [Лесков 1958: т. 7, 302].

Естественно, баржа с «отборным» зерном пошла ко дну. «Зато на берегу точно гулянье стало — погорелые слезы высохли, все поют песни да приплясывают, а на горе у наемных плотников весело топоры стучат и домики, как грибки, растут на погорелом месте. И так, сударь мой, все село отстроилось, и вся беднота и голытьба поприкрылась и понаелась, и божий храм поправили. Всем хорошо стало, и все зажили, хвалящее и благодарящее господа, и никто, ни один человек не остался в убытке — и никто не в огорчении. Никто не пострадал!» [Лесков 1958: т. 7, 303].

Но как же страховое общество, разве оно не заплатило? Конечно, заплатило! Так это, — возразили рассказчику, — разве «социабельность, а не гадость?» «Да разумеется же социабельность!», — отвечал рассказчик. «А страховое общество — не русская, а немецкая затея. А коли среди его акционеров есть и русские, то это такие, которые «которые с немцами знаются да всему заграничному удивляются и Бисмарка хвалят». А Бисмарк до того дошел, что «уже стал проповедовать, что мы, русские, будто «через меру своею глупостью злоупотреблять начали», — так пусть его и знает, как мы глупы-то». И рассуждают так вовсе не «плуты и дураки», а «благополучные россияне» [Лесков 1958: т. 7, 304].

* * *

На содержание понятия патриотизм сегодня оказывает влияние и явление глобализации, в научной литературе активно исследуемое. Сущностной особенностью глобализации в современном мире может быть признан тот факт, что в соответствии с логикой развития этого явления все большее число наций находится между собой не в пассивном контакте, а вовлекается в два активных взаимодействующих процесса. Это, во-первых, процесс все более усиливающегося сотрудничества и, во-вторых, процесс ужесточающейся конкуренции. Для наций, целенаправленно рефлектирующих по этому поводу (как это наблюдается, например, в Китае), при сознательном выборе в процессе глобализации субъектов гуманитарного сотрудничества значение придается историческим, экономическим, политическим, религиозным составляющим развития взаимодействующих стран, равно как и подобию (похожести) их общественного и государственного устройства. Сотрудничество с избранными субъектами взаимодействия (если имеет место сознательный выбор, а не изучение самопроизвольно сложившегося порядка вещей) в этих сферах может идти довольно далеко, в том числе — вплоть до создания нового глобального социального организма, свидетелями начального этапа становления которого в лице новой Европы — Европейского союза — мы, к примеру, являемся. Что же до усиления процессов конкуренции, то они продолжаются и в рамках новых образова-

[1] О страховых компаниях говорится: «Заводили у нас страховые компании господа иностранцы и думали, что их Рейн или Дунай — это все равно, что наши Свирь или Волга, и что их лоцман и наш — это опять одно и то же. Ну нет, брат, — извини!».

ний, которые под влиянием глобализации в форме нового сотрудничества создаются. (К примеру, конкурентные экономические отношения не отменены в рамках ЕС). Таким образом, если сотрудничество в условиях глобализации эволюционирует в сторону целенаправленных и избирательных контактов, то конкурентные отношения все более приобретают характер абсолютный.

Глобализацию нельзя считать исключительно новым феноменом, возникшим на рубеже XX — XXI столетий. Явления глобализации в истории бывали и раньше. Их порождало создание новых технических средств, посредством которых связи между обществами становились более тесными и интенсивными. Так, например, изобретение парового двигателя, активизировавшего, в частности, морские коммуникации, равно как радио и телеграфа, также были явлениями глобализации. Вместе с тем, современная глобализация отлична от тех ее проявлений, которые имели место в прошлом. Она возникла благодаря двум новым изобретениям — телевидению и Интернету. При этом, новой глобализации в том виде, как она проявляется в сфере культуры, присущи два качества, которых не было ранее: это возможность наблюдать происходящее в режиме реального времени («on line») и возможность непосредственного взаимодействия, то есть возможность для участвующих в ней субъектов в информационном отношении становиться непосредственными участниками события.

Говоря о глобализации, которую мы наблюдаем сегодня, нужно отметить, что для взаимодействующих обществ она создает такие последствия, которых не было прежде. Для каждого из участников этого процесса возрастает потребность и значимость адекватного понимания происходящего, то есть требуется аутентичное восприятие тех ценностей и смыслов, которые стоят за происходящим и которые транслируются в процессе взаимодействия. Так, если, в «обществе-реципиенте» в реальности не происходят демонстрации за права сексуальных меньшинств, то после знакомства с подобного рода явлениями в «обществе-доноре», например, посредством телевидения, в «обществе-реципиенте» может не только обостриться интерес к этому явлению, но также может произойти реальный сдвиг в направлении конкретных форм его публичности. Интерес переходит в вопросы: о причинах этого явления; о формах, в которых оно имеет или должно иметь место; о том, каковы стоящие за этим явлением смыслы и ценности; о том, как эти новые смыслы и ценности соотносятся со смыслами и ценностями, которыми «общество-реципиент» живет традиционно.

Задумываясь и анализируя эту проблему, «общество — реципиент» обращается к углубленному осмыслению, новой оценке и, что не исключено, к необходимости инвентаризации и пересмотру своих собственных смыслов и ценностей, которые активизируются в связи с наблюдаемым новым явлением. То есть, «общество — реципиент» приходит к осознанию того, что для лучшего понимания и адекватной оценки чужой культуры в принципе, необходимо углубленное познание и, если требуется, то и переосмысление отдельных элементов культуры собственной. И если это явление переложить на терминологию «глобалистики», то оказывается, что при глобализации возникает не только опасность подавления чужой культуры, но и возможность ее стимуляции и актуализации, что мы иногда смешиваем с регионализацией.

Взаимное развитие культур в процессе глобализации происходит не всегда и, тем более, редко случается автоматически. Свойство взаимного развития культур не имманентно глобализации как таковой. Напротив, иногда мы являемся свидетелями явлений, когда культура «общества-реципиента» при встрече с культурой «общества-донора» приходит в упадок, разрушается. Разрушение это, как правило, происходит в три этапа. На первом искажаются артефакты культуры «общества-реципиента»: в изначально присущие им смыслы и ценности привносится иное содержание или в имеющемся содержании смещаются акценты. На втором этапе востребованность обществом собственных смыслов и ценностей сокращается, они вытесняются на обочину информационного культурного пространства. И, наконец, на третьем,

наступает их полное забвение. Параллельно происходит заполнение информационной сферы артефактами культуры «общества-донора» и возникает реальная угроза переформатирования национального самосознания «общества-реципиента», в перспективе — утрата самоидентификации его членами.

Вместе с тем возможна и обратная ситуация, при которой культура «общества-донора» при взаимодействии с культурой «общества-реципиента» в отдельных аспектах начнет воспринимать в себя элементы чужой культуры как свое органическое дополнение и сама начнет изменяться. Также органически культура «общества-реципиента» может «дополняться» культурой «общества-донора». Глобализация, таким образом, при определенных условиях может сделаться возможностью для уничтожения одной культурой другой, для переформатирования сознания больших групп людей. Но она же может оказаться и стимулом для развития каждой из культур или даже их обеих. Излишне доказывать, что сказанное в полной мере относится и к понятию патриотизма. Впрочем, вернусь к его анализу на примерах из отечественного бытия.

* * *

Говоря о патриотизме наряду с уже сказанным, думаю, также можно выделить патриотизм «бессознательный», не основанный на знании и собственном ответственном решении человека. Патриотизм может иметь и «географическое» измерение. Известно, что в период гражданской войны в России в начале XX века крестьяне активно боролись против вторжений иностранных интервентов, но до тех пор, пока захватчики находились на близком расстоянии от их деревень. Они защищали свои дома и не желали идти дальше. Поступали ли они патриотично? Несомненно. Но также справедливо и то, что их патриотизм имел «местный», локальный характер. Впрочем, не стоит думать, что локальный патриотизм это нечто второсортное. В человеческой душе у него есть своя ниша и в отличие от патриотизма других видов он самый массовидный. Лев Толстой, например, так писал о свое родовом гнезде накануне своего ночного ухода 28 октября 1910 года: «Без своей Ясной Поляны я трудно могу представить Россию и мое отношение к ней. Без Ясной Поляны я, может быть, яснее увижу общие законы, необходимые для моего отечества, но я не буду до пристрастия любить его» [Басинский 2011: 53].

Есть, наконец, патриотизм, нацеленный на лучшее желаемое будущее, патриотизм «жертвенный». Он был явлен «декабристами» — офицерами-организаторами восстания 14 декабря 1825 года. Известна оценка А.И. Герцена, данная им, вышедшим «…сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия». Несомненно, что все офицеры-декабристы имели лучшее по тем временам образование — как домашнее, так и полученное в специальных заведениях. Они были знакомы с европейским строем жизни и европейской культурой, хорошо знали культуру отечественную. Собственно, именно в этом контексте они и породили в своей интеллектуальной среде идеи ограничения самодержавия, выработки Конституции, отмены крепостного права, народного просвещения и пр. Их интеллектуальный и нравственный импульс, равно как и поступок, можно считать ярким образцом высшего вида патриотизма — патриотизма просвещенного, гражданского.

Не менее ярким примером проявления жертвенного патриотизма, рожденного из просвещения и гражданственности, был так же поступок семи наших соотечественников, «демонстрация семерых». Она была проведена 25 августа 1968 года на Красной площади и выражала протест против введения в Чехословакию войск СССР и других стран Варшавского

договора для пресечения «Пражской весны» — общественно-политических реформ в Чехословакии.

Говоря о патриотизме как состоявшемся историческом событии, но нацеленном в будущее, нельзя не упомянуть имени Петра Яковлевича Чаадаева. Именно с него в русской философии начинается отсчет систематической разработки темы патриотизма в русском мировоззрении с особым вниманием к вопросу о месте и роли России в мировой истории и соотношения путей развития России и Запада.

Публикация в 1836 году первого «Философического письма», которое, по словам А.И. Герцена, «потрясло всю мыслящую Россию», вызвало и высочайшую реакцию — царь объявил Чаадаева умалишенным. Что же в интересующем нас ключе содержало в себе это философское произведение, значимость которого не утрачена и доныне?

Центральное, на мой взгляд, место первого письма — беспрецедентный по точности и смелости обличительный и, одновременно, патриотический по сути тезис о «внеисторическом» положении русских, что предопределяет, в частности, их неспособность, как выражается Чаадаев, «благоразумно устраиваться» в действительности. По его мнению, «одна из самых печальных особенностей нашей своеобразной цивилизации состоит в том, что мы все еще открываем истины, ставшие избитыми в других странах и даже у народов, в некоторых отношениях более нас отсталых. …Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось. Дивная связь человеческих идей в преемстве поколений и история человеческого духа, приведшие его во всем остальном мире к его теперешнему состоянию, на нас не оказали никакого действия. То, что у других составляет издавна самую суть общества и жизни, для нас еще только теория и умозрение» [Чаадаев 1989: 18]. «Оглянемся кругом себя, — продолжает философ. — Разве что-нибудь стоит прочно на месте? Все — словно на перепутьи. Ни у кого нет определенного круга действия, *нет ни на что добрых навыков, ни для чего нет твердых правил***,** *нет даже и домашнего очага, ничего такого, что бы привязывало, что пробуждало бы ваши симпатии, вашу любовь, ничего устойчивого, ничего постоянного*; все исчезает, все течет, не оставляя следов ни вовне, ни в вас. В домах наших мы как будто в лагере; в семьях мы имеем вид пришельцев; в городах мы похожи на кочевников, хуже кочевников, пасущих стада в наших степях, ибо те более привязаны к своим пустыням, нежели мы — к своим городам. И никак не думайте, что это не имеющий значения пустяк. Несчастные, не будем прибавлять к остальным нашим бедам еще одной лишней — созданием ложного представления о себе самих, *не будем воображать себя живущими жизнью чисто духовных существ, научимся благоразумно устраиваться в нашей действительности*…» [Чаадаев 1989: 19].

Пафос патриотической критики Чаадаева направлен прежде всего против рабства. Действительно, в то время как в европейских странах (а именно с Европой Чаадаев сравнивает Россию) институт рабства изжил себя и остался в далекой истории, в России, спустя семьсот лет после принятия христианства, в XVII веке он вошел в силу в форме прикрепления крестьян к земле, а вместе с землей — к господам, слугам царя. При этом, в отличие от европейского рабства, распространявшегося в основном на пленных, то есть иноплеменников, в России невольником был свой же народ. Кроме того, господа, становясь в положение угнетателей собственного народа, что, согласимся, было сильнейшей язвой нравственного характера (о чем, в частности, свидетельствуют личные переживания и судьба Л.Н. Толстого), сами были не свободны — и как угнетатели, и как подданные более высокого господина.

Именно это состояние тотальной зависимости, предполагающей либо подчинение, либо угнетение, и было главным препятствием для появления в обществе свободного человека-патриота, для активного развития его творческой самодеятельности. Положение зависимости, невозможности принимать самостоятельные решения в значительной мере и определяло

«внеисторичность» и практическую невозможность сознательного патриотизма для всего народа, так как реальная конструктивная история может быть результатом только самодеятельности личностей, их согласованного между собой исторического творчества.

Надо отметить, что форма патриотизма как философской критики России и русских была одной из постоянных тем нашей гуманитарной мысли. Так, вопросом о патриотизме через пятьдесят лет после Чаадаева задается К.Д. Кавелин, отвечая на него в том же, что и Чаадаев, ключе. Также как и автор «Философических писем», причиной неподвижности общества Кавелин видит «нашу нравственную личную несостоятельность и негодность», «личное нравственное ничтожество». Способная к сколько-нибудь активным действиям часть российского общества ничтожно мала. И перемены происходят по следующей схеме: «Когда по ходу вещей наступала пора сменить обветшалые формы, замечалось, что сложившиеся долгим временем привычки ослабевали и расшатывались; но из-под них не прорывались ни бешеные страсти, ни непомерные притязания гордой мысли; вместо того, сквозь трещины оседающего здания проступали плесень и гнилость и их усиление служило предвестием, что будет перемена, что она близится. Наконец, она действительно наступала: государство призывало микроскопическое меньшинство к преобразованию и при его сочувствии и деятельном участии проводило реформу, которая совершалась обыкновенно молча. После того, гнилость и плесень на время еще продолжались и даже как будто усиливались, а затем понемногу исчезали, впредь до приближения нового перелома в государственной жизни» [Чаадаев 1989: 19].

Таким образом, в отличие от Европы, равно как и от представлений об общественном развитии, которые предлагали славянофилы, либеральный историк Кавелин задачу изменения субъекта исторического процесса видит в том, чтобы с помощью государства вызвать к жизни и деятельности отдельного человека, личность, в лучшем случае «микроскопическое меньшинство». Сделать это, однако, трудно. До сих пор «нас нельзя назвать ни хорошими, ни дурными людьми: мы не подлежим нравственному измерению». Мы ненадежные люди «по легкомыслию и ветрености», по «умственной и нравственной нищете». Любопытно, что прошло почти полвека, а Кавелин формулирует о России и русских тот же тезис, который в свое время формулировал П.Я. Чаадаев.

Конечно, в названных случаях патриотические поступки были направлены против существующей системы государственности, знаменовали необходимость ее коренного совершенствования или смены. Объективно они были направлены на ослабление существующей в стране государственной власти, не поддерживались и даже осуждались большинством населения, снижали авторитет власти в глазах мирового сообщества. Однако вряд ли кто-либо возьмется оспаривать, что они были патриотичными именно в силу критики современного им государства.

Вместе с тем, очевидно, что наше признание декабризма и «демонстрации семерых» патриотичными обусловливается исключительно тем, что оба явления далеко отстоят от нас в истории. И если, к примеру, протест в форме «демонстрации семерых» по какому-либо поводу повторится сегодня, то он точно так же будет государством подавлен и общественным мнением большинства осужден именно в силу их (государства и общественного мнения) понимания патриотизма. Об этом — вреде патриотизма, который «возводит в добродетель… всякое присвоение чужого для увеличения могущества своего отечества», о его языческой сущности, противной христианству писал и Лев Толстой, так до сих пор нами и не услышанный [Толстой 1978].

Тема патриотизма обширна. Поэтому сосредоточить свое внимание далее я хотел бы на том, что считаю в ней главным — на патриотизме просвещенном, гражданственном.

* * *

Под термином «просвещение» понимаются два явления. Идейное течение, особый тип мировоззрения в Европе и Америке XVIII века, основанный на убеждении в решающей роли разума и науки в познании «естественного порядка», который соответствует «подлинной» природе человека и общества. Очевидно, что это определение нельзя признать рабочим в связи с темой патриотизма. В рассматриваемом контексте уместно второе толкование, предложенное И. Кантом: «*Просвещение — это выход человека из состояния своего несовершеннолетия,* в котором он находится по собственной вине. *Несовершеннолетие* есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине — это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. *Sapere aude!* — имей мужество пользоваться *собственным* умом! — таков, следовательно, девиз Просвещения» [Кант 1966: т. 6, с. 25].

Кантовское определение характеризуется рядом принципиально важных особенностей, которые должны быть отмечены. Во-первых, просвещение по Канту невозможно без такого качества личности, без такой ее решимости, при котором она отказывается от какого-либо внешнего патронажа или патернализма — «руководства со стороны кого-то другого». Просвещенность, во-вторых, есть решимость личности не просто признать возможность быть самостоятельной, но и реально «пользоваться своим рассудком» на свой страх и риск, то есть осуществлять это практически.

Очевидно, что эти качества просвещенной личности напрямую никак не детерминированы определенным уровнем социально-экономического или политического развития общества, состоянием государства, наличием или отсутствием гражданского общества и его институтов. То есть, просвещение не возникает автоматически на каком-то уровне общественного развития. И, с другой стороны, высокий уровень общественного развития не гарантирует просвещенности. Просвещение индивида может иметь место на довольно низкой стадии общественного развития и отсутствовать на высокой. Просвещенные люди появляются вне этих социальных детерминант, просвещение возникает как бы само по себе. Но так ли просвещение спонтанно или на чем-то все же основывается?

Уже в самом кантовском определении содержится указание на такую основу. Основа мужества — знание. Без знания нет ума, которым человек может воспользоваться. Речь, однако, не идет о какой-либо обширной образованности. Для решимости пользоваться своим умом человеку достаточно обладать знанием в какой-либо одной сфере. И именно в этой сфере от него естественно ожидать мужественного использования своего ума. Чтобы иметь возможность пояснить сказанное и полнее раскрыть тему патриотизма, я обращусь к одному из наиболее ярких и глубоких литературных произведений на тему патриотизма — философскому сказу Н.С. Лескова «Левша». Как точно подметил Л.А. Аннинский, «баснословие» Лескова звучало «вызовом тому истовому, страшно серьезному, почти молитвенному народолюбию, которым было тогда охвачено общество» [Аннинский 1993: т. 5]. Народолюбие же, как известно, было одним из синонимов русского патриотизма.

* * *

Завязка сказа в том, что во время посещения Англии император Александр Павлович составил себе мнение, будто тамошняя оружейная кунсткамера содержит такие совершенства, «что как посмотришь, то уже больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся» [Лесков 1958: т. 5, 475]. Ему оппонирует сопровождающий ата-

ман Платов. Однако его возражение — «мои донцы-молодцы без всего этого воевали и двенадесять язык прогнали» нельзя признать превосходящим замечание Александра I.

Впрочем, в одном месте повести, рисуя образ Платова, Лесков выбивается из вроде бы определенной ему роли — олицетворения грубой силы, слепо любящей Родину. «Мысль Платова» была: «что и наши — на что взглянут, все могут сделать, но только им *полезного ученья* нет». (Здесь и далее выделено мной. — *С.Н.*). И совсем неожиданное, имеющее отношение к загадочному тезису о «полезном учении»: Платов мысленно «представлял государю, что у аглицких мастеров совсем на все другие правила жизни, науки и продовольствия, и *каждый человек у них себе все абсолютные обстоятельства перед собою имеет, и через то в нем совсем другой смысл*» [Лесков 1958: т. 5, 480].

Что значит зашифрованный автором тезис «абсолютные обстоятельства» перед каждым человеком? Думаю, одна из разгадок — указание на такое устройство общества, при котором, во-первых, между человеком и неким Абсолютом нет промежуточного звена-посредника, как, например, в России самодержавного монарха. И, во-вторых, что каждый член общества равен всем остальным как в общественном сознании, так и в реальности, перед лицом закона.

Концентрированный тезис об «абсолютных обстоятельствах» будет далее раскрыт на примере увиденного левшой[2] английского общества, жизни, личности и производственной деятельности работников, упоминаний о человеческих правах и «человечкиной душе». Именно на этой содержательной основе читатель составит себе представление об английском патриотизме и ему четче будет видна та малая жизненная почва, на которой произрастает патриотизм российский, чья малая искра мелькнула в левше. Итак, напоследок англичане дарят императору стальную блоху, умеющую танцевать, а император дает задание Платову изыскать способ, «чтобы англичане над русскими не предвозвышались». Получив от атамана наказ, тульские мастера не просто оказались вынуждены посредством своих знаний «жить своим умом», но были к этому обязаны. Они начинают действовать. Определив, что соперничество с англичанами вероятнее всего возможно в военной сфере, они выбирают именно того святого, который олицетворяет собой «военное одоление» и отправляются не в Москву или в Киев, а к избранному ими «профильному» святому — «мценскому Николе». После возвращения и приняв решение как именно следует действовать, они изменяют весь порядок своей жизни — отделяются от мира и своего сообщества, наглухо закрывшись в отдаленной избе. Решение о том, как ответить англичанам они оставляют исключительно за собой, не посвящая в это даже Платова. Думаю, что образом мастеров Лесков как бы иллюстрирует кантовский тезис о просвещении, добавляя к идее философа о мужественной решимости жить своим умом необходимую для этого основу: такая решимость возможна только у человека, обладающего знаниями. Соревнование русских мастеров с англичанами, как известно, завершилось вничью. С одной стороны, туляки превзошли англичан своим природным мастерством, в том числе и тем, что обходились без «мелкоскопа» («а у нас так глаз пристрелявши», — поясняет левша), но, с другой, «нимфозория» перестала делать дансе. Разбирая эту ситуацию после пояснений левши об образованности русских исключительно церковными книгами, англичане делают крамольное для нас заявление: «…Лучше бы, если б вы из арифметики по крайности хоть четыре правила сложения знали, то бы вам было гораздо пользительнее, чем весь Полусонник. Тогда бы вы могли сообразить, что в каждой машине расчет силы есть, а то вот хоша вы очень в руках искусны, а не сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозории, на самую аккуратную точность рассчитана и ее подковок несть не может» [Лесков 1958: т. 5, 496].

[2] Наименование тульского мастерового иногда употребляют как его собственное имя. Я же сохраняю авторское написание.

Далее в лесковской повести обнаруживается еще одна важная составляющая патриотизма — гражданственность. Как военный оружейник, обладающий недюжинными знаниями в своей области, левша обнаруживает, что посещавшие до него английский завод русские генералы знакомились с изготавливаемыми там ружьями в прямом смысле слова, не снимая перчаток. Левша же, когда засунул палец в ствол, обнаружил гладкую поверхность, что дало ему возможность заключить: англичане ружья, как мы, кирпичом не чистят и потому у них пули в стволах «не болтаются». Его последние слова перед смертью: «Скажите государю, …чтобы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся» [Лесков 1958: т. 5, 503]. Ощущая себя причастным к общему делу защиты Отечества и имеющий мужество на основе знаний пользоваться своим умом, гражданин левша заслуживает имени патриота.

То, что происходит с левшой, как только он сходит с трапа английского корабля на русскую землю, горько, но не удивительно и даже обыденно, как мы понимаем, не только для начала XIX столетия. Его сваливает на пол, обкрадывает и морозит в возках полиция, его не принимают в больницы как не имеющего «тугамента», ему, наконец, раскалывают затылок, когда волокут по ступенькам. От этого левша и умирает, открывая перед смертью выведанную у англичан «тайну».

Левша проявил себя патриотом. Но укрепляет ли его в патриотизме все, что произошло с ним на родине? А если да, то многие ли способны на столь самоотверженную и далекую от взаимности жертвенность? Аргументы левши, почему он не хочет остаться в Англии и сделаться превосходнейшим мастером, если и имели смысл при знаменитом тульском мастеровом, похоже, существенно изменили его в наше время. Очевидно, содержание понятия патриотизм со временем меняется. Сегодня оно все более сливается с понятием гражданственности, невозможной без просвещения как свободной решимости пользоваться имеющимися знаниями и собственным умом. А всегда ли есть ли возможность проявлять гражданственность — вопрос не простой.

Аннинский Л.А. 1993 *Сотворение легенды // Лесков Н.С. Собрание сочинений в шести томах. М.: Правда.*

Басинский П.В. 2011. *Лев Толстой: Бегство из рая. М.: АСТ, Астрель.*

Искандер 1862. *Великому кн. Константину Николаевичу // Колокол.1862. 22 ноября.*

Кавелин К.Д. 1989. *Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М., С. 168.*

Кант И. 1966 *Собрание сочинений в шести томах. Т.6. М.: Наука.*

Лесков Н.С. 1958. *Собрание сочинений в одиннадцати томах. М.: Художественная литература.*

Толстой Л. Н. 1978. *Собрание сочинений в двадцати двух томах, т. 2. — М.: ГИХЛ.*

Толстой Л.Н. 1993. *Патриотизм или мир? // Журнал «Толстовский Листок / Запрещенный Толстой», выпуск третий, издательство «АВИКО ПРЕСС», Москва.*

Чаадаев П.Я. 1989. *Сочинения. М., «Правда».*

БЫТИЕ И ТОСКА: А.П. ЧЕХОВ И А.П. ПЛАТОНОВ

В.Н. Порус
Национальный исследовательский университет — Высшая школа экономики

Аннотация: *В статье проводится сравнительный анализ экзистенциала «тоска» в творчестве А.П. Чехова и А.П. Платонова. Показано, что «тоска» принадлежит к важнейшим онтологическим характеристикам культурного кризиса. Тоска чеховских героев — мироощущение людей, живущих «у края культуры», смутная тревога, подобная той, какую испытывают живые существа перед наступлением бытийного катаклизма. Она — от бессмыслия культуры, утратившей жизненный потенциал и ставшей «миром симулякров». Отсюда всегдашняя готовность тоскующего человека к скепсису и саморазрушительной иронии. Тоска героев «Чевенгура» — реакция на механическое подавление жизни «новой культурой», универсальные принципы которой претендуют на абсолютную власть над людьми. Этим претензиям не дано осуществиться; «симулякры» не могут вытеснить из жизни человеческую подлинность. Парадоксальным образом тоскливая безысходность чевенгурского мира таит в себе надежду на преодоление культурной катастрофы, на выход к «сокровенному человеку». Показано, что Чехов и Платонов принадлежат одной литературной и философской традиции, противостоящей культурному кризису, ищущей пути его преодоления.*

Ключевые слова: *тоска, бытие, культура, культурный кризис, онтология культуры, философия культуры.*

В «Чевенгуре» нет смеха и даже простой весёлой улыбки[1]. Есть гримасы, похожие на улыбку. Они скрывают или, напротив, обнажают чувства, далёкие от радости и не совместимые с нею. Улыбается злобный и сладострастный калека Кондаев, мечтая, чтоб голод выгнал из села всех здоровых мужчин — тогда ему достанутся женщины, ласки которых он лишен. Ухмыляется машинист красноармейского поезда, уже готовый к дезертирству и предательству. Улыбка-маска застывает на лице полумертвого Дванова. Улыбкой «косоротится» больная Федора, икающая от страха перед Копенкиным. В усмешке Прокофия Дванова — презрение к людям и ожидание подвоха. Соня Мандрова, первая любовь Дванова, робкой улыбкой прячет растерянность от внезапного интереса к ней незнакомого мужчины Сербинова, а тот в

[1] «В пустых пространствах платоновского мира не слышно смеха» [Карасёв 1990: 41].

ответ улыбается грустно и обречённо: его чувство, еще не родившись, уже изможденно предчувствием неизбежного конца.

Мир Чевенгура тонет в тоске. Ею пропитаны земля и небо, она растворена в воздухе и воде, проникает в поры всего сущего. Безграничное и безутешное сиротство. «Над всем Чевенгуром находилась беззащитная печаль — будто на дворе в доме отца, откуда вынесли гроб с матерью, и по ней тоскуют, наравне с мальчиком-сиротой, заборы, лопухи и брошенные сени» (здесь и далее цит. по [Платонов 2009–2011]).

Тоскуют люди, животные, вещи[2]. Тоскуют плача и молча, тоскуют в движении и в покое. Тоскуют те, кого убивают, и те, кто убивает. Тоскуют живые. Тоскуют мёртвые — отец Дванова приходит к сыну во сне и говорит ему о своей скуке в могиле. Даже мысль о смерти не так страшна, как тосклива.

«Буржуев в Чевенгуре перебили просто, честно и даже загробная жизнь их не могла радовать, потому что после тела у них была расстреляна душа». Расстрелянные души — этого еще не бывало в русской литературе до Платонова.

Слезы, стоны — тоска стоит за ними, не выливаясь в них. Когда чекисты расстреляли буржуев, жены расстрелянных «легли на глиняные комья ровной бесследной могилы и хотели тосковать, но за ночь они простыли, горе из них уже вытерпелось и жёны мёртвых не могли больше заплакать». Тоска сушит слёзы, не дает им облегчить сердце. Плачут не от тоски — от песен. Чепурный: «Зря не плачь, люди — не песни: от песен я вот всегда плачу, на своей свадьбе и то плакал…».

Тоска гонит людей странствовать, манит призраками, по-разному облаченными, но всегда бесплотными. Гонится за «всеобщим счастьем» Саша Дванов, прекрасная покойница Роза Люксембург зовет к себе Степана Копенкина, призрак «умной жизни», похожей на отлаженный механизм паровоза, витает перед мастером-самоучкой Захаром. Призраками словно бы наполнен сам текст платоновской прозы: в нём то и дело вспыхивают яркие образы, к которым тянется все повествование, но это тяготение всегда обрывается. Как во сне, когда человек хочет сказать что-то очень важное, значительное, но не может продавить слова сквозь каменно-отяжелевшие губы, а когда они все же вырываются наружу, то сплетаются в причудливые связи, похожи на поток бреда, несущего с собой золотые крупицы прозрений и смыслов. В этом — одна из разгадок платоновского языка: речь его героев, похожа на сонное бормотание: мысли кутаются в лохмотья слов, но то и дело сбрасывают их с себя и бредут, не стыдясь своей наготы.

Тосклива любовь. Половая связь — необходимость «размножения», минутное убежище тел и душ, которые прячутся от тоски, когда «мнут друг друга». Изголодавшемуся по женщине телу Чепурного нужна Клавдюша, тогда он сможет подождать коммунизма еще два-три дня. Но любовь — унизительная дань природе. И Чепурный пытается сам себе объяснить, что Клавдюша нужна ему для поддержания «товарищеского чувства»: «хотя никто не в силах сформулировать твёрдый и вечный смысл жизни, однако про этот смысл забываешь, когда живешь в дружбе и неотлучном присутствии товарищей». Женщина-товарищ — это не так стыдно, как мужская тоска по женскому телу.

Чевенгурская тоска превышает масштаб психологии. Она присуща самому бытию. Из какого корня вырастает эта ранее не испытанная литературой онтология?

В поисках ответа пойдем к Чехову.

[2] Ханс Гюнтер замечает: «Распространенный литературный приём проекции субъективных ощущений героя на окружающий мир, на природу и космос принимает у Платонова экзистенциальный смысл. Тоска и скука существуют в виде непрерывного континуума одновременно как внутри души, так и во внешней окружающей среде, в природе и в космосе» [Гюнтер 2013].

* * *

Русская литература сказала о человеческой тоске так много, что, кажется, больше и сказать нельзя. Она разработала целую типологию тоскующих людей. Особое место в ней — за чеховскими «героями».

О тоске Чехов писал так, что она стала опознавательным знаком его творчества. Она не дает превратить себя в объект отрешенно-эстетического созерцания, но захватывает и не отпускает. Ощутив ее, читатель, зритель уже не могут жить так, будто ничего не произошло. Принять в себя эту тоску — момент истины, после которого палата для душевнобольных не самый неожиданный итог жизни. Или отвернуться, чтобы не видеть, не чувствовать её — но тогда потеряешь себя. А вернуться в тоску — она разольется внутри тебя ядом, вытесняя желание жить.

Человек тоскующий — главный объект чеховского внимания. Чеховские «герои» тоскуют иначе, чем ушедшие с жизненной и литературной сцены онегины, печорины, бельтовы и рудневы[3]. Поза Демона, окидывавшего «презрительным оком» чудный мир и способного лишь на «холодную зависть» к его Создателю, вызвала бы у них разве что скептическую гримаску. Ненависть их мелочна, любовь рассудочна, жизнь тягомотна, мысли заболтаны, чувства бесстрастны, они не горят, а холодно светятся, как гнилушки в темноте. Тоска этих людей — часто поза, «демонстративное настроение», «мерехлюндия». Так, например, тоскуют позёр Рябовский со своей постылой любовницей, бездарной дурой Попрыгуньей.

А бывает и тоска, разъедающая нутро. Тогда человек пытается кому-то рассказать о ней. Но люди от него шарахаются — одни из равнодушия, другие из страха, подобного тому, с каким встречают прокажённых, жалея их, но не сходясь до опасной близости. Так не слышат или делают вид, что не слышат, извозчика Иону Потапова его беспечные седоки или тоскующего по случайно встреченной и утраченной любви Дмитрия Гурова — его ресторанный собутыльник.

Но самая злая тоска та, что уже не высказать. Ее часто и не осознают, как не чувствует боли омертвевшая ткань тела. Тоска безмолвна. Разве что однажды она прорвется криком или оборвется выстрелом.

Лев Шестов (вот уж кто понимал тоску всем своим «беспросветным умом» и откликался на неё эхом в пропасти своего мироощущения!) прямо так и заявлял, что «настоящий, единственный герой Чехова — это безнадежный человек» [Шестов 2002: 580]. Безнадежный, потому что неизбывна его тоска, неотделима от него.

В этом все дело. Чеховские «герои» тоскуют не только и не столько от того, что недовольны окружающим их мирком. Пусть он уродлив и в нём скверно жить. Но ведь ещё можно надеяться: где-то там — за горизонтом этого мирка — жизнь иная, и о ней можно помечтать, воображая её как что-то светлое и значительное, осмысленное и желанное. «В Москву, в Москву!» — повторяют как заклинание сестры, заживо мёртвые в своем губернском городе. «Там, за гробом», надеется Соня, «мы увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, увидим всё небо в алмазах». Дмитрий Гуров и Анна Дидериц ищут, как избавиться от реальности пошлого адюльтера, от «невыносимых пут» жизни, полной страха, обмана (здесь и далее цит. по [Чехов 1974–1983]).

[3] Ю. Айхенвальд не иначе как по инерции называл чеховских персонажей «лишними людьми». «Непрактичные и неспособные к делу, лишние люди Чехова любят слова — теплые, высокие, хорошие слова, которые живут в каждой человеческой груди, но стыдливо прячутся, потому что окружающая жизнь примет их удивленно и холодно» [Айхенвальд 1994: 337]. Если они лишние, то кто не лишний? В мире Чехова любого человека можно назвать «лишним», а можно и не называть так, ибо само слово уже лишнее. Даже его коллеги — земские врачи, трудяги и честняги, живущие на его страницах, не так уж отличаются от прочей тоскующей публики, разве что они действительно знают разницу между тоскливым бездельем и тоской от сознания неисполнимости и непосильности их работы.

И казалось, что еще немного — и решение будет найдено, и тогда начнётся новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается.

Ничего не начнется, все уже кончено. Их любовь обречена. За нею угаснет и жизнь. Но иллюзии позволяют цепляться за жизнь, искать ее радостей. Совсем плохо тому, кто их уже не в силах питать и удерживать.

Войницкий. Дай мне чего-нибудь! О, боже мой… Мне сорок семь лет; если, положим, я проживу до шестидесяти, то мне остается ещё тринадцать. Долго! Как я проживу эти тринадцать лет? Что буду делать, чем наполню их? О, понимаешь… (судорожно жмет Астрову руку) понимаешь, если бы можно было прожить остаток жизни как-нибудь по-новому. Проснуться бы в ясное, тихое утро и почувствовать, что жить ты начал снова, что все прошлое забыто, рассеялось, как дым. (Плачет.) Начать новую жизнь… Подскажи мне, как начать… с чего начать…

Астров (с досадой). Э, ну тебя! Какая еще там новая жизнь! Наше положение, твоё и моё, безнадежно.

Войницкий. Да?

Астров. Я убежден в этом.

Чехов не позволяет доктору Астрову тешиться надеждами на прогресс. Вокруг себя Астров видит «картину постепенного и несомненного вырождения. Разрушено уже почти все, но взамен не создано еще ничего». Да и не будет создано, потому что вырождается человек. Корить человеческий мир так же бессмысленно, как сетовать на жестокость законов природы.

Ожидания дивных перемен, якобы несомых прогрессом, вовсе не от избытка душевных сил и оптимистической бодрости. Даже напротив, они скорее свойственны людям, вовсе не стремящимся беззаветно работать на общее благо, зато очень даже готовым попользоваться плодами прогресса. Доктор Астров, скорее всего, сопьётся от тоски. Не миновать того и ветеринарному врачу Ивану Иванычу, задающему вопросы, на которые нет и не будет ответа.

Свобода есть благо, говорил я, без неё нельзя, как без воздуха, но надо подождать. Да, я говорил так, а теперь спрашиваю: во имя чего ждать? — спросил Иван Иваныч, сердито глядя на Буркина. — Во имя чего ждать, я вас спрашиваю? Во имя каких соображений? Мне говорят, что не всё сразу, всякая идея осуществляется в жизни постепенно, в своё время. Но кто это говорит? Где доказательства, что это справедливо? Вы ссылаетесь на естественный порядок вещей, на законность явлений, но есть ли порядок и законность в том, что я, живой, мыслящий человек, стою надо рвом и жду, когда он зарастёт сам или затянет его илом, в то время как, быть может, я мог бы перескочить через него или построить через него мост? И опять-таки, во имя чего ждать? Ждать, когда нет сил жить, а между тем жить нужно и хочется жить!

Дмитрий Ионыч Старцев тоже доктор. Он покончил со всеми подобными вопросами и устраивается в жизни с комфортом, отпуская жадность из-под власти принципов и прекраснодушных мечтаний. Счастлив ли он? Какое там. Он ожирел и страдает одышкой, никого не любит и никем не любим. От него веет тоской не меньше, чем от Андрея Ефимыча Рагина, заканчивающего свой путь в сумасшедшем доме. Прогресс не мешает, а даже ускоряет превращение человеческого мирка в «палату № 6».

Прогресс — обман. Он — одна из тех мировоззренческих «идей», которые вызывают у Чехова «резко выраженное отвращение» (Л. Шестов). Это повод для «философствования», которое у Чехова часто выступает синонимом безответственного трепа, каким его персонажи пытаются прикрыть свое духовное бессилие. ««Философствовать» по-чеховски — слово профанированное, передающее жалкое состояние чеховского мира и его расслабленного сознания» [Бочаров 2005: 150–151]. Конечно, речь об имитациях философии, о словоблудии, превращающем «идеи» в пустые словесные скорлупки, в то, что в двадцатом веке назвали «симулякрами» — знаками того, чего уже нет, средствами поддержания «коммуникаций», в

каких осуществляется бессмысленная и пошлая повседневность. Чехов раньше и точнее других понял, во что превращается жизнь, когда идеи о ней — чем спокон веку занималась философия, — обнаруживают свою никчемность.

Или скажем так,»идеи» стали призраками. Кто-то еще склонен, подобно Гамлету, идти за ними туда, где они обещают открыть истину и указать цель. Но среди персонажей Чехова таких не видно. Они обжили свои мирки, где с идеями обходятся как с кентервиль- ским привидением из рассказа О. Уайльда: подшучивают над ними, включают в обыденные «языковые игры», приспосабливают к своим пониманиям. Все это просто и скучно.

Поразительно другое. Эти же самые люди, уже привыкшие к тому, что «идеи» годятся только для иронического стеба, обнаруживают в себе способность тосковать по ним! Искать их кругом себя и в умственных далях, понимая, что поиск этот нелеп и безнадежен. Искать — что? Конечно, не слова-симулякры (эти-то всегда под рукой), а то, чего в них уже нет, но без чего до смерти противно жить.

Ведь если «прогресс» — симулякр, то в будущем, куда зовут идеи, не будет никакого счастья и спокойствия духа, не будет ни воздаяния по справедливости, ни всеобщего примирения и понимания, а будет все та же зеленая тоска, от которой остаётся только биться головой о стену или кричать так, как крикнула Липа, когда у неё на глазах обварили кипятком её крошечного ребенка («В овраге»).

Пожалуй, правда, что сегодня Чехова многие читают иначе, чем столетием раньше. Литература наряжается в беллетристику. Чехову-беллетристу изображать или нагонять тоску — всё едино. Тоска чеховских персонажей — приём всеохватной игры со словом и миром.

Чехов, видимо, как-то предвидел это и предусмотрительно написал своего Тригорина, чтобы его не спутали с ним. Но ведь путают! Это ведь проще, чем принять чеховский «пессимизм». С.Н. Булгаков даже выдумал диковинный термин «оптимопессимизм», полагая вывести Чехова из-под упрёков в безнадежности (см. [Булгаков 1993, 150]). Но нельзя игрой терминов разрешить «загадку Чехова»: почему человеческая действительность так античеловечна?

«Загадка о человеке в чеховской постановке может получить или религиозное разрешение или никакого» [Там же: 148]. Без Бога ничего не получится, говорит о. Сергий. Не то пришлось бы взывать к природе, к истории, к человеческому обществу, к идеям и принципам, на которых это общество стоит, да и к охранителям этого стояния, чтобы они поддержали и укрепили наш оптимизм. Но это безнадежное дело, ибо такие воззвания, оставаясь без ответа, только усиливают подозрение, что помощи ждать неоткуда, что все адресаты равнодушны либо сами отравлены тоской.

Отсюда мысль об особой религиозности Чехова, отличающейся от церковного учения, а пуще — от церковной практики, также опустошённой и опошленной «идеями и мировоззрениями». Об этой чеховской религиозности Булгаков писал: «Религиозная вера в сверхчеловеческое Добро даёт опору для веры и в добро человеческое, для веры в человека. И, несмотря на всю силу своей мировой скорби, скорби о человеческой слабости, Чехов никогда не терял этой веры.» [Там же: 152].

Может, оно и так. Но эта вера в сверхчеловеческое Добро — не сродни ли она тем самым идеям, которым уже нет веры? Не получается ли «вера без веры», о которой философы-экзистенциалисты скажут, что к ней не применимы рассуждения о парадоксах и противоречиях, а нужно просто жить с ней, ибо в этом — залог достоинства и сопротивления духовной гибели?

Вообще-то, о своей вере, если она искренне переживается всем существом, а не сводится к выполнению ритуалов и жестов, писателю, скорее всего, следует молчать.

Чехов как никто другой из русских писателей умел молчать. Его молчание особенно звучно, когда его персонажи болтают об «идеях», о высоком, о прекрасном, о совести, о му-

ках неразделённой любви и о прочих возвышенных чувствах[4]. Дымов, один из близких Чехову врачей-трудяг, говорит своей неверной женушке, изображающей страдания ревности к охладевшему любовнику: «Не плачь громко, мама… Зачем? Надо молчать об этом… Надо не подавать вида…». И это бормотание о молчании, конечно, громче кривляний Попрыгуньи. Надо молчать — и не только об этом.

Заговоришь, и станешь соучастником высокопарной трепотни Треплева, начнешь «философствовать» с Вершининым («вместо чая») или ввяжешься в дискуссию с уже готовым к убийству во имя своих представлений о том, каким должно быть человеку, фон Кореном. И всё это будет одна «тарарабумбия», нелепая и постыдная, особенно ввиду того, что вялой иронией не заслониться от жестокой реальности.

* * *

Что такое «идеи», о которых болтают чеховские персонажи и о которых молчит Чехов? Это принципы культуры, ее ценностные идеалы, которые должны быть ориентирами поведения, чувствования и мысли людей. Должны быть, но не являются таковыми. Между ними и реальной человеческой жизнью — пропасть. Как и почему это возможно?

Культурные принципы — это не фикции (как некогда думал Г. Файхингер, переиначивая мысль И. Канта о том, что человек может и должен жить так, как будто есть Бог, есть свобода, есть бессмертие души и, следовательно, есть потустороннее воздаяние людям по делам их), не утилиты, какими можно и нужно пользоваться или — при случае — их менять. Это условия осуществления человеческого в людях. Вне этих условий — нет человека.

Это не означает, что люди, населяющие культурное пространство, чувствуют, мыслят и поступают в соответствии с этими принципами. Последние — не команды для безусловного выполнения, но именно ориентиры, указывающие направления движения в культурном пространстве (отличия между добром и злом, истиной и ложью, высоким и низким, благородным и подлым, достойным и мерзким, спасительным и губительным и т.п.). Ориентиры дают возможность надлежащего выбора, но сам выбор — за человеком. Если он следует ориентирам, культура признает за ним право быть человеком. Не следует — значит, он не признает над собой власти ее принципов.

Власть культурных «идей» не такова, как власть законов природы. Она удерживается, если и пока люди, по крайней мере большинство из них, её признают и сознательно ей подчиняются. Если признания и подчинения нет, либо они подорваны, власть слабеет и падает, хотя до поры может всё же держаться с помощью насильственных средств (применяемых специальными институтами), без каковых не обходится никакая власть над людьми.

Личное бессмертие и справедливое воздаяние — вековые мечтания человечества. Европейская культура оформляет эти мечты в принципы или ценностные идеалы-универсалии. Они требуют от человека обуздания своих желаний, страстей, влечений и поведенческих форм. Но человек стремится к удовлетворению своих витальных притязаний и любое их ограничение воспринимает как препятствие, какое хотелось бы преодолеть. Во власти «жизненного порыва» человеческое существо не очень-то склонно признавать над собою иную власть, скорее — как-то избегать её принуждений. Это относится и к власти культурных принципов. Тем более, если ум, взбунтовавшийся против культуры, подсказывает, что странно и нелепо подчиняться каким бы то ни было измышлениям или фикциям.

Тогда культура и предстает как то, без чего человеку трудно выжить, ибо она определяет условия, при которых противоположные воли и витальные порывы не аннигилируют во взаимных столкновениях, а находят компромисс. Она позволяет людям уживаться друг с другом даже тогда, когда эта совместность — вне бдительного надзора со стороны Левиафана с

[4] Правда, Чехов иногда нарушал это молчание, но это почти всегда случалось тогда, когда его «героев» рядом не было: в письмах, в разговорах с близкими и друзьями.

его законами и охранительными структурами. В таком случае культура не что иное, как незримая узда, сдерживающая человеческое своеволие, его дикие и свирепые проявления.

Как бы то ни было, культурное бытие — это взаимное приспособление всеобщих принципов, ценностей и идеалов, с одной стороны, и конкретно-индивидуальных устремлений, с другой. Пока оно возможно и удачно, «идеи» властвуют. Если же нарастают противоречия, сознание людей мечется между ними, идеи перестают быть осознанными ориентирами людских поступков, их ценность падает, а власть становится иллюзорной. Их бытие перемещается в сферу цивилизации: люди, пока их жизнь контролируется цивилизацией, живут так, как будто они культурны, но едва контроль ослабевает или исчезает вовсе, культура сходит с них, как макияж после бани. Тогда-то и происходит превращение «идей» в «симулякры». И это порождает презрение к ним, но в то же время — тоску по «подлинности».

Когда происходит замещение одних культурных идеалов-ориентиров другими, говорят о кризисе культуры. Кризис преодолевается, когда на место отмирающей, насквозь «симулякризованной» культуры приходит другая, неся с собой иные ценностные ориентации.

Хорош этот переход или нет — такую оценку нельзя дать «со стороны». Никто и ничто не гарантирует, что «новая культура» лучше «старой». Такую гарантию давала бы идея «культурного прогресса», которая сама так пропитана фальшью и опустошена, что относиться к ней всерьёз — значит снова попасть в плен к симулякрам.

Хунвейбиновские погромы в маоистском Китае называли «культурной революцией», и в этом есть определенный, хотя и малоприятный, смысл. А еще можно вспомнить более раннюю, но близкую нашей памяти историю, как интеллигенты всех мастей в России ждали и призывали революцию, чтобы она смела «прогнившую» культуру с ее фальшивыми, импотентными идеалами, не способными сориентировать людей на то, чтобы обездоленные нашли свою долю, несвободные обрели свободу, и чтобы эта свобода была торжеством человечности, а не сигналом к разгулу дикости и варварства. И как это счастье казалось близким, только надо было двинуться ему навстречу, принять в свою жизнь новые идеалы и довериться им.

Взрыв случился, в «терновом венке революций» грянул семнадцатый год, а его культурные пророки и предтечи легли под каток репрессий или сами не смогли пережить свое перерождение.

Но как ни относись к этой эпохе, она знаменовалась попыткой смены культурных парадигм. Ведь если такие попытки запаздывают или заканчиваются провалом, культура вырождается и гибнет. Наступает культурная катастрофа.

Именно такая катастрофа настигла европейскую культуру в XX в. Причины виделись по-разному, но сводились к одному: крах не был вызван нападением иных культур или неких контркультурных сил. Европейскую культуру взорвали ее внутренние противоречия. Например, авторы «Диалектики Просвещения» еще в 1944 г. констатировали, что «проект модерна» оказался способом самоубийства этой культуры (см. [Хоркхаймер, Адорно 1997]), а пару десятилетий спустя один из них бросил знаменитый афоризм «После Освенцима любая культура вместе с любой ее уничижительной критикой всего лишь мусор» [Адорно 2003: 327]. О чем нельзя говорить, о том и следует скорбно молчать.

Желающих оспорить этот диагноз предостаточно. Скажут, что нельзя принимать всерьёз слова, сказанные сгоряча, под впечатлением двух мировых войн, Холокоста, ГУЛАГа, испытанного на людях оружия массового поражения. Но ведь всё это уже в прошлом, а культура живёхонька, в концертных залах и в наушниках звучат Моцарт и Гершвин, театры собирают аншлаги, от книг ломятся полки магазинов и личных библиотек, в храмах люди молятся, в университетах учатся. Культурная жизнь продолжается, об этом свидетельствуют факты.

Любой вздор можно подкрепить фактами. Дело не в самих фактах, а в их понимании. Ведь при желании даже восковых кукол из музея мадам Тюссо можно принять за живых лю-

дей. Такой, с позволения сказать, оптимизм импонирует людям, склонным видеть в исторических трагедиях что-то вроде несчастных случаев, о каких не следует часто вспоминать, чтобы не портить настроение. Так и живут, пока живется. От одной катастрофы к следующей.

Подобный оптимизм сродни постмодернистскому «пофигизму»: никаких кризисов и катастроф культуры не происходит, просто потому что никаких культурных универсалий (идей) нет (как чего-то объективно-сущего, и в этом прав Г. Файхингер!) и, значит, никаких несовпадений универсального и индивидуального в человеке также нет. Нет и никакой «загадки человека», вернее, её решение банально: человек — это его обстоятельства.

Обстоятельства переменчивы, уж так устроен мир. И человек меняется вместе с ними. Он похож на Протея, который превращался в любое живое существо или вещь, жил да был в любых средах и ускользал от всякой погони. При этом все же оставался Протеем, скрываясь под любой личиной. Человек же это супер-Протей, он никогда и ни в чем не равен самому себе. И ему незачем тосковать о своей подлинности, все его «духовные драмы» и «внутренние разлады» — от еще неполного осознания своей свободы от «идей». Следы былого плена, память о котором, к сожалению, пока ещё не выветрилась. Когда-нибудь все это кончится, и наступит царство самой комфортной свободы, свободы от культурных идеалов и от самого себя как проекции этих идеалов на плоскость бытия.

Человек как он есть, приспособивший культурные идеи к своей самодовольной малости в виде «симулякров», это лишь материал, из которого посткультурная (или бес-культурная?) действительность выстраивает свою бутафорию. Вопрос в том, признать ли это неизбежностью и навсегда согласиться с нею, оставив в прошлом упования на то, что человек способен «трансцендировать», т.е. соотносить свою данность с идеалами и сверять свой путь по культурным ориентирам. Или же полагать, что мы, незадачливые наследники обанкротившейся и распавшейся культуры, пока что живём на ее руинах, но уже пора приступать к устранению последствий катастрофы, начинать — в который раз! — строить новую культуру, а значит, и вступать с нею в новые отношения.

На этот вопрос у Чехова не было ответа. Вот эта самая пустота, что окружает человека, угодившего в зазор между культурным и посткультурным бытием, она ведь может быть принята за пустоту внутри самого человека или поставлена в один ряд с нею. Собственно, об этом и говорил Л. Шестов, называя Чехова мастером изображения «гниющего, разлагающегося существования», который почему-то заставляет нас ещё и жалеть эту гниль, симпатизировать ей, даже любить ее (см. [Шестов 2002: 575]).

Что возразить? «Шестов прозрел и произнёс во всеуслышание то, в чем Чехов сам боялся себе признаться, но не мог не выразить как художник. Писатель показал человека, столкнувшегося с ничто (курсив мой. — В.П.) как внутри самого себя, так и в окружающей его жизни. Идеалы, которые сформированы в сознании человека под влиянием воспитания, создавались на протяжении веков, чтобы объяснить смысл существования мира, обветшали и исчерпали себя» [Одесская 2008: 226].

Столкнувшись с ничто. Так всё-таки внутренняя пустота человека — это и есть его «онтологический статус»? Тогда пустота в окружающей жизни есть следствие пустоты внутренней. Значит, никакой культурной катастрофы не было и не могло быть, а случилось то, что и должно было случиться: обветшавшие и опустошённые, бесплодные и бессильные идеалы просто отмерли, отсохли и отпали, оставив человеческую пустоту уже без всяких декораций и оболочек.

Или же, столкнувшись с ничто, можно и должно отступить от края бездны, чтобы не обрушиться в неё? Может ли человек согласиться со своей сущностной пустотой? М. Хайдеггер отвечал отрицательно: «Мы никак не можем собственным решением и собственной волей поставить себя перед лицом Ничто» [Хайдеггер 1993: 22]. Это понятно, ибо мы не в состоянии узреть Ничто, не будучи чем-то отличным от Ничто. Человек не равен Ничто. И то же самое можно сказать и о культуре. Она — не среда, творящая человека по своему образу и подобию

(если бы это было так, то пустота и не породила бы ничего, кроме пустоты!), она есть, как говорил М.К. Мамардашвили, «усилие человека быть человеком». То есть Культура и Человек бытийственно сопряжены, им не жить друг без друга. Если угодно, культура властвует над человеком так и в той мере, в какой человек определяет собой культуру.

Если так, то культурная катастрофа есть то, что сделали с культурой люди, и вместе то, что культура сделала с людьми. Отсюда следует, что выход из катастрофы возможен, если люди того пожелают. Если Ничто не омертвит человека, не парализует его волю к действию.

Чехов жил в то время, когда предчувствие краха культуры было еще смутной тревогой, наподобие той, какую испытывают живые существа перед землетрясением или извержением вулкана. Тоска его «героев» и есть это предчувствие. Они ещё об этом не знают, а просто тоскуют, каждый по-своему.

* * *

Чевенгурцы у Платонова не предчувствуют культурную катастрофу, а живут в ней. Они обитатели культурного пространства, оставшиеся, после того как само пространство исчезло.

Культурные идеи — счастье, истина, душа, дух, благо, Бог, любовь — перестали быть как идеи. Они стали телесно-осязаемыми: людьми, животными, вещами. Тем, о чем нельзя сказать, что это — пустота.

Богом воображает себя безумный Никанорыч из Петропавловской слободы. «По своему убеждению он бросил пахоту и питался непосредственно почвой. Он говорил, что раз хлеб из почвы, то в почве есть самостоятельная сытость — надо лишь приучить к ней желудок. Думали, что он умрёт, но он жил и перед всеми ковырял глину, застрявшую в зубах. За это его немного почитали». На предложение стать не богом, а Лениным, он отвечает печальным вздохом:

- Ну и держава!

- Что, — спросил Дванов, — бога не держит?

- Нет, — просто сознался бог. — Очами видят, руками щупают, а не верят. А солнце признают, хоть и не доставали его лично. Пущай тоскуют до корней, покуда кора не заголится.

Телесное воплощение идеи гротескно-убедительно. Пока люди не поверят в идею именно потому, что видят ее очами и щупают руками, они будут тосковать «до корней», до высыхания «древа жизни». Дванову это понятно (безумие Никанорыча живёт и в нём, только придавлено прочитанными книгами).

Дванов проводил бога глазами без всякого осуждения. Бог уходил, не выбирая дороги, — без шапки, в одном пиджаке и босой; пищей его была глина, а надеждой — мечта.

В Чевенгуре идея Бога перешла в идею Коммунизма. Собственно, коммунизм — это и есть новый бог, пришедший на смену старому, какому молились в прежней жизни. «Но идея коммунизма сама по себе очень абстрактна, непонятна и неощутима для чевенгурцев, поэтому они переводят ее в более конкретный план — коммунизм становится «обоюдным чувством масс»» [Дмитровская 1995: 49]. Коммунизм должен приобрести осязаемые свойства. Его тоже надо пощупать руками и увидеть глазами. Бог-Никанорыч жует глину для веры в себя, коммунизм находит воплощение в коммуне, где не только вещи — общим является само телесное существование людей, с рождения до смертного конца. Предельное, не допускающее никаких отклонений и компромиссов воплощение коммунизма — это обобществление тел, которые уже не принадлежат кому-то лично, но существуют как одно целое, обладают «обоюдным чувством».

Собственно, коммунизм — это и есть Чевенгур с его обитателями. Ощущение причастности к всеобщему телу наполняет человека покоем и беззаботностью. Исчезает главная тревога, источник страданий — зачем я, кому я нужен, не обуза ли для других, таких же как я

бессчастных и голодных, голодных до того, что выгоняют приемного ребенка на улицу просить подаяния, чтобы не делить с ним скудную пищу, нужную «своим». Это страдание вело Сашу Дванова искать приюта у могилы отца-утопленника.

Могильный бугор отца Саши почти растоптался — через него лежала тропинка, по которой носили новые гробы в глушь кладбища.

Близко и терпеливо лежал отец, не жалуясь, что ему так худо и жутко на зиму оставаться одному. Что там есть? Там плохо, там тихо и тесно, оттуда не видно мальчика с палкой и нищей сумой.

- Папа, меня прогнали побираться, я теперь скоро умру к тебе — тебе там ведь скучно одному, и мне скучно.

А коммунизм утешает и греет. Если все — одно тело, то чужих нет. Все делят жизненные ресурсы, да и саму жизнь, поровну. Что может быть понятней, чем это ощущение общего тепла, разлитого по телу коммунизма и согревающего каждую его клетку? Копенкин так и чувствует: коммунизм — не идея, живущая где-то в «тревожном месте груди», а «тёплый покой по всему телу».

Такого покоя не даст понимание идеи коммунизма. Оно не только недоступно, но и подозрительно: понимать могут и враги, а ощутить коммунизм как общее тело — только свой. Поэтому враги коммунизма исключаются из общей жизни, им в ней не место. У чевенгурцев даже нет к ним ненависти. Они просто относятся к врагам коммунизма как к инородному телу, посягающему на свое. Отсюда их механическая беспощадность[5].

Копенкин видел в белогвардейцах и бандитах не очень важных врагов, недостойных его личной ярости, и убивал их с тем будничным тщательным усердием, с каким баба полет просо. Он воевал точно, но поспешно, на ходу и на коне, бессознательно храня свои чувства для дальнейшей надежды и движения.

Идея воплощается не только в людей. Вот боевая лошадь Копенкина. Её тело — продолжение седока и всего Чевенгура. Пролетарская Сила крушит врагов коммунизма в бою и несёт Копенкина к Розе Люксембург, лик которой светит ему из-за горизонтов посюстороннего мира. В ней есть что-то общее с другим животным, носителем идеи беззаветного и неутомимого труда — медведем-кузнецом из «Котлована». Их массивная телесность подчёркивает вещественную плотность поселившихся в них идей.

Такова же трансформация идеи жизни. Она становится «человеком, который рядом», его телом, пусть оно и не живое. Жить — это значит быть вместе. Поэтому и мертвые нужны живым не как память, а для совместной жизни. В «Котловане» есть пронзительная сцена, когда Чиклин с Прушевским прощаются с умершей матерью Насти.

- Ну, достаточно, — сказал Чиклин. — Пусть хранят ее здесь разные мёртвые предметы. Мёртвых ведь тоже много, как и живых, им не скучно меж собой.

И Чиклин погладил стенные кирпичи, поднял неизвестную устарелую вещь, положил её рядом со скончавшейся, и оба человека вышли. Женщина осталась лежать в том вечном возрасте, в котором умерла.

Пройдя двор, Чиклин возвратился назад и завалил дверь, ведущую к мёртвой, битым кирпичом, старыми каменными глыбами и прочим тяжелым веществом. Прушевский не помогал ему и спросил потом:

- Зачем ты стараешься?

- Как зачем? — удивился Чиклин. — Мёртвые тоже люди.

- Но ей ничего не нужно.

- Ей нет, но она мне нужна. Пусть сэкономится что-нибудь от человека — мне так и чувствуется, когда я вижу горе мёртвых или их кости, зачем мне жить!

[5] Л.В. Карасёв сравнил сцену расстрела «буржуев» со «страшной» детской игрой: «правила «игры» делают из буржуев невсамделишных врагов, в которых совсем не страшно стрелять, особенно если убийцами руководит детская обида на то, что правила игры нарушаются» [Карасёв 1990: 34].

А Копенкин во сне, в котором «продолжается та же жизнь, но в обнаженном смысле», видит свою умершую мать, и та упрекает его за то, что он забыл ее, оставил ради своей «присухи» Розы.

- Опять себе шлюшку нашел, Степушка. Опять мать оставил одну — людям на обиду. Бог с тобой.

Мать прощала, потому что потеряла материнскую силу над сыном, рождённым из её же крови и окаянно отступившим от матери.

Копенкин любил мать и Розу одинаково, потому что мать и Роза было одно и то же первое существо для него, как прошлое и будущее живут в одной его жизни. Он не понимал, как это есть, но чувствовал, что Роза — продолжение его детства и матери, а не обида старушки.

Умершие Роза и мать не ушли из жизни Степана, не перешли в воспоминания, которые могут гаснуть и ослабевать. Они живут вместе с его телом, и когда кровь и дыхание уходят из раненого бойца, его последнее слово о тех, кто его ждет, чтобы снова соединиться с его телом.

Копенкин лег навзничь на отдых.

- Отвернись от меня, Саш, ты видишь, я не могу существовать…

Дванов отвернулся.

- Больше не гляди на меня, мне стыдно быть покойным при тебе… Я задержался в Чевенгуре и вот теперь кончаюсь, а Роза будет мучиться в земле одна…

Копенкин вдруг сел и еще раз прогремел боевым голосом:

- Нас ведь ожидают, товарищ Дванов! — и лёг мёртвым лицом вниз, а сам стал весь горячий.

«Чевенгур» часто представляют как утопию или, по крайней мере, как роман, написанный языком социальной утопии[6]. Например, как доведение до логического предела утопии Версилова из романа «Подросток» Ф.М. Достоевского. Там речь шла о воображаемом мире, где на место Бога и бессмертия люди поставили бы любовь друг к другу. Они «возлюбили бы и землю и жизнь неудержимо и в той мере, в какой постепенно сознавали бы свою преходимость и конечность, и уже особенною, уже не прежнею любовью. Они стали бы замечать и открыли бы в природе такие явления и тайны, каких и не предполагали прежде, ибо смотрели бы на природу иными глазами, взглядом любовника на возлюбленную» [Достоевский 1975: 379][7]. «В описании чевенгурской коммуны Платоновым, — замечает М.А. Дмитровская, — присутствуют все основные моменты, отмеченные его великим предшественником: здесь и исступленность любви друг к другу, и забота о ближнем, и боязнь за него, и желание тесноты и близости в касании, и даже былинка, которую собирается хранить Дванов, когда его товарищи умрут или исчезнут» [Дмитровская 1995: 49].

Действительно, похоже. Но отчего же в чевенгурской «утопии» разлита такая тоска, равной которой и не бывало в прежней литературе?

Утопия на то и утопия, чтобы разрешать проблемы, от которых плохо людям в реальном, неутопическом пространстве. Но в Чевенгуре проблемы не исчезают, они, напротив, обостряются до крайности. Может быть, антиутопия? И этот термин сомнителен. Как пишет Х. Гюнтер: «В отличие от классических антиутопий, в которых идеальная стадия развития общества уже существует в готовом виде, утопическая структура в платоновских произведениях находится в становлении — и одновременно в распаде. Возникает впечатление, что Платонов всё время пишет «неудавшиеся» утопии. Проза Платонова двигается по обе стороны от утопии — на грани между надеждой и разочарованием, конструкцией и распадом, порядком

[6] «Единственно, что можно сказать всерьез о Платонове в рамках социального контекста, это что он писал на языке данной утопии, на языке своей эпохи; а никакая другая форма бытия не детерминирует сознание так, как это делает язык» [Бродский 1995, 50].

[7] Бердяев, как известно, называл такую утопию «фантастической»: «Такой любви никогда не будет в безбожном человечестве; в безбожном человечестве будет то, что нарисовано в «Бесах»» [Бердяев 1994: 85].

и хаосом. При наличии лишь однозначно отрицательной тенденции развития сюжета произведения не отличались бы характерной именно для Платонова парадоксальной смесью сатиры и трагичности». А если учесть, что «центральный размышляющий герой Платонова тесно связан с базовыми представлениями о мире, но в то же самое время он исполнен жажды технической и социальной революции и старается примирить эти два начала», то «рефлексия по поводу происходящего у Платонова оказы-вается важнее самого действия. С этой точки зрения мы можем назвать роман метаутопией — утопия и антиутопия в нем вступают в не находящий завершения диалог» [Гюнтер 2011: 9, 11, 12].

Что ж, можно и так назвать. Если держаться привычных слов. «Утопия», «антиутопия», почему бы не быть и «метаутопии»? И всё-таки, я думаю, эти термины, какое бы содержание в них ни было вложено, не помогают ответить на вопрос о тоске. Утопия не может быть тоскливой по определению, антиутопия — это предупреждение, сигнал «стоп» для потерявшей тормоза утопии. В ней также нет места тоске. Откуда она возьмётся в метаутопии? Между тем волны чевенгурской тоски обрушиваются и на автора, как бы высоко он ни пытался стать над ними.

Тоска — ключ к пониманию того, что происходит на пространстве, где произошла культурная катастрофа.

* * *

Катастрофа культуры случается, когда ее идеи перестают властвовать над людьми, утратившими доверие не только к ним, но и вообще ко всяческим идеям. Это и произошло в Чевенгуре. Новые идеи витают в воздухе, они существуют в виде непонятных слов, переменчивых лозунгов, противоречивых указов, которых никто толком не разумеет, и принять их как ориентиры действия не хочет или не может. Под этими идеями пришла революция, но кому она нужна, если после нее жить хуже, чем раньше? Дванов спрашивает слободского кузнеца, чем он обижен на советскую власть:

- Оттого вы и кончитесь, что сначала стреляете, а потом спрашиваете, — злобно ответил кузнец. — Мудрёное дело: землю отдали, а хлеб до последнего зерна отбираете: да подавись ты сам такой землей! Мужику от земли один горизонт остается. Кого вы обманываете-то?

Дванов объяснил, что разверстка идёт в кровь революции и на питание её будущих сил.

- Это ты себе оставь! — знающе отвергнул кузнец. — Десятая часть народа — либо дураки, либо бродяги, сукины дети, они сроду не работали по-крестьянски — за кем хошь пойдут. Был бы царь — и для него нашлась бы ичейка у нас. И в партии у вас такие же негодящие люди… Ты говоришь — хлеб для революции! Дурень ты, народ ведь умирает — кому ж твоя революция останется?

Ненавистная кузнецу развёрстка сменяется нэпом, но как его совместить с революцией и коммунизмом, не понимают те, кто эту революцию делал.

Услышав недовольный голос Гопнера, Шумилин обернулся к нему:

- Тебе что, паек был велик — вольная торговля тебе не нравится?

- Нипочем не нравится, — сразу и серьезно заявил Гопнер. — А ты думаешь, пища с революцией сживётся? Да сроду нет — вот будь я проклят!

- А какая же свобода у голодного? — с умственным презрением улыбнулся Шумилин.

Гопнер повысил свой воодушевленный тон:

- А я тебе говорю, что все мы товарищи лишь в одинаковой беде. А будет хлеб и имущество — никакого человека не появится! Какая же тебе свобода, когда у каждого хлеб в пузе киснет, а ты за ним своим сердцем следишь! Мысль любит легкость и горе… Сроду-то было когда, чтоб жирные люди свободными жили?

Боятся стремительных перемен жизни крестьяне, привезшие в город зерно и молоко на продажу.

Утром постоялый двор набился телегами крестьян, приехавших на базар. Они привезли понемногу — кто пуд пшена, кто пять корчажек молока, чтобы не жалко было, если отнимут. На заставе, однако, их не встретил заградительный отряд, поэтому они ждали облавы в городе. Облава чего-то не появлялась, и мужики сидели в тоске на своем товаре.

- Не отбирают теперь? — спросил у крестьян Чепурный.

- Что-то не тронули: не то радоваться, не то горевать.

- А что?

- Да кабы хуже чего не пришло — лучше б отбирали пускай! Эта власть все равно жить задаром не даст.

Крестьяне знают, что с новой властью шутки плохи: захочет — отберёт все дочиста, захочет — даст послабления, позволит продать мешок пшена. Какие за этим стоят идеи жизнеустройства? А кто их знает? Понять их трудно, да и стоит ли понимать? Столько уже было их, слов-побрякушек. Новые идеи еще не стали культурными идеалами. Поэтому они находят себе иной способ бытия. Как говорит Сербинов Дванову, «люди в Чевенгуре друг для друга как идеи». Люди — не то, что идеи, их можно любить и ненавидеть, верить или не верить им, но они существуют рядом, и это реальность, от какой не отвернешься.

Люди, ставшие идеями, преображаются. Они не могут позволить себе сомнение, критическое размышление, быть просто людьми. Идеи, вселившиеся в них, подчиняют себе их мысли, поступки, чувства. Даже противное человеческой природе — например, убийство безоружных — приемлемо, если идейно оправдано. Эти люди прокладывают путь новой культуре силой, подчиняя своим идеям всех, кого могут подчинить. Власть идей устанавливается через власть людей, отождествивших себя с ними.

Эта власть воюет на два фронта. Против неё с оружием в руках выступают противники новых идей. Это страшная, кровавая борьба, но, несмотря на временные поражения (разгром чевенгурской коммуны), новая жизнь одолеет старую. Её победа предрешена тем, что старая жизнь себя навсегда скомпрометировала своей пустотой и безысходностью.

Линия другого фронта проходит по внутреннему миру человека, раскалывая его на половины, одна из которых вбирает в себя новые идеи, срастившись с ними, другая хранит фундаментальные устои, идеальные смыслы-логосы, на которых от века держится человеческое бытие. Слова-идеи вступают в конфронтацию со словами-логосами, существующими в потаённой глубине сознания человека, где-то под спудом языка внешнего общения — сферы, которая захватывается симулякрами, имитирующими культуру[8].

Борьба идет с переменным успехом. Когда одолевают идеи, сознание человека в «обмороке», оно утрачивает рефлексию. Тогда люди живут и действуют не совсем как люди: человеческое в них придавлено идеями. Но обморок не навсегда, сознание то и дело «выныривает» из него, обнаруживает себя и возвращается к себе. И тогда «внутренний человек» (вспомним Августина!) судит человека «внешнего», того, чье бытие определено идеями. На помощь «внутреннему человеку» приходит «молчание языка», духовное усилие, возвращающее человека к самому себе.

Этого «внутреннего человека» Платонов называл «сокровенным». Сокровенный человек — хранитель тайны согласия между жизнью и идеями о жизни, свидетель их борьбы, побед и поражений. Он посланник мира Логосов — не замутненных и не испорченных враждою опор человеческого мира. Таким сокровенным человеком был сам Платонов.

[8] Ещё раз сошлюсь на статью Л.В. Карасёва, в которой он сравнивает эти Логосы с чистым мировидением ребенка, не замутненным «окультуренным» языком: «Платонов верил в будущий всеобщий «полет к бессмертию», в разгадку Тайны, которая наконец-то откроет людям последнюю Истину. Конец и начало действительно совпадут — в смысле, внятном ребенку, заглядывающему в последнюю страницу книги, не одолев первой» [Карасёв 1990: 43].

Идеи-симулякры стремятся к безраздельному господству. Им для полной победы нужно, чтобы люди прекратили сопротивление «изнутри», изжили в себе человеческое. Если бы это произошло, чевенгурский мир стал бы своим мёртвым подобием. И человеку, в котором сохранился бы «стыд жизни», оставалось бы только уйти, как уходит Саша Дванов, возвращаясь к своему мёртвому отцу.

Финал «Чевенгура» — расставание Дванова с идеей, после которого ему больше нет места на земле, где погибла коммуна. Он уже не в силах «пожалеть родину» и оставляет её навсегда. Последний человек, которого он видит, старый горбун Кондаев, самозабвенно давящий мух «со счастьем удовлетворения своей жизни». Пусть остаётся со своим сча-стьем.

Дванов понудил Пролетарскую Силу войти в воду по грудь и, не прощаясь с ней, продолжая свою жизнь, сам сошёл с седла в воду — в поисках той дороги, по которой когда-то прошёл отец в любопытстве смерти, а Дванов шел в чувстве стыда жизни перед слабым, забытым телом, остатки которого истомились в могиле, потому что Александр был одно и то же с тем еще не уничтоженным, теплящимся следом существования отца.

Но идея коммунизма не уходит вместе с Сашей под воду. Она найдет себе новое воплощение. Все опять повторится. Прокофий уже отправился на поиски. Не в него ли теперь вселится осиротевшая идея коммунизма? Нужные слова он уже выучил. Власть над будущим Чевенгуром, вполне вероятно, перейдет к нему и таким, как он.

И. Бродский заметил о «Котловане» (а мог бы сказать то же и о «Чевенгуре»): «Произведение чрезвычайно мрачное, и читатель закрывает книгу в самом подавленном состоянии. Если бы в эту минуту была возможна прямая трансформация психической энергии в физическую, то первое, что следовало бы сделать, закрыв данную книгу, это отменить существующий миропорядок и объявить новое время» [Бродский 1995: 50]. Действительно, кажется, что выхода из мрака нет, да он и вообще невозможен.

Но странным образом роман Платонова все же не хоронит надежду. Она исходит из своей противоположности — тоски, заполонившей чевенгурский миропорядок. Но это не парадокс. Чевенгурская тоска не предсмертная, она вся — ожидание новой жизни. В этом её сходство и различие с чеховской тоской.

Чеховская тоска — от бессмыслия культуры, из которой ушла жизнь, от мира, попавшего под власть симулякров. Платоновская тоска свидетельствует, что еще есть кому тосковать, что еще живо человеческое в человеке, симулякрам не удалось полностью подчинить себе людей. Она — голос жизни, еще не убитой, не подменённой идеями. Жизнь своей тоской судит идеи, она решает быть или не быть их власти над нею. Тоска — её несогласие быть подражанием идеям, их слабой копией.

Чеховские герои часто говорят о своем ожидании настоящей, неподдельной жизни. Они не знают, как и когда она наступит, да не очень и верят в ее приход. Отсюда их готовность отказаться от мечты, криво усмехнувшись, посмотреть вслед ее уходу. Или уйти самим — в безумие или в смерть.

Платоновские герои тоже ждут. Они путаются в словах, пытаясь выразить свое ожидание. Чувство, владеющее ими, яснее слов. И они знают, что ожидание не сбылось и неизвестно, сбудется ли когда-нибудь. Но надо жить, а значит, и ждать. Платонов подсказывает людям:

> …надежда не может сбыться и бьётся внутри человека: если она сбудется, человек умрёт; если не сбудется — человек останется, но замучается, и сердце бьётся на своем безвыходном месте среди человека.

Сердце продолжает биться, тоска по бытию поддерживает его биение.

Адорно 2003 — Адорно Т. Негативная диалектика. М., 2003.

Айхенвальд 1994 — Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М., 1994.

Бердяев 1994 — Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского // Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2 т. Т. 2. М., 1994.

Бочаров 2005 — Бочаров С. Г. Чехов и философия // Вестник истории, литературы, искусства. Отделение историко-филологических наук РАН. М., 2005.

Бродский 1995 — Бродский И.А. Послесловие к «Котловану» А. Платонова // Сочинения Иосифа Бродского. В 4 т. Т. 4. СПб., 1995.

Булгаков 1993 — Булгаков С. Н. Чехов как мыслитель // Булгаков С.Н. Соч. в 2 т. Т. 2. Избранные статьи. М., 1993.

Гюнтер 2011 — Гюнтер Х. По обе стороны утопии. Контексты творчества А. Платонова. М., 2011.

Гюнтер 2013 — Гюнтер Х. Тоска и скука как экзистенциальные категории у Андрея Платонова. Доклад на семинаре «Платонов и бытие» в рамках II Платоновского фестиваля искусств. Воронеж, 3–9 июня, 2013 г. (рукопись).

Дмитровская 1995 — Дмитровская М.А. Проблема человеческого сознания в романе А. Платонова «Чевенгур» // Творчество Андрея Платонова. Исследования и материалы. Библиография. СПб., 1995.

Достоевский 1975 — Достоевский Ф.М. Подросток // Полное собр. соч. в 30 т. Л., 1975. Т. 13.

Карасёв 1990 — Карасёв Л. В. Знаки покинутого детства («постоянное» у Платонова) // Вопросы философии. 1990. № 2.

Одесская 2008 — Одесская М. Были ли идеалы у господина Чехова? // Вестник РГГУ. Серия ’’Журналистика. Литературная критика». М., 2008. № 11.

Платонов 2009–2011 — Платонов А.П. Собр. соч. в 8 т. М., 2009–2011. Т. 2.

Хайдеггер 1993 — Хайдеггер М. Что такое метафизика? // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.

Хоркхаймер, Адорно 1997 — Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. М.-СПб., 1997.

Чехов 1974–1983 — Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30 т. М., 1974–1983.

Шестов 2002 — Шестов Л. Творчество из ничего (А.П. Чехов) // А.П. Чехов: pro et contra. Творчество А.П.Чехова в русской мысли конца XIX — начала XX в. (1887–1914). Антология / Сост., предисл., общая редакция И.Н. Сухих; послесл., примеч. А.Д. Степанова (Серия «Русский путь»). СПб., 2002.

Реформа РАН: деяния и мнения

СИМВОЛИКА ПЕРВЫХ АКТОВ

Ю.М. Батурин
Институт истории естествознания и техники РАН

Аннотация: *В статье автор рассуждает об «особых условиях» в научной среде. Агентство, созданное для управления наукой, начало деятельность с поощрения своих сотрудников «за особые условия» их работы. Каковы «особые условия» развития науки?*

Ключевые слова: *«особые условия» развития науки, наука, финансирование исследований.*

Первые акты вновь избранных политиков или созданных организаций всегда имеют символическое значение. Не случайно на выбор содержания такого акта обращается особое внимание. Например, первый указ президента Бориса Ельцина был посвящен первоочередным мерам по развитию образования в стране. Первый указ и.о. президента Владимира Путина — гарантиям Ельцину и его семье. Но, став президентом вновь в 2012 году, Путин начал с того, что подписал целый пакет указов стратегического характера. Дмитрий Медведев, вступив в должность президента России, первым подписал указ об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны.

Американцы очень гордятся первой поправкой к Конституции США, гарантирующей свободу слова, свободу религии, свободу прессы, свободу собраний и право на подачу петиций. Действительно, повод для гордости есть. Но символической первая поправка стала случайно. Она была третьей по счету среди двенадцати, представленных Конгрессом для ратификации штатам, однако первые две поправки, одна из которых касалась денежных выплат конгрессменам (человеческая природа не меняется!) не были ратифицированы.

Новое ведомство, за которым сейчас установилось пристальное внимание академического сообщества и прессы, неизбежно должно было начать издавать свои приказы с номера первого. И что же мы видим в приказе № 1 Федерального агентства научных организаций? «Об утверждении положений о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы государственным гражданским служащим центрального аппарата Федерального агентства научных организаций и руководителям, заместителям руководителей территориальных органов Федерального агентства научных организаций, о порядке премирования государственных гражданских служащих центрального аппарата Федерального агентства научных организаций и руководителей, заместителей руководителей территориальных органов Федерального агентства научных организаций…» Полностью это непомерной длины название с перечнем разных выплат, занимающее столько же места, сколько первые два абзаца нашей заметки, просто не решаюсь воспроизвести. Но и так все понятно. ФАНО начинает свою деятельность с установления себе

дополнительных денежных выплат, точно как попытались американские конгрессмены в Билле о правах. Но конгрессменов поправили. А наших чиновников поправить некому.

Поправлять некому и незачем, потому что в этом и есть символ: «Деньги! Больше денег!! Давай деньги!!!»

Надбавка «за особые условия» установлена Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2004 года (N 79-ФЗ) «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (ст. 50). Но определения особых условий нигде нет, поэтому можно понимать под ними сложность профессиональной служебной деятельности, необходимость выполнения особо трудных и важных заданий, как правило, в условиях, отличающихся особым графиком и режимом работы, а можно — наличие у сотрудников наград, а то и ученых степеней и ученых званий!

Размер надбавки радует душу — кому 100, кому 200 процентов должностного оклада, полагаю, не маленького. Для академического профессора, на чью зарплату не согласится даже секретарша среднего чиновника ФАНО — совершеннейшая фантастика. Но, поразмыслив, мы должны честно признать: есть за что. Попробуем перечислить «особые условия» научной среды, которой теперь придется руководить ФАНО, напрочь отличающие ее от привычной чиновной массы:

1. Законы развития науки невозможно изменить с помощью федеральных законов;

2. Результаты будущего открытия никогда заранее не известны, что затрудняет финансирование исследований;

3. Никакой научный эксперимент невозможен в срок и в пределах сметы;

4. Поведение ученых предсказать нельзя;

5. Все ученые — профаны, но в разных областях;

6. Ученые разных специальностей говорят на разных профессиональных языках, не всегда понимая друг друга (необходимо поощрение за знание «иностранных» языков);

7. Ученые разных профессий (например, физик и археолог) иногда непонятным образом работают над одной темой (общение с кентаврами опасно и полно неожиданностей);

8. Ученые привыкли к свободе и не желают встраиваться в «вертикаль»;

9. Ученые имеют свое мнение, часто не соглашаются, спорят (у них есть даже специальный термин — «дискуссия»);

10. А еще — зубоскалят…

ЖЕРТВА КУЛЬТА КАРГО

С.Д. Хайтун
Институт истории естествознания и техники РАН

Аннотация: *Статья посвящена реформе российской фундаментальной науки. Автор сравнивает грантовую систему, которая существует в России сегодня, с культом карго. При этом он отмечает несостоятельность наукометрических показателей при оценке квалификации ученого. Автор подчёркивает, что скопировать западную систему науки по внешним признакам невозможно.*

Ключевые слова: *колония, европейская колонизация, постколониальный синдром, постзависимость, вестернизация, глобализация, подконтрольные территории, зависимые территории.*

Поверхностная имитация западной модели фундаментальной науки губит науку отечественную.

На одном островке в Тихом океане совершил вынужденную посадку самолёт, произведший неизгладимое впечатление на туземцев. Когда самолёт улетел, они смастерили его макет из веток, глины и камней, рассчитывая, что он у них полетит. Их «самолёт», однако, не полетел. А туземцы стали поклоняться этому макету, призывая белых богов вернуться. Этот культ и получил название культа карго (от англ. cargo — груз).

Проводимая последнее время в России реформа науки является результатом вот такого же поверхностного подражания российских чиновников Западу. Мы рассмотрим здесь два центральных пункта российской реформы науки. Первый — фундаментальная наука будет теперь финансироваться «преимущественно за счет грантов».

«Грантовый самолёт» не полетит

Распределять гранты будет Российский научный фонд (РНФ), созданный в прошлом году, чей попечительский совет возглавил министр образования и науки в 2004–2012 годах, ныне помощник президента Андрей Фурсенко.

Перевод финансирования российской фундаментальной науки на грантовую систему — выстраданная идея Андрея Фурсенко, который давно уже углядел систему грантов на Западе, где финансирование фундаментальных исследований и на самом деле происходит в основном по грантовой схеме.

Мы имеем культ карго в чистом виде. Ибо в странах Запада существуют десятки тысяч самых разнообразных фондов, выдающих научные гранты. У нас же гранты будет выдавать

один-единственный фонд (РНФ), который, естественно, предполагается нацелить на исследования, полезные — с точки зрения экспертов Фонда — для народного хозяйства.

Вот эта «маленькая» деталь: там — множество грантовых частных и государственных фондов, у нас — один-единственный государственный фонд — и убивает замечательную идею на корню. И даже если сохранятся в каком-то виде Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ), общей картины это не изменит. Наш «грантовый самолёт» не только не полетит, но и уничтожит отечественную фундаментальную науку. И несложно понять, почему.

Определяющая особенность фундаментальных исследований состоит в том, что фундаментальные исследования — это бесполезные исследования. Точнее, это исследования, польза от которых в обозримом будущем не просматривается. Если же польза просматривается, то мы имеем дело с прикладными исследованиями и/или разработками.

Наука Древней Греции потому и совершила рывок в «светлое будущее», что она в отличие от науки Древней Месопотамии и Древнего Египта не была ориентирована на пользу, принесение которой считалось уделом рабов. Далее этот курс (за вычетом рабства) был поддержан наукой Западной Европы и США.

Финансировать всё!

Прошедшие две с половиной тысячи лет продемонстрировали, что именно «бесполезные» исследования оказываются в своей совокупности для человечества наиболее полезными. «Бесполезные» исследования, полагаю, — главное достижение человеческой цивилизации.

Важно, что максимально полезными оказываются не все фундаментальные исследования, а лишь фундаментальные исследования в их совокупности. Условно говоря, 90 или 99 % фундаментальных исследований (точно вам никто не скажет) оказываются в конечном счете бесполезными, и только 1 или 10 % со временем идут в дело. Причем предсказать, какие из фундаментальных исследований попадут в 10 % или 1 % полезных, в принципе невозможно.

Выход остается один — финансировать все фундаментальные исследования, то есть практически все идеи, какие только ученым вздумается развивать. Так и поступает Запад с его десятками тысяч грантовых фондов.

Российские же реформаторы науки, имеющие представление о результатах исследований науки, которые на протяжении многих десятилетий велись в нашей стране и во всем мире, только понаслышке искренне полагают, что наши чиновники (а хоть бы и академики) знают то, чего никто знать наперед никак не может, — какие проекты фундаментальных исследований в перспективе полезны, а какие — нет.

Эта, мягко говоря, ошибочная посылка российских чиновников грозит российской фундаментальной науке переориентацией на прикладные цели и, стало быть, ее уничтожением как таковой. Перевод фундаментальной науки на грантовую систему финансирования с одним-единственным государственным грантовым фондом (а хоть бы и с тремя) — это (перевернем высказывание Талейрана) не ошибка, а преступление. Грантовых фондов должно быть (очень) много, в противном случае грантовую систему вводить для финансирования фундаментальной науки нельзя.

Наукометрическая рулетка

Второй сердцевинный пункт российской реформы фундаментальной науки — идея, согласно которой во имя повышения эффективности науки следует решительно сократить численность ученых, оставив 10–30% (точная цифра нам, потенциальным жертвам планируемого сокращения, не сообщается) самых продуктивных из них.

И здесь тоже мы имеем дело с проявлением культа карго. Авторы реформы слышали, что существует такая дисциплина — наукометрия, которая установила, что 10 % ученых пишут примерно 90 % всех научных публикаций. Отсюда возникла заманчивая мысль — оставить только эти 10 % ученых, остальные пусть идут лесом. А оставшимся 10 % можно будет поднять зарплату раза в два-три, они будут счастливы, а экономия составит 70–80 % ассигнований на зарплату ученым. Замечательно.

Сокращение же ученых, решили реформаторы, будем проводить, основываясь на наукометрических показателях — числе публикаций и цитирований.

Докладываю: у автора этих строк за плечами около 10 лет работы в наукометрии, две монографии («Наукометрия: Состояние и перспективы», 1983; «Проблемы количественного анализа науки», 1989) и дюжина статей в международном журнале Scientiometrics, на которые в мировой литературе до сих пор идут ссылки. Так вот, я совершенно ответственно заявляю, что наукометрия в принципе не применима для индивидуальной оценки ученых.

Ученый может написать совсем немного публикаций, на его работы могут долгое время не ссылаться, а через годы может выясниться, что это был великий ученый. Пример тому — Эварист Галуа. Напротив, исследователь может иметь сотни и даже тысячи публикаций и быть при этом «средним» ученым. Бывают в науке и «мыльные пузыри» — их сколько-то лет обильно цитируют, а потом они бесследно исчезают из анналов науки.

Другими словами, применительно к ученым-индивидам наукометрические индикаторы обладают низкой валидностью, и потому результат имеет ярко выраженный стохастический характер — можем угадать, а можем не угадать. Вы бы, господа чиновники, хотели, чтобы ваше увольнение или неувольнение определялось с помощью рулетки?

По идее, можно было бы сокращать численность ученых, используя не наукометрические, а экспертные оценки. Но здесь мы наталкиваемся на еще более глубинный феномен, установленный за последние полвека науковедами и другими исследователями науки (в разных странах эти исследования называются по-разному): 10% наиболее продуктивных ученых могут работать, только будучи погруженными в море «средних» ученых.

Более того, «наиболее продуктивные» и «средние» ученые со временем зачастую меняются местами. И вообще, разные ученые выполняют в науке разные функции (играют разные роли). Кто-то генерирует идеи, но сам публикуется мало. Кто-то, напротив, специализируется на развитии чужих идей, много при этом публикуясь. Кто-то является записным критиком, не генерируя собственных идей. У кого-то хорошо получаются учебники и работа с молодыми учеными. Кто-то выполняет функции коммуникатора, а кто-то — организатора. Кто-то хорошо работает с коллективными сборниками трудов. И т.д. и т.п.

Как же можно, не зная всего этого и многого другого о природе научной деятельности, изучаемой исследователями науки много десятилетий, принимать столь скороспелые решения, ломающие науке хребет?!

Самое же интересное в истории с реформой российской науки — это то, что она — в том виде, в каком она проводится, — рубит на корню заявленный руководителями страны курс на постиндустриализацию российского общества, в результате реализации которого наука должна стать решающим фактором развития экономики. Собственно, сама реформа российской науки вызвана желанием перестроить российскую науку на западный — постиндустриальный — лад. Но делают реформаторы это так, как вышеописанные туземцы, — пытаясь скопировать чисто внешние признаки западной науки.

Туземцам, как мы понимаем, чтобы построить настоящий самолёт, пришлось бы сначала построить у себя соответствующие государство и промышленность, то есть пройти длинный путь развития. Ситуация с российской наукой аналогична — чтобы перестроить ее на постиндустриальный лад, надо, как показывает история Запада после Второй мировой войны, много чего сделать.

Сначала Запад, используя методы государственного регулирования рынка и начав с Нового курса Франклина Рузвельта, построил у себя примерно к концу 1960-х годов кейнсианскую экономику. Основные характеристики такой экономики — высокая (до 70 %) доля зарплаты работников в ВВП и низкий уровень социального неравенства (децильный коэффициент фондов, то есть отношение доходов 10 % самых богатых к доходам 10 % самых бедных не более 8–12). При этом 70–80 % населения оказываются принадлежащими к среднему классу с вполне приличными доходами.

После того как в стране осуществлен переход к кейнсианской экономике, в ней «само собой» возникает постиндустриальное общество со всеми его атрибутами, которые мы здесь за недостатком места обсуждать не будем. Существенно для нас в этой статье то, что одним из атрибутов постиндустриального общества и является наука, приобретшая статус решающего фактора развития экономики и устроенная так, как она устроена сегодня на Западе.

Российское же чиновничество — культ карго на марше! — взялось за имитацию отдельных атрибутов западного постиндустриального общества, включая науку, не проводя кейнсианских реформ. Так «самолёт» не полетит.

СЛУЧАЙ С АКАДЕМИЕЙ — ЧТО НУЖНО РЕФОРМИРОВАТЬ?

М.В. Рац
Институт развития им. Г.П. Щедровицкого,
С.И. Котельников
НИИ культурологии Минкультуры РФ

Аннотация: *Центральной проблемой статьи является реформа РАН. Авторы отмечают, что сфера науки в России требует реформирования, однако принятой обществом и властью методологии реформ у нас нет. В то же время авторы ставят вопрос, как надо проводить реформу РАН во избежание работы науки вхолостую.*

Ключевые слова: *реформа РАН, реформы в сфере науки, методология реформ, наука и власть.*

Прошлый раз («НГ-наука» от 11.09.13), приступая к обсуждению реформы РАН, мы начали с так называемой социальной инженерии, с вопроса о том, как вообще следовало бы проводить реформы с учетом современного состояния научной мысли. Картина оказалась невеселой, поскольку более или менее принятой обществом и властью методологии реформ у нас нет, хуже того — такая методология даже не обсуждается. В результате реформы осуществляются как начальству угодно.

Объект продолжает спать

Точный диагноз происходящему еще в прошлом году коротко и ясно поставил известный психолог, профессор Дмитрий Леонтьев, отвечая на вопрос, в чем он видит смысл реформы РАН: «Субъект уснул, разжалован в объект»!!! Но самое удивительное, что и будучи разжалованной в объект, РАН продолжает спать: реформой академики недовольны, но при множестве выступлений никаких принципиальных контрпредложений ни общество, ни государство от них так и не дождались.

На наш взгляд, это бесспорный аргумент в пользу того, что сфера науки в России требует реформ. Однако реформ совсем иного рода, чем затеянная в прошлом году. При этом наряду с общим вопросом о методологии реформирования, который мы обсуждали в прошлый раз, возникает второй, не менее важный вопрос — о специфике реформируемой системы. Понятно, что одно дело реформировать вооруженные силы (или пенсионную систему), а совсем другое — Академию наук.

Обратимся теперь к этой второй стороне дела, к вопросам об объекте реформирования и о содержании предполагаемой реформы. Попробуем расширить обсуждаемый круг идей и воспользуемся для этого ходом, намеченным в упомянутой статье. А именно — переведем разговор в жанр научной фантастики.

Допустим, работа РАН неэффективна. Но как в данном случае измеряется эффективность, какой «отдачи» следует ждать от науки? Для ученого продуктом его работы являются только и исключительно новые знания. На оценку эффективности в этом смысле направлены известные показатели типа импакт-фактора или индекса Хирша. И, может быть, ученые не так уж заблуждаются, приводя выкладки, согласно которым выход новых знаний на каждый вложенный рубль в РАН едва ли не выше, чем в самых передовых странах. Но связаны ли такие показатели с желаемой государством отдачей от науки?

Вопреки бытующим представлениям наука непосредственно, сама по себе, в принципе никакой прибыли принести не может.

Здесь все сложнее: государство и бизнес вкладывают деньги в науку, а в обмен получаются «всего лишь» новые знания. Эти новые знания вкладываются в народное хозяйство, причем в самом широком, почти метафорическом смысле, включая не только бизнес, но и системы государственного правления, народного образования, культуры. И отдача измеряется не деньгами, а переменами в системе правления и хозяйствования, в культуре страны. В конечном счете эти объемлющие науку и использующие научные знания системы работают более эффективно: страна развивается.

Предположим на минутку, что Академия наук обеспечила переход страны на модель инновационного развития. Сколько государство согласилось бы заплатить за такую работу? И как бы измеряло полученную «отдачу», индексом Хирша?! Но эта логика для нас как раз из области научной фантастики: наши власти безо всякой науки знают, как править страной и народным хозяйством.

Как ни прискорбно, но нашему государству научные знания не нужны, даже если они касаются политики и государственного управления (об этом дальше). Поэтому мы имеем то, что имеем, в том числе и в Академии наук.

Тем не менее воспользуемся фантазией и посмотрим, как «по уму» должна была бы работать вся эта сложнейшая система. Иными словами, что должна была бы отвечать на реформаторские инициативы власти идеальная Академия наук: не та, которая у нас сформировалась исторически, но и не та, которую хочет видеть на ее месте государство.

Объект реформирования

Итак, если рассматривать идеальную АН как машину по производству научных знаний, то с государственной точки зрения претензии по части отдачи от научных исследований надо предъявлять не столько ей, сколько системам употребления научных знаний. Но как у нас обстоит дело с этими системами употребления: мы их досконально изучили, знаем все траектории движения научных идей в обществе и государстве? Это один вопрос. И второй: а как дело обстоит с научной политикой: может быть, государство ориентирует усилия ученых не в ту сторону, где на самом деле нужны новые знания? Не требует ли для начала научного обеспечения сама политика государства в сфере науки?

Однако такое расширение рамок, на наш взгляд, совершенно необходимое, делает поле потенциального реформирования практически необозримым. Иными словами, здесь-то и нужны фундаментальные исследования, которыми призвана заниматься РАН, а развернувшуюся в связи с реформой дискуссию нужно было бы продолжать и углублять.

Между тем важнейшее направление дальнейших размышлений подсказывает проблема «внедрения» результатов научных исследований, на протяжении многих десятилетий не теря-

ющая в нашей стране актуальности. Грубо говоря, наука работает у нас вхолостую, и ответ на вопрос, в какой мере ее можно в этом винить или это скорее ее беда, — вовсе не очевиден.

Заметим, что в советские времена многие думали, что все дело в плановом хозяйстве. Но теперь выяснилось, что «переход к рынку» мало что здесь изменил. Ныне «невосприимчивость» нашего хозяйства к инновациям объясняется пресловутой нефтяной иглой. Но мы считаем, что «сидение на игле» и «невосприимчивость» — последствия одной общей причины. Это господствующая у нас властная система правления, упомянутая уже вертикаль власти, подменяющая современную систему управления, удушающая на корню всякую инициативу снизу, всякое предпринимательское начинание. Она, между прочим, и демонстрирует свой метод работы в ходе реформирования РАН.

Как тут не процитировать в очередной раз Александра Герцена, еще полтора века назад писавшего, что самодержавие несовместимо с современной (середины позапрошлого века!) цивилизацией. Вот эту систему нужно прежде всего реформировать, если мы хотим, чтобы отечественные научные разработки не оставались на бумаге или не находили себе применение преимущественно за рубежом.

Но это легко сказать, а как сделать — никому неизвестно. Поэтому здесь мы видим направление работы, которое могло бы стать важнейшим для идеальной Академии наук на ближайшие годы. Такая, скажем, рокировочка: не власть должна Академию наук реформировать, а идеальная Академия должна помочь власти реформироваться самой. Академия наук, раз уж у нас сложилась такая система организации научно-исследовательских работ (НИР), могла бы стать распределенной фабрикой мысли для нашей страны.

Из этих фантазий следует, между прочим, вполне практический вывод. Объекты реформирования — впрочем, как и других преобразований — как правило, не даны нам готовыми. Их приходится каждый раз выстраивать заново, начиная со сложного ситуационного анализа. Вот и в данном случае, реформируя «отдельно взятую» РАН, мы рискуем попасть пальцем в небо. Может быть, для начала лучше было бы реформировать упомянутые системы: выработки научной, а заодно инновационной политики и употребления научных знаний? Хотя при ближайшем рассмотрении может оказаться, что таких систем у нас вовсе нет и их строить надо.

Понятно, что ответы на такого рода вопросы требуют вовсе не создания очередного ведомства (вроде ФАНО) и не объединения трех академий, а коренной переориентации научных исследований. Мы много чего знаем про элементарные частицы или про двойные звезды, а научную политику в собственной стране формируем на ощупь, методом проб и ошибок. Количество ошибок при этом зашкаливает.

Огрубляя до предела, скажем так. Зачем нам, например, нанотехнологии, которые мы скорее всего не сможем внедрить в производство? Не разумнее ли начать с другого конца и направить усилия именно на разрешение извечной проблемы внедрения?

Наша мысль проста для понимания, но трудна для реализации. Жизнь в современном обществе устроена так, что непрерывно порождает всякие новшества. Но жизнь в России устроена так, что в большинстве своем они погибают в младенчестве. И почему-то им плохо помогают разные бизнес-инкубаторы и технологические теплицы. Почему? Мы объясняем это тем, что новшества не живут в атмосфере, лишенной кислорода, а кислородом для них является свобода, «открытый доступ» к предпринимательской деятельности, если воспользоваться терминологией Дугласа Норта с соавторами.

Между прочим, книгу Норта [Норт и др. 2011] в Институте Гайдара оперативно перевели и издали по-русски. Но интересно, многие ли ее прочли в Миннауки? А если прочли, то какие выводы для себя сделали?

Направление реформ

Конечно, выработка направлений главного удара в науке — важнейшая задача, которая может решаться только во взаимодействии Академии наук с государством и обществом. Неудобно напоминать хрестоматийные истины, но приходится. Наука, как, впрочем, и любая другая сфера деятельности, развивается под влиянием разных сил: внутренних (у нее есть свои законы развития, кстати, еще плохо изученные) и внешних, оформляемых в виде социального заказа.

Однако такое взаимодействие требует прежде всего равноправия сторон; в условиях же господства вертикали власти необходимая здесь острая дискуссия вырождается в ритуальный обмен монологами, «театральный диалог», как называл такую форму общения Михаил Бахтин.

Президент страны говорит о том, о чем душа наболела: про науку о жизни, про Север, про оборону… А президент РАН, вместо того чтобы сформулировать свою собственную позицию, говорит: да, конечно, будем ориентироваться на ваши идеи. Так работает система поручений, заменяющая у нас, повторим, систему управления. Если вспомнить расхожую максиму, можно спросить: какая же истина может родиться в таком «споре»? А если вспомнить про сократический диалог: какие же новые идеи могут родиться в таком «диалоге»?

Если уж фантазировать, то, может, лучше нам заняться не абстрактной наукой о жизни, а наукой о жизни нашего общества? Ничего же не изменилось со времен Юрия Андропова, еще в СССР заметившего, что мы не знаем общества, в котором живем. Может, лучше заняться не Севером, а Югом, где на Кавказе власти уже два десятка лет безуспешно борются с терроризмом? И посягнем на святое, может, и оборона от внешнего врага не так уж актуальна? Что-то не видно желающих на нас нападать. Может, лучше заняться инфраструктурой — она и при обороне пригодится. И чем при решении всех этих вопросов может помочь наука: математическим моделированием, только и всего? Хилая же у нас наука! Но это все вопросы в пользу бедных. С властью в России не спорят, на то она и власть.

Вот, однако, другое возможное направление научной мысли — формы организации научно-исследовательских коллективов. Привычная для нас форма НИИ хороша в условиях относительной стабильности фронта научных разработок, характерных для прошлых времен, сейчас — при изучении астрофизических проблем или физики элементарных частиц. Здесь можно и нужно годами и десятилетиями долбить в одну точку, добиваясь нужного результата. Но чем ближе к практике и чем ближе к нашему динамичному времени, тем менее эффективной оказывается такая форма организации.

В современном глобальном и конкурентном мире практические задачи, в том числе требующие научного обеспечения, меняются очень быстро. Конкурентоспособность определяется способностью меняться быстрее конкурентов. В этих условиях более эффективной оказывается организация временных (под проект) исследовательских групп.

Полезными могут оказаться и промежуточные формы, издавна практиковавшиеся в проектных институтах. Когда из сотрудников специализированных отделов под руководством главных инженеров и главных архитекторов проектов (ГИПов и ГАПов) создавались группы, работавшие по конкретным объектам? Сюда же примыкает вопрос о формах совместной организации исследований в системе РАН и университетах, о котором писал М.А. Ильгамов [см. «НГ-наука» от 12.09.13].

Содержание реформы

Поскольку воображаемую идеальную Академию наук реформировать не надо, то, переходя к содержанию реформы, придется вернуться к реальной РАН, удерживая при этом идеал в качестве путеводной звезды.

Чем наш идеал отличается от реальности? Вот это, между прочим, тот вопрос, с которого надо было бы начинать всю эпопею. Не с законопроекта, а с вопроса о том, какой мы хотим видеть РАН в результате реформ. Только ведь его пока никто так и не поставил и у нас нет на него готового ответа. А соображения, которые есть, состоят в том, что это должен быть не объект, а субъект, которого соответственно нельзя построить привычными методами социальной инженерии, как ФАНО, а можно только вырастить. И не в качестве подразделения Министерства образования и науки, а в качестве его полноправного партнера, если надо, то и оппонента.

Если при этом нужно сослаться на опыт развитых стран, то, говоря о западных университетах, которые предлагаются нам в качестве примера, мы бы первым делом обратили внимание на их радикальное отличие от наших — на автономию. В этом плане наше предложение диаметрально противоположно направлению идущей реформы. Мы-то предлагаем существенно расширить те зачатки автономии РАН, которыми она обладала даже в советские времена. Заодно бы и ответственность появилась не только перед наукой, но и перед страной.

А вот основное назначение этого субъекта мы бы не меняли: он призван производить новые знания. Только диапазон этих знаний требует, на наш взгляд, расширения и смены приоритетов с учетом интересов страны и государства. Правда, последние видятся всеми по-разному.

Здесь находится вторая (после вопроса об автономии) развилка, где намечаемый нами путь реформ расходится с фактически осуществляемым. Для начала скажем, что мы считаем путь инновационного развития безальтернативным для России, его-то и призвана обеспечивать знаниями Академия наук. Вопрос в том, какие знания нужны для этого в первую очередь. И здесь придется учитывать, что инновационная деятельность оказывается при ближайшем рассмотрении альтернативой привычному «внедрению». (Об этом в «НГ-науке» писалось не раз.) А потому требует принципиально иных знаний и иных порождающих их научно-исследовательских работ (НИР), чем привычные для нас и доминирующие в РАН с советских времен.

А именно, если говорить предельно лапидарно, в первую очередь нам нужны исследования не разного рода «объектов», не важно, принадлежащих к первой или второй природе, идеальных или материальных (так называемые НИР-1), а «живого» человеческого мышления и деятельности (НИР-2). Тем более что вторые неизмеримо дешевле первых и для реализации этой идеи нужны не столько деньги, сколько понимание сути дела и политическая воля. Сокращать объемы НИР-1 для этого вовсе не требуется.

В первом приближении, если оставаться в рамках привычной классификации наук, речь идет о смене приоритетов и переносе акцента в научной политике с традиционных естественно-научных исследований на исследования социально-гуманитарного плана. (Вообще-то, НИР-2 и социально-гуманитарные науки — не синонимы, но это тема специального разговора.) Между прочим, наиболее проницательные ученые, как Дж. П. Томсон или К. Леви-Стросс говорили об этом достаточно давно, имея в виду культурно-историческую ситуацию в цивилизованном мире, а отнюдь не текущие дела в России.

Мы полагаем, что это далеко не случайно. В истории человеческого рода можно выделить два больших этапа. На первом люди были озабочены удовлетворением физиологических потребностей и поддержанием своего существования в природе, «завоеванием природы». С помощью науки и техники это дело худо-бедно сделано (как минимум применительно к «золотому миллиарду») и продолжает делаться: миллиард быстро перерастает рамки миллиарда, охватывая и часть населения России.

Но при этом на нынешнем, втором этапе становления цивилизации первостепенное значение приобрели проблемы человеческого общежития, которые ныне и определяют жизнь человечества в первую очередь. Из чего, в частности, следует, что в наше время ведущая роль

должна принадлежать НИР-2, существующим пока в форме социогуманитарных наук, которые в этом своем качестве явно к такой роли не готовы.

Это, так сказать, прагматическая аргументация в пользу «гуманитарного поворота». Читателям, которые интересуются этой темой более основательно, рекомендуем статью коллектива авторов из разных стран, опубликованную в последнем номере альманаха «Наука. Инновации. Образование» [Коршунова и др. 2013]. И напомним, что содержание социогуманитарного знания/образования мы видим совсем иным, чем бытующее у нас в настоящее время.

* * *

Но спустимся с неба на грешную землю. Наши фантазии непосредственно имеют смысл только в более или менее далекой перспективе. Однако мысли, на которые они наводят, имеют, кажется, прямое отношение к реальности сегодняшнего дня. Мы же видим свою задачу не в проповеди неизвестных (и нам тоже) истин, а именно в том, чтобы разбудить спящую мысль.

Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. 2011. *Насилие и социальные порядки. — М.*

Коршунова Н.Л., Котельников С.И., Литвинов В.П., Матьяш О.И., Рац М.В. 2013. *Научно-технологическая политика и комплексные проблемы развития науки. Наука. Инновации. Образование — вып 14.*

НАШИ АВТОРЫ

Батурин Юрий Михайлович — доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор Института истории естествознания и техники РАН (yubat@mail.ru)

Берлявский Леонид Гарриевич — доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права Ростовского государственного экономического университета («РИНХ») (berleonid1@gmail.com)

Гаман-Голутвина Оксана Викторовна — доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой сравнительной политологии Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России, Президент Российской ассоциации политической науки (rapn@rapn.ru)

Иноземцев Владислав Леонидович — доктор экономических наук, профессор департамента политической науки Национального исследовательского университета — Высшей школы экономики, директор Центра исследований постиндустриального общества (post@postindustrial.net)

Константинов Михаил Сергеевич — кандидат политических наук, доцент кафедры теоретической и прикладной политологии Южного федерального университета (konstantinov@sfedu.ru)

Котельников Сергей Иванович — кандидат технических наук, старший научный сотрудник НИИ культурологии Минкультуры РФ (kketl@list.ru)

Кузнецов Анатолий Михайлович — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой социальной и политической антропологии Дальневосточного государственного университета (akuzn@vimo.dvgu.ru)

Лубский Анатолий Владимирович — доктор философских наук, профессор кафедры экономической социологии и регионального управления Южного федерального университета (info@ippk.sfedu.ru)

Макаренко Виктор Павлович — доктор политических и философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик Национальной академии наук Украины, директор Центра политической концептологии Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного федерального университета (vpmakar1985@gmail.com)

Межуев Вадим Михайлович — доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН (cultura-iph@yandex.ru)

Никольский Сергей Анатольевич — доктор философских наук, доцент, заместитель директора по научной работе Института философии РАН (s-nickolsky@yandex.ru)

Порус Владимир Натанович — доктор философских наук, ординарный профессор, заведующий кафедрой онтологии, логики и теории познания факультета философии Государственного университета — Высшей школы экономики (vporus@rambler.ru)

Поцелуев Сергей Петрович — доктор политических наук, доцент, заведующий кафедрой теоретической и прикладной политологии Южного федерального университета (spotselu@mail.ru)

Протасеня Дарья Николаевна — аспирантка Института социологии и регионоведения Южного федерального университета, младший научный сотрудник Центра политической концептологии Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного федерального университета (daffaa@mail.ru)

Рац Марк Владимирович — доктор геолого-минералогических наук, профессор, эксперт фонда «Институт развития им. Г.П. Щедровицкого» (ratzm@netvision.net.il)

Филиппов Александр Фридрихович — доктор социологических наук, ординарный профессор, заведующий кафедрой практической философии Национального исследовательского университета — Высшей школы экономики (filippovaf@gmail.com)

Хайтун Сергей Давыдович — кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук (haitun@ihst.ru)

Щербинин Алексей Игнатьевич — доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии Национального исследовательского Томского государственного университета (polit_tsk@mail.ru)

Summaries and keywords

Makarenko V.P. Domestic spying as an element of bureaucratic state governance

Summary: This paper analyzes the domestic spying as one of the main ways of bureaucratic control in the police state. Exploring the historical forms of domestic spying, the author reveals the relationship between the policizing degree of society, structural maturity of policizing groups, the institutionalization level of snitching, and the propensity of population to cooperate with the police.

Keywords: bureaucratic management, bureaucratic police state, policizing of society, police apparatus, espionage.

Lubsky A.V. The neoclassical model of political studies

Summary: The neoclassical model of political studies as one of the areas of postnonclassical political science bases on the principle of constructive realism which enables, on the basis of the development of multidimensional constructs of political knowledge, to bridge the epistemological claims of postmodernism, a methodological one-sidedness of classical and non-classical models, as well as the fragmentation of political knowledge.

Keywords: classical model of political studies, non-classical model of political studies, the neoclassical model of political studies, postmodern model of political cognition, multiparadigmality, realism, constructivism, constructive realism, methodological consciousness.

Mezhuev V.M. History as a philosophical problem

Summary: This article analyzes the philosophical understanding of history. The author draws a distinction between the competence of the two areas of historical knowledge: philosophy of history and historiography. Historical science strives for objectivity, i.e. to the study of historic events in the form in which they are reflected in the experience of the contemporaries of these events. The subject of the philosophy of history is not just a knowledge of the past, but the historical (self-)consciousness, i.e. the human's recognition of itself and his own time, the connection between time and eternity, the establishment of meaning and purpose of the historical process. The paper analyzes the specifics of this (self-)consciousness in different historical periods — pre-modern, modern and postmodern.

Keywords: philosophy of history, methodology of history, the order of time, the idea of history, pre-modern, modern, postmodern.

Shcherbinin A.I. Political holiday: concept and communication

Summary: The communicative properties of political events are subject of analysis in the article: repeatability, symbolism, imagery, and so on. The main functions of the political events are

stipulated by these properties: the projection of contemporary values on the past, the reproduction of the sequence of historical events and legitimization, on this basis, the existing political order and identity. Analyzing the political reality in modern Russia, the author draws attention to the "deficit of conviviality" due to the contradiction between the emerging national identity of Russians, and inadequate symbolic expression of the "birth of the nation" in the existing political holidays.

Keywords: political holiday, political liturgy, symbols and values in politics, symbolic politics, political communication.

Berlyavsky L.G. Louis Brandeis's concept of politics and law

Summary: The article investigates the political and legal concept developed by Louis Brandeis who was a prominent American jurist and member of the Supreme Court of the United States. He is considered as one of the four greatest judges of the XX century. L. Brandeis was successful in upholding the social and labor rights not expressly enshrined in the US Constitution. "Brandeis Brief" became a substantial contribution to the procedural law of the United States. Brandeis was a supporter of the concept of a "living Constitution" which is based on the idea of social changes, the evolution of the legal system, and the Basic Law.

Keywords: Louis Brandeis, political legal concept, US Supreme Court, social and labor law, procedural law.

Potseluev S.P., Konstantinov M.S. Modern right-wing radicalism: the identification problem

Summary: This article examines the conceptual framework of modern right-wing radical ideologies. Initial methodological problem, the authors suggest, is eclecticism of right radicalism which hampers an explication of the conceptual core of this ideology. This problem is solved by applying the method of "ideological morphology" by M. Freeden. The authors analyze different approaches to the understanding of fascism exploring its relation to the conservatism. Based on this analysis, the main concepts and ideologies of right-wing radicalism are investigated in the article. The resulting conceptual model is adapted in relation to the Russian version of grass-roots fascism. The authors suggest that this model can be used in sociological studies of right-wing ideologemes.

Keywords: political ideology, conservatism, right-wing radicalism, fascism, groupuscular right, concept, ideologeme.

Filippov A.F. Soviet sociology as police science

Summary: This article explores the Soviet sociology of the 1960s — early 1970 in terms of "police science" as administrative-expert system of a police state. According to the author, sociology in the Soviet Union could not be oriented to the solution of fundamental theoretical problems, since this function retained by the ideological bureaucracy. Therefore, the main task of Soviet sociology was to find effective methods of management, the acquisition of knowledge about the regulation of behavior, transformation of motifs and distribution of incentives to achieve the common good in the bureaucratic, social and police state.

Keywords: police state, policizing, public good, Soviet sociology, seventies.

Makarenko V.P., Protasenya D.N. Military cynicism: Russian realities and Peter Sloterdijk's concept

Summary: This article is based on the Peter Sloterdijk's concept of military cynicism. The authors analyze the spiritual and the political situation in Russia today, and come to the conclusion that the history of Russian and Soviet war should be seen not so much from the standpoint of heroism and victory, but as an expression of cowardice and mercenary practices. The same conclusion applies to groups which cultivate an aggressive mentality.

Keywords: military cynicism, collective schizophrenia, paranoid systems, militarism.

Gaman-Golutvina O.V. BRIC Countries: elite-formation and intra-elite cleavages regarding the nature, direction and speed of modernization

Summary: In this article, the author examines the organization characteristics of power elites in the BRIC countries. Identifies a number of similarities in the process of modernization in the late twentieth century — beginning of the XXI century, and conducts a detailed comparative political analysis of BRIC modernization strategies.

Keywords: BRIC, rotation and recruitment of political elites, intra-elite struggle, modernization, modernization strategy.

Inozemtsev V.L. Colonies and dependent territories: an invitation to debate

Summary: The author invites you to a discussion of the history of European colonization and European domination. A theoretical and even more terminological approach to the differences between the colonies and dependent territories, westernization and globalization, postcolonial development and post-dependence, and finally, between attempts to restore the empire and equitable interstate integration is proposed. The author put a question about the fundamental concepts in the approach to the problem of European expansion, colonization and Westernization.

Keywords: colony, European colonization, post-colonial syndrome, post-dependence, Westernization, globalization, territory ‘under the control’, dependent territories.

Kuznetsov A.M. “China's peaceful development” and some problems of the modern theory of international relations

Summary: The article discusses the possibility of assessing, by means of modern theories of international relations, China's transformation into one of the world powers. Western, especially American experts, based on the concept of “realism”, clearly see this as a threat to world order process. The PRC government, in order to remove the negative perception of the growing power of the country, even changed its slogan “peaceful rise of China” to “China's peaceful development.” Simultaneously, the scientific community of the country has been tasked to develop its own version of the theory of international relations, in which the new China could be presented as a positive country. Assessing the potential development of Chinese theorists in this field, we can state a number of successes related to departure from the Westerncentrism of the existing theories of international relations. The article raises the question of the need also for Russian scientists to contribute to the development of new concepts.

Keywords: peaceful development, peaceful rise, China, theory of international relations, non-Western theory, the Chinese school.

Nickolsky S.A. Enlightenment – Civicism – Patriotism

Summary: The components of the process of proper development and coordination of interests of the person (individual) and society (the state) are the “enlightenment” (people's courage, based on the knowledge, to use their own mind) and “civicism” (the deed). In this case, the result of their manifestation becomes “patriotism.”

Keywords: personality, society, state, enlightenment, civicism, patriotism.

Porus V.N. Existence and anguish: A.P. Chekhov and A.P. Platonov

Summary: This paper presents a comparative analysis of the existential “anguish” in Chekhov’s and Platonov’s creative heritage. As it is shown, the “anguish” is one of the major ontological characteristics of the cultural crisis. The “anguish” of Chekhovian heroes is the mental outlook of people living “at the edge of culture” as well as a vague anxiety similar to the one that all living beings feel before the existential cataclysm. This “anguish” is caused by the senselessness of a culture that lost its vital resource and became “the world of simulacra”. The result is an eternal readiness of a grieving person for skepticism and self-destructive irony. The anguish of heroes from Platonov's “Tchevengur” is a reaction to a mechanical suppression of life by the “new culture”, the universal principles of which claim to the absolute power over people. These claims are not fated to become true; “simulacra” cannot force the human authenticity out of life. Paradoxically, the dreary desperation of tchevengur’s world is fraught with hope for overcoming the cultural catastrophe and for achieving the ideal of the “innermost human”. The article demonstrates that Chekhov and Platonov belong to the same literary and philosophical tradition which opposes the cultural crisis and seeks ways to overcome it.

Keywords: anguish, life, culture, cultural crisis, ontology of culture, philosophy of culture.

Baturin Y.M. Symbolism of the first acts

Summary: In this article, the author discusses the “special conditions” in the scientific community. Agency created for the management of science, started with encouraging its employees “in special conditions” of their work. What are the “special conditions” for development of science?

Keywords: “special conditions” of development of science, science, research funding.

Haitun S.D. Victim of cargo cult

Summary: This paper is devoted to the reform of the Russian fundamental science. The author compares the grant system that exists in Russia today, with a cargo cult. As the author claims, the scientometric indicators are not valid for assessing the qualifications of a scientist. The author emphasizes that it is impossible to copy the Western system of science by its appearance.

Keywords: reform of RAS, basic science, RSF, RHF, RFBR, grant system, grants, scientometric indicators.

Ratz M.V., Kotelnikov S.I. The Academy case: what is to be reformed?

Summary: The central problem of this paper is the reform of the Russian Academy of Sciences (RAS). As the authors stress, the science field in Russia needs to be reformed, but there is no any methodology of reform accepted by society and government. At the same time, the authors raise the question of how to implement the reform of the RAS in order to avoid the idle time of science.

Keywords: RAS reform, science reforms, methodology of reform, science and authority.

CONTENTS

EDITOR'S WORD

Makarenko V.P.
Domestic spying as an element of bureaucratic state governance..... 6

GENERAL PROBLEMS OF POLITICAL CONCEPTOLOGY

Lubsky A.V.
The neoclassical model of political studies..... 18

Mezhuev V.M.
History as a philosophical problem..... 31

Shcherbinin A.I.
Political holiday: concept and communication..... 45

Berlyavsky L.G.
Louis Brandeis's concept of politics and law..... 60

Potseluev S.P., Konstantinov M.S.
Modern right-wing radicalism: the identification problem..... 70

POLICE SOCIETY

Filippov A.F.
Soviet sociology as police science..... 91

Makarenko V.P., Protasenya D.N.
Military cynicism: Russian realities and Peter Sloterdijk's concept..... 106

COMPARATIVE STUDIES OF HIERARCHIES

Gaman-Golutvina O.V.
BRIC Countries: elite-formation and intra-elite cleavages regarding the nature, direction and speed of modernization..... 117

Inozemtsev V.L.
Colonies and dependent territories: an invitation to debate..... 154

Kuznetsov A.M.
"China's peaceful development" and some problems of the modern theory of international relations..... 166

RUSSIA: YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW

Nickolsky S.A.
Enlightenment – Civicism – Patriotism..... 178

Porus V.N.
Existence and anguish: A.P. Chekhov and A.P. Platonov..... 191

RAS REFORM: DEEDS AND OPINIONS

Baturin Y.M.
Symbolism of the first acts..... 206

Haitun S.D.
Victim of cargo cult..... 208

Ratz M.V., Kotelnikov S.I.
The Academy case: what is to be reformed?..... 212

Authors..... 218

Summaries and keywords..... 220

Contents..... 225

Notes for contributors..... 227

К сведению авторов

Предварительно автор должен подготовить рукопись статьи в соответствии с требованиями к оформлению статей. Далее рукопись необходимо отправить на электронную почту редакции konstantinov@sfedu.ru, konstms@gmail.com (просьба дублировать на оба адреса) с пометкой «Статья для электронного журнала „Политическая концептология“». Статьи, оформленные не надлежащим образом, не принимаются к рассмотрению. После поступления в редакцию рукопись проходит обязательное рецензирование, по результатам которого принимается решение о публикации статьи или отказе. Редакция не знакомит авторов с текстом внутренних рецензий, а только уведомляет по электронной почте о решении относительно публикации и ее условий (срока и формы публикации, необходимости доработки). В случае, если статья нуждается в авторской доработке, автору высылается отзыв рецензента. Редакция оставляет за собой право правки текстов, не наносящей вред искомым идеям автора статьи. Рукописи не возвращаются. Все статьи публикуются бесплатно вне зависимости от статуса автора.

Требования к оформлению статей

1. Статья должна быть объемом не более 1,5 п.л. – 60 тыс. знаков, набрана в формате *.doc* (*Microsoft Word* или *OpenOffice.org*).

2. В начале статьи приводится аннотация (не более 1000 символов) на русском и английском языках, а также сведения об авторе: Ф.И.О. полностью, ученые степени и звания, должность, место работы, телефоны (рабочий и домашний с кодом города), электронный адрес (обязательно).

3. Параметры текста: шрифт *Times New Roman*, 12 кегль, интервал 1, поля: сверху и снизу – 2 см, справа и слева – 2 см. Выравнивание текста: по ширине. Абзацный отступ (красная строка): 1 см. Нумерация страниц: не ведётся. Рисунки – чёрно-белые и внедрены в текст.

4. Допускается использование шрифтов *Arial* и *Courier New* для обособленных фрагментов текста. Допускается использование шрифта меньшего размера для участков текста, имеющих вспомогательное (второстепенное) значение. Размер шрифта табличного текста обычно на 2 пункта меньше размера шрифта основного текста. Рисунки можно присылать цветные, но следует иметь в виду, что журнал публикуется чёрно-белым.

5. Сноски постраничные (не концевые!) автоматические. Нумерация начинается с цифры «1». (Просим не делать нумерации вручную с круглыми или квадратными скобками!).

6. Библиографический список оформляется следующим образом:
Фамилия И.О. Год. *Название работы*. – Город: Издательство. – Количество страниц.
Фамилия И.О. Год. Название статьи. – *Название журнала*. – Номер. – С. ... .
Фамилия И.О. Год. *Название источника*. – Доступно: http://URListochnika/ . – Проверено: Дата.